

- ПО ЭТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА –  
роман Леонида Цыпкина о жизни Достоевского
- ИМПЕРИЯ НА МАРШЕ –  
апокалиптические видения румынского  
философа Чьорана
- ОДНА ВСЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ МИНУТА –  
новое эссе польского фантаста Станислава Лема
- ФОРМУЛА НРАВСТВЕННОГО ЕДИНСТВА –  
размышления Александра Воронеля  
над "Красным колесом"
- ТАЙНЫЕ МЕЧТЫ НАЦИЗМА –  
главы из книги Бержье и Повеля "Утро магов"

50

22

МИЛАНДА БЕРЖЕ И ПОВЕЛЯ

№ 50

MI

# ДВАДЦАТЬ ДВА

*Общественно-политический и литературный журнал  
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле  
Лауреат премии имени Р. Н. Эттингер за 1984 год*

# 50

*октябрь-ноябрь 1986*



*издание общественного культурного фонда  
"МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ"  
под покровительством израильского комитета ученых  
при общественном совете солидарности с евреями СССР*

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЛИТЕРАТУРА

- 3 *ЛЕОНИД ЦЫПКИН*. Лето в Бадене (роман)  
40 *ФЕЛИКС КАНДЕЛЬ*. Слово за слово (повесть, ч. 2)  
82 *МИХАИЛ ГРОБМАН*. Стихи

### ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

- 90 *ОСКАР МИНЦ*. Израильские очерки

### ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- 101 *ДАВИД МААЯН*. Пути и судьбы ленинградских сионистов

### ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

- 134 *АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ*. Читая Солженицына

### СУДЬБЫ ИДЕЙ

- 168 *СТАНИСЛАВ ЛЕМ*. Одна минута

### РУССКИЙ ВОПРОС

- 183 *Э. ЧБОРАН*. Россия и вирус свободы

### ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

- 195 *ЖАН БЕРЖЬЕ, ЛУИ ПОВЕЛЬ*. Утро магов (главы из книги)

### ИСКУССТВО

- 218 *НЕЛЛИ ГУТИНА*. "Путч" в "Габиме" (фотографии и текст к ним – *ГРИГОРИЯ ВИНИЦКОГО*)

*На последней странице обложки: ЮРИЙ ЛЮБИМОВ на репетиции в Габиме.  
Фото ГРИГОРИЯ ВИНИЦКОГО*

*Цветная обложка юбилейного номера – дружеский подарок от журнала  
"ЗЕРКАЛО"*

## ЛИТЕРАТУРА

*Леонид Цыпкин*

### ЛЕТО В БАДЕНЕ

(роман)

Поезд был дневной, но была зима, самый разгар ее — конец декабря, кроме того, поезд шел в сторону Ленинграда — на север, поэтому за окнами быстро стало темнеть, — яркими огнями вспыхивали лишь уносившиеся назад, словно брошенные чьей-то невидимой рукой подмосковные станции — дачные платформы, занесенные снегом, с чередой мелькающих фонарей, сливающихся в одну огненную ленту, — станции проносились с глухим грохотом, словно поезд шел по мосту, — грохот смягчался двойными рамами с мутными полузамерзшими стеклами, но огни станций все равно пробивались сквозь стекла и чертили огненную ленту, а там, дальше, угадывались необозримые снежные пространства, и вагон сильно качало из стороны в сторону, особенно ближе к тамбуру, и когда за окнами стало совсем темно и осталась лишь смутная белизна снега, а подмосковные дачи кончились и в окне вместе со мной побежало отражение вагона со всеми его лампами-плафонами и сидящими пассажирами, я достал из чемодана, находившегося надо мной в сетке, книгу, начатую мною уже в Москве и специально взятую мною в дорогу в Ленинград,

и открыл ее в том месте, где она была заложена закладкой с китайскими иероглифами и каким-то изящным восточным рисунком, — книгу эту я взял у своей тетки, обладательницы большой библиотеки, и в глубине души не собиравшись ее возвращать — я отдал ее в переплет, потому что она была очень ветхая, почти рассыпалась — переплетчик подрезал страницы так, что они все стали ровными, одна в одну, и заключил ее в плотную обложку, на которую наклеил первую, заглавную страницу книги с названием, — это был дневник Анны Григорьевны Достоевской, вышедший в каком-то либеральном издательстве — не то “Вехи”, не то “Новая жизнь”, не то что-то еще в этом роде — с указанием дат по новому и старому стилю, со словами и целыми фразами на немецком или французском языке без перевода, с обязательной приставкой “M-me” (мадам), употребляемой с гимназической прилежностью, — расшифровка ее стенографических записей, которые она вела в первое лето после своего замужества, за границей.

Достоевские выехали из Петербурга в середине апреля 1867 года и уже на следующее утро были в Вильне. В гостинице им то и дело попадались на лестнице жидочки, навязывавшие свои услуги и даже бежавшие за пролеткой, в которой ехали Анна Григорьевна и Федор Михайлович, чтобы продать им янтарные мундштуки, пока те не прогнали их, а вечером на старых узких улицах можно было увидеть тех же жидочков, которые прогуливали своих жидовочек. А еще через день или два они прибыли в Берлин, а потом в Дрезден, и начались поиски квартиры, потому что немцы, в особенности же немки, всякие фрейлины-владелицы пансионов или просто мебелированных комнат, драли немилосердно с приехавших русских, плохо кормили, а официанты обманывали на мелочах, и не только официанты, и вообще немцы были народ бестолковый, потому что не могли объяснить Феде, как пройти на ту или другую улицу, и обязательно показывали в противоположную сторону — уж не нарочно ли? Впрочем, жидочков Анна Григорьевна заприметила еще раньше — во время своего первого прихода к Феде в дом Олонкина, который сразу же напомнил ей дом, в котором жил Раскольников, — жидочки среди прочих снующих жильцов тоже встречались там на лестнице. (Впрочем, справедливости ради, надо заметить, что

в "Воспоминаниях", написанных Анной Григорьевной незадолго до революции, может быть, даже после знакомства с Леонидом Гроссманом, о жидочках на лестнице уже не упоминается.) На фотографии, вклеенной в "Дневник", у Анны Григорьевны, тогда еще совсем молодой, лицо не то фанатички, не то святоши, с тяжеловатым взглядом исподлобья. А Федя уже был в годах, небольшого роста, коротконогий, — так что, казалось, если он встанет со стула, на котором сидел, то окажется лишь немного выше ростом, — с лицом русского простолюдина, и по всему видно, что он любил фотографироваться и усердно молиться. Так отчего же я с таким трепетом (я не боюсь этого слова) носился с "Дневником" по всей Москве, пока не нашел переплетчика, жадно перелистывал в транспорте ветхие страницы, выискивая глазами такие места в книге, которые я, казалось, уже предвидел, а потом, получив у переплетчика увесистый том, положил его на свой письменный стол, уже не убирая его оттуда ни днем, ни ночью, как библию? Отчего ехал сейчас в Петербург — да, не в Ленинград, а в Петербург, по улицам которого ходил этот коротконогий, невысокий (как, впрочем, наверное, и большинство жителей прошлого века) человек с лицом церковного сторожа или отставного солдата? Отчего читал эту книгу сейчас, в вагоне, под нервным, мерцающим светом ламп, который то разгорался, то почти гас в зависимости от скорости движения поезда и работы дизелей, под хлопанье дверей тамбура, куда то и дело входили и откуда выходили курящие и некурящие со стаканчиками в руках, чтобы напоить детей, или помыть фрукты, или просто в туалет, дверь которого хлопала вслед за дверью тамбура, — под хлопанье и стук всех этих дверей, под бортовую качку, то и дело уводившую текст куда-то в сторону, вдыхая запах угля и паровозов, которых давно уже нигде не было, только почему-то запах этот оставался? В Дрездене они поселились в комнате у *M-me Zimmermann*, высокой сухощавой швейцарки, и в первый же день сразу пошли в галерею, — в Москве, перед зданием Пушкинского музея, выстроилась тогда огромная очередь, пускали порциями, и где-то на площадке между этажами висела "Сикстинская мадонна", а под нею стоял милиционер, Мадонна висела в простенке между окнами, так что свет был боковой, а день к тому же пасмурный, — картина была подерну-

та какой-то дымкой, Мадонна плыла в облаках, которые казались воздушным подолом ее платья, а может быть, просто сливались с ним, а где-то внизу слева, подобострастно глядя на Мадонну, выступал апостол с шестью пальцами на руке — я сам подсчитал, действительно их было шесть, — фотография этой картины, подаренная Достоевскому ко дню его рождения через много лет после поездки в Дрезден, уже совсем незадолго до смерти, потому что считалось, что это его любимая картина, хотя любимой его картиной была, кажется, картина “Мертвый Христос” Гольбейна-младшего, так вот, фотография “Мадонны” Рафаэля, обрамленная деревянной рамкой, висит теперь над кожаным диваном, на котором умер Достоевский, в его музее в Ленинграде — воздушная Мадонна держит наискосок так же воздушно запеленутого младенца, словно кормит его грудью, как это делают цыганки, при всех, но выражение ее лица какое-то неуловимое, как и у Джоконды, — и такая же фотография, только поменьше и, наверное, похуже, поскольку она была сделана уже в наше время, стоит, словно нарочито небрежно оставленная там, за стеклом книжных полок у моей тетки. В Дрездене Достоевские ходили в галерею каждый день, как в Кисловодске ходят в курзал, чтобы выпить нарзан, или встретиться, или просто постоять, наблюдая за публикой, а потом шли обедать — нужно было выбрать ресторан подешевле, и где хорошо кормят, и где кельнеры меньше обманывают — они постоянно обманывали Достоевских на два или три зильбергроша, потому что все немцы решительно были мошенники, — и однажды после очередного посещения галереи они пошли обедать на Брюллеву террасу, живописно раскинувшуюся над Эльбой, — они уже раньше заметили кельнера, которого прозвали “дипломатом”, потому что он был точно похож на дипломата, и, кроме того, в прошлый раз они поймали его на том, что за чашку кофе он брал вдвое больше — пять зильбергрошей вместо двух с половиной, но они его обхитрили — вместо пяти зильбергрошей чайевых Анна Григорьевна подсунула ему монету в два с половиной зильбергроша, которую он же дал им сдачи вместо положенных пяти зильбергрошей, — на сей раз они сильно проголодались, особенно Федя, а “дипломат” вместо того, чтобы подойти к ним, усиленно занимался каким-то саксонским офицером, который пришел позже них, — у офицера был

красный мясистый нос и желтоватые глаза, и по всему видно было, что он любит выпить, — Федя позвал кельнера, однако тот с невозмутимым видом продолжал обслуживать офицера, который заправлял накрахмаленную салфетку за тугой воротник кителя — “дипломат” явно мстил им за прошлый раз — Федя постучал ножом по столу — “дипломат”, наконец, подошел к ним, но только так, мимоходом, и сказал им, что он и так слышит и незачем стучать, — Федя заказал еще курицу и телячьи котлеты, но через некоторое время “дипломат” принес только одну порцию курицы, а на вопрос Феде: “Что это значит?” — подчеркнуто вежливо ответил, что они заказывали только одну порцию, а потом то же самое повторилось с телячьими котлетами, — в соседней зале четыре лакея играли в карты, а в зале, где они обедали, было всего несколько посетителей, — очевидно, кельнер ошибался нарочно — лицо Феде покрылось красными пятнами — он стал громко говорить жене, что если бы он был здесь один, то он бы показал им, и даже закричал на нее, как будто она была виновата в том, что они пошли сюда вдвоем, — приподняв нож и вилку, он нарочно бросил их, так что они со звоном упали, чуть не разбив тарелку, — на них уже посматривали — они вышли не оглядываясь, — уходя, Федя бросил на стол целый талер вместо двадцати трех зильбергрошей, которые им полагалось уплатить, и хлопнул дверью, так что задрожали стекла, — они шли по аллее, обсаженной каштанами, он — впереди, решительной походкой, она — сзади, еле поспевая за ним, — если бы не она, он бы довел дело до конца и настоял бы на своем, а теперь он уходит, оплеванный этим мерзавцем-лакеем, потому что все лакеи мерзавцы, — они воплощение самых низменных свойств человеческой природы, но во всех нас сидят задатки этого проклятого лакейства, — разве сам он не заглядывал угодливо в глаза этому мерзавцу плац-майору, когда тот, пьяный, с красным носом и желтым рысьим взглядом — ага, вот кого давеча напомнил ему саксонский офицер! — когда он пьяный, в сопровождении караульных, ворвался в барак и, увидев арестанта в серо-черной одежде с желтым тузом на спине лежащим на нарах, потому что арестанту в этот день нездоровилось, и он не мог выйти на работу, заорал во всю мочь своей здоровенной глотки: “Встать! Подойти ко мне!” — этим арестантом был он,

человек, идущий сейчас по каштановой аллее прочь от этого ресторана и от этой террасы, живописно раскинувшейся над Эльбой, — он и тогда, в остроге, видел все это со стороны, словно это происходило во сне или не с ним, а с кем-то другим, — однажды он присутствовал в кордегардии на экзекуции — наказуемый лежал неподвижно под ударами розог, оставлявших кровавые следы на его спине и ягодице, и так же молча встал, аккуратно застегнув свою арестантскую одежду и ушел, не удостоив даже взглядом Кривцова, который стоял тут же рядом, — удастся ли ему так же смолчать и с достоинством уйти из кордегардии? — он вскочил с нар, лихорадочно опираясь на себе трясущимися руками свою серо-черную куртку, и пошел к Кривцову, стоявшему в дверях барака, — он шел, опустив голову, — нет, не шел, а почти бежал, и это само по себе было уже унижительно, а подойдя к плац-майору, посмотрел на него, не твердо и жестко, а с мольбой в глазах — он почувствовал это по одному тому, как хищно расширились зрачки Кривцова — зрачки его желтых, рысьих глаз — они были рысьими не только потому, что походили на глаза рыси, но и потому что рыскали, выискивая очередную жертву, — он и тогда, стоя перед ним, подумал про это, и ему тогда же странным показалось, что он в такую минуту может думать об этом — впрочем, какое здесь было лакейство?! — это был страх, самый обыкновенный страх, но разве не страх рождает лакейство? — Анна Григорьевна догнала его и, продев свою руку в потертой перчатке под его локоть, виновато заглянула ему в глаза — если бы не она, он показал бы этому лакею, он поставил бы их всех на место! — он медленно перевел взгляд с ее лица на руку ее, лежавшую у него на плече, — “По-моему, в таких перчатках не пристало ходить аккуратной женщине”, — медленно отчеканил он и снова перевел свой взгляд на ее лицо — губы ее задрожали, а веки как-то странно вспухли, — она еще шла рядом с ним, но только по инерции и еще потому, что ей казалось, что это относится не к ней, — он не мог сказать ей такого, — оставив его, она быстрым шагом, почти бегом свернула в какую-то боковую аллею, тоже обсаженную каштанами, — на секунду оглянувшись, она увидела сквозь листву и слезы его фигуру, по-прежнему решительно шагающую по аллее, — на нем был темно-серый, почти черный костюм, купленный в Берлине, — ему даже

в голову не пришло тогда сказать ей, чтобы она купила себе новые перчатки, хотя эти уже разъезжались по швам, и она еще в дороге, при нем, два раза зашивала их, — теперь он же ее еще и попрекал, хотя деньги на их путешествие были получены от заклада вещей ее матери — она шла по улице, почти бежала, держась ближе к домам, опустив вуаль, чтобы не было видно ее вспухшего от слез лица, а навстречу ей попадались добропорядочные немцы в котелках со своими немками, и лица у них были розовые и самодовольные, они вели за ручку детей, чисто и аккуратно одетых, и им не нужно было думать, чем расплачиваться за сегодняшний обед или ужин, и они не повышали голоса друг на друга, а Федя давеча, в ресторане, закричал на нее. Она проскользнула через дверь своего дома, стараясь остаться незамеченной, вошла в комнаты, сначала — в большую, служившую им столовой, с развешанными по стенам олеографиями, изображавшими то реку — наверное, Рейн — с отражающимися в ней деревьями, то какие-то замки на вершине горы на фоне неестественно голубого неба, затем — во вторую комнату, служившую им спальней, с двумя громоздкими кроватями и в третью, маленькую — Федину — с письменным столом, на котором лежали аккуратно сложенные листы белой бумаги и гильзы от папирос с просыпанным табаком, и вдруг поняла, что она шла сюда с тайной надеждой, что он опередил ее и уже ждет ее дома, — она решила пойти на почту, куда Федя часто заходил, но на почте его не оказалось, и писем тоже не было — она пошла снова домой — теперь-то он уж должен был прийти — *M-me Zimmermann*, встретившаяся ей на лестнице, сказала, что Федя был, но ушел куда-то, — она побежала на улицу и вдруг увидела его — он шел навстречу ей, бледный, виновато и даже как-то заискивающе улыбаясь, — оказывается, он вернулся на террасу, думая, что она вернулась туда для независимости, а потом пошел в читальню искать ее, — они зашли на минуту домой, чтобы переодеться, потому что собирался дождь, — когда они вышли, дождь лил в три ручья, но надо же было пообедать, — они зашли в *Hotel Victoria* и спросили три блюда, которые обошлись им в два талера и десять зильбергрошей — цена страшная, потому что за котлету брали двенадцать зильбергрошей, ну где это видано! — но день был решительно несчастливый — когда они вышли из ресторана, было уже

восемь часов вечера, темно, шел дождь, и она раскрыла свой зонт, но не так, как это делают предусмотрительные немцы, а задела какого-то немца, проходившего мимо, — Федя раскричался на нее, потому что ее неловкость могла быть этим немцем превратно истолкована, и у нее снова вспухли глаза, но, слава Богу, в темноте этого никто не видел, а потом они пошли домой рядом, не разговаривая друг с другом, словно чужие — а дома, за чаем, они снова побранились, хотя дальше уже было некуда, а потом она спросила его что-то насчет его предполагаемого отъезда в Homburg, и он снова раскричался на нее, и она в ответ тоже что-то закричала, ушла в спальню, а он заперся в кабинете, но ночью пришел к ней прощаться, — он приходил каждую ночь прощаться к ней, в особенности же после ссор и размолвок, так что в слово "прощаться" вполне можно было вложить и иной смысл, — он нежно будил ее, и гладил, и целовал, потому что она была его, и в его силах было сделать ее несчастной или счастливой, и это сознание своей полной власти над молодой неопытной женщиной, с которой он мог бы сделать все, что ему заблагорассудится, походило, наверное, на то чувство, которое я испытываю к маленьким гладким собачкам, которые уже при виде одной только протянутой к ним руки, даже для ласки, начинают пугливо и заискивающе вилять хвостом, прижиматься к земле и дрожать мелкой дрожью, — он обнимал, целовал в грудь, и начиналось плавание — они плыли большими стежками, выбрасывая одновременно руки из воды, одновременно набирая воздух в легкие, все дальше от берега, к синей выпуклости моря, но почти каждый раз он попадал в какое-то встречное течение, которое относило его в сторону и даже чуть назад — он не поспевал за нею, а она продолжала все так же ритмично выбрасывать руки и терялась где-то вдали, и ему казалось, что он уже не плывет, а только барахтается в воде, пытаюсь достать ногами дна, и это течение, относившее его в сторону и не дававшее ему плыть вместе с ней, странным образом обращалось в желтые глаза плац-майора с хищно расширившимися зрачками, в поспешность, с которой он расстегивал свою арестантскую одежду, чтобы лечь на отполированный сотнями тел низкий дубовый стол, стоявший посреди не кордегардии, в стоны, которые он не смог сдержатъ, когда на его тело обрушились удары розог, как будто через его мышцы

и кости протягивали раскаленную проволоку, в судорожные корчи, которые начались у него после экзекуции, в насмешливые или сострадательные взгляды присутствовавших при этом, в брезгливую улыбку плац-майора, когда он велел вызвать врача и, круто повернувшись на каблуках, вышел из кордегардии, и точно такое же возникало у него с другими женщинами, потому что все они, так же как и Аня, незримо присутствовали на экзекуции — заглядывали в зарешеченные окна кордегардии, в дверь, пытались зайти, чтобы заступиться за него, но их не пускали, — все они были свидетелями его унижения, и он ненавидел их за это, потому что это не позволяло ему испытывать всей полноты ощущений, а сегодня ко всему этому примешивались еще наглый взгляд лакея, издевавшегося над ними, и лицо саксонского офицера, напоминавшее лицо плац-майора. Он давно уже заметил в зале галереи, где висела Сикстинская мадонна, мягкий с изогнутой спинкой стул, стоявший как-то отдельно от других стульев, на которые присаживались посетители галереи, чтобы отдохнуть или полюбоваться картиной, — на него почему-то никто не садился — может быть, он предназначался для служителя, а может быть, представлял собой какую-то историческую ценность — и, когда он в первый раз подумал о том, чтобы сделать это, холод пробежал по его спине, настолько это казалось неосуществимым и дерзким. Проходя мимо стула, он примеривался и раз даже чуть уже не занес ногу, но в зале было много народа, и служитель в форменной куртке со скучающим видом подпирал стену. А может быть, как раз и следовало сделать это при всех и при служителе особо, потому что именно служитель должен был воспротивиться этому. Когда он подходил к стулу, сердце его проваливалось куда-то, и он задерживался только на секунду, словно раздумывал, с какой стороны обойти этот стул, но затем проходил дальше и с преувеличенным интересом вглядывался в Мадонну. Но в эту ночь, когда Аня уплыла так далеко от него, и он барахтался где-то возле берега и не мог достать дна, — в эту ночь он твердо положил себе сделать это. Когда утром они, как обычно, вошли в галерею, он сразу же пошел в зал, где висела Сикстинская мадонна, сердце его стучало, отдаваясь в ушах, — перед картиной толпилось много народа, некоторые стояли или сидели чуть поодаль со зрительными трубами — через них лучше было

видно, так как взгляд не расплывался, а сосредоточивался на картине, — в первый момент он не увидел стула, и по тому, как перестало биться и трепыхать его сердце, он понял, что внутренне обрадовался этому. Но оказалось, что стул был просто загроможден людьми, служитель тоже находился в зале, при полной форме, в ливрее с золочеными пуговицами — он решительными шагами пошел к стулу, даже как-то расталкивая посетителей, — Анна Григорьевна, зашедшая в зал вместе с ним, стояла где-то в стороне и даже, кажется, взяла зрительную трубу — он ступил ногой на стул, закрыв глаза, или, может быть, просто он ничего не видел в этот момент, потом стал другой ногой — башмаки его ушли в глубь мягкого сиденья — поверх голов присутствующих картина была видна особенно хорошо — плывущая в облаках Мадонна с младенцем на руках и благоговейно глядящий на нее снизу вверх апостол, а вверху ангелы, — в общем-то он для этого и встал, потому что нужно же было придумать какое-то объяснение для этого лакея, когда он будет пытаться стащить его со стула, — “Федя, ты с ума сошел!” — Анна Григорьевна стояла рядом с ним, испуганно глядя на него снизу вверх, и даже осторожно потянула его за рукав — он возвышался теперь над всеми посетителями — все они были пигмеями, и таким же пигмеем был служитель, устремившийся к нему — на том месте, где только что висела картина, появилось лицо плац-майора с бычьей шеей и массивным подбородком, подпертым тугим воротничком мундира, он улыбнулся застенчиво и даже как-то заискивающе, и это уже была не одна его физиономия, а вся фигура, почему-то тщедушная и кланяющаяся, а там, где только что стояли посетители, на месте их голов было море, — и они с женой плыли по этому морю в синеватую даль, ритмично выбрасывая руки, одновременно вдыхая воздух, все дальше и дальше удаляясь от берега, а плац-майор почти совсем исчез, только где-то вдалеке маячила его жалкая согбенная фигура — фигура нищего, просящего подаяние. “Господин, у нас запрещено становиться на стулья”, — сказал служитель и строго посмотрел на хорошо одетого человека, стоявшего на стуле, — служитель подвинулся вперед и приподнял руку, словно предлагая ее для опоры стоявшему на стуле, — он сошел, почти спрыгнул со стула, оттолкнув руку служителя, и увидел в углу залы Анну Григорьевну — за это время

она успела отойти туда и теперь делала вид, что упорно рассматривает картину в трубу, но руки ее, державшие трубу, дрожали, — “Ради Бога, уйдем отсюда”, — сказала она охрипшим от волнения голосом, когда он подошел к ней, — посетители оглядывались на них и перешептывались о чем-то — взяв его под руку, она повлекла его к двери, ведущей в другую залу, — он должен был выстоять на стуле до конца, несмотря на замечание лакея, а он все-таки не выдержал и сошел — лицо плац-майора, появившееся теперь в широком окне залы, нагло улыбалось, а его рука, толстая и мясистая, ухарски и победоносно разглаживала усы, а в окна кордегардии заглядывали какие-то люди — близкие знакомые наказуемого и женщины — и взгляды их полны были сострадания и участия, а он лежал на столе со спущенными штанами, и караульный методично хлестал его, — он резко освободился от руки Анны Григорьевны — она решительными шагами, опустив голову, вышла в соседний зал — стул не должен был оставаться пустым, это было неестественно — пустой стул, — он быстро направился к центру залы, и вот уже ноги его снова погрузились во что-то мягкое, сквозь которое ощущались пружины — теперь он будет здесь стоять столько, сколько захочет, он должен перебороть в себе это низкое чувство перед лакеем, неужели он не сможет преступить через эту черту? — в зале приоткрылись, словно перед поднятием занавеса, — лицо плац-майора, появившееся теперь снова на месте картины, было наглым и подмигивающим — размахнувшись, он наотмашь ударил его ладонью по щеке, и оно исчезло, провалилось куда-то, наверное, с самим плац-майором, который лежал на полу возле отполированного стола, — арестант, которого он только что пытался наказать, стоял в торжествующей позе, наступив ногой на живот плац-майора, а зрители, заглядывавшие в окна, шумно рукоплескали ему, и женщины, в особенности те, с которыми он был близок, смотрели на него восторженно и посылали ему воздушные поцелуи, — он сошел со стула, не торопясь, не соскочил, а именно сошел и медленно направился в соседнюю залу — в двери он столкнулся со служителем, который, видимо, отлучался куда-то, и лакей почтительно уступил ему дорогу, а ночью, когда он пришел к Ане прощаться, они снова поплыли вместе, ритмично выкидывая руки, одновременно поднимая головы из воды, чтобы вдохнуть

воздух, и течение не сносило его — они плыли к удалявшемуся горизонту, в неведомую синюю даль, а потом он снова целовал ее — темный треугольник вершиною был обращен вниз, и вершина эта всегда казалась ему недоступной, словно вершина высочайшей горы, тонувшей где-то в облаках, хотя та вершина, к которой стремился он, была обращена вниз, — впрочем, скорей, это было дно вулканического кратера — в этой вершине и в этом недостижимом дне крылась страшная и сладкая разгадка чего-то такого, чего он не мог ни назвать, ни даже представить себе, и потом всю жизнь, даже в письмах к ней, он без конца стремился приблизиться к этой вершине-кратеру, но она оставалась недоступной, — выстоял ли он давеча на стуле в зале, где висела Мадонна, столько, сколько он хотел? — ведь служитель отсутствовал, когда он во второй раз стоял на стуле, и поэтому нельзя было утверждать, что он выстоял вопреки воле служителя, хотя решил же он про себя, что будет стоять, пока не выведут, — пусть бы вывели его — служитель и даже, может быть, полицейский потащили бы его через всю залу на глазах у всех и у Ани, и все покатилося бы вниз, под гору, быстрее и быстрее, и тогда он бы уже не поднялся с отполированного стола, на котором его наказывали, и лицо плац-майора нависало бы над ним синюшно-красным шаром, словно брюхо напившегося кровью комара, и вся жизнь его превратилась бы в сладкую пытку, потому что от такого унижения уже только дух могло захватывать, но не произошло ни того, ни другого — он сошел, хотя и по собственной воле, но не дождавшись служителя, и в то же время не довел дело до скандала — запретная вершина треугольника, прячущаяся в облаках и в то же время уходящая в земные недра, может быть, к самому центру земли, где постоянно кипит лава, вершина эта оставалась недоступной — Аня нежно гладила его по лицу, но он, даже не сказав ей, как обычно: “Покойной ночи” — ушел к себе, а через полчаса она проснулась от странного звука — не то хрипения, не то клокотания — засветив дрожащими руками свечу, она бросилась к постели мужа — он лежал на самом краю ее, сгибаясь всем телом так, будто хотел присесть, но ему мешала невидимая веревка, которой он был привязан к кровати, с посиневшим лицом, с пеной у рта — она изо всей силы подтянула его к середине кровати, чтобы он не упал и,

встав на колени, принялась вытирать полотенцем пену с его губ и пот, катившийся с его лба, — теперь он лежал спокойно, с бледным, словно у мертвеца лицом, — невидимая веревка взяла свое — он так и не сумел сесть, неужели это был ее муж? — этот человек с посиневшим лицом, пытающийся сесть в кровати, преодолевая чье-то невидимое сопротивление, с вскипающей на губах пеной, с жидковатой всклокоченной бородой, сбившейся куда-то на бок, — неужели это к нему несколькими более полугодом назад она поднималась по узкой мрачной лестнице с крутыми ступеньками, управляя свою мантильку, с бьющимся от волнения сердцем, заглушавшим стук ее каблучков, с прерывающимся от волнения дыханием, в сотый раз заглядывая в свою сумку, куда она положила купленные только что в Гостином дворе новенькие карандаши и пакетик почтовой бумаги (не потеряла ли она их?), ловко опередив на час свою подругу по курсам, тоже лучшую ученицу, потому что с того момента, как она узнала, что ему нужна стенографистка, все вокруг нее поплыло и закачалось, как на корабле во время шторма — огромной волной снесло все снасти и даже перила — оставалась только одна мачта, и все находившиеся на палубе пытались добраться до этой мачты и обхватить ее руками, чтобы их тоже не смыло в море, но ухватиться за эту мачту мог только один человек, и этим одним человеком должна была стать она, — он встретил ее в прихожей, чуть наклонив набок голову, словно рассматривал какое-то неведомое ему насекомое, а из другой двери показался какой-то неопрятный молодой человек с брюзгливым выражением лица — его пасынок, — молодой человек надменно и нагло улыбнулся, и потом, когда она приходила, он снова так же улыбался и еле кивал ей, — а он привел ее в небольшую комнату с письменным столом, еще с каким-то круглым столиком, несколькими стульями с выцветшей обивкой и, усадив ее за круглый столик, принялся ей диктовать, — в этот день он больше не взглянул на нее, а ходил взад и вперед по комнате и диктовал глухим неприятным голосом, и она боялась его переспросить, потому что ей казалось, что он ее сейчас же отправит, но надо было удержаться, схватиться за мачту прежде других, и она, теряя равновесие, падая, неуклонно подвигалась к этой мачте — на третий или четвертый день работы она поймала на себе его взгляд, живой

и испытующий, и ей на секунду показалось, что он хочет подойти к ней и сказать что-то или спросить, но она строго опустила глаза, с преувеличенным интересом всматриваясь в только что сделанные ею стенографические записи, — она почти уже ухватилась за мачту, но не следовало торопиться, чтобы не потерять в последний момент равновесия, — с каждым разом он подходил к ней все ближе и ближе — он шагал теперь не из угла в угол комнаты, как в первые разы, а вокруг нее, и круги эти с каждым разом становились все уже и уже — паук, приближающийся к мухе, — и что-то сладко-запретное было в этом неизбежно суживающемся кружении и для него, и для нее, и захватывало дух, но она все так же строго, теперь даже аскетически закрывала глаза, избегая его взглядов, но не она ли ткала эту паутину, может быть, они оба вырабатывали ее? — нити паутины провисали, и в иной момент, казалось, могли порваться, но в этот момент неизменно открывалась дверь кабинета и просовывалась голова пасынка, с его наглой, надменной и обличающей ухмылкой, так что диктовавший переходил с кругов снова на диагонали — из угла в угол — и старался не взглядывать на стенографистку, но это было выше его сил, а она встречала появление пасынка тяжелым взглядом в упор исподлобья, может быть, тогда он у нее впервые и появился, этот взгляд, которым она смотрит с фотографии на первой странице “Дневника”, — в конце концов, вся эта паутиная возня кончилась тем, чем должна была кончиться: он сладко ужалил свою жертву, а она ухватилась за мачту и прижалась к ней всем телом, чтобы ее не смыло и чтобы никто другой не смог за нее ухватиться. Он рассказал ей все: и про каторгу, и про падучую, и про безденежье (о котором она и так догадывалась), и про договор со Стелловским, согласно которому он должен был представить новый роман не позднее тридцатого числа этого месяца — в противном случае все права на издание его произведений переходили к Стелловскому, — он сидел за круглым столиком напротив нее и угощал ее чаем с кренделями, которые он сам выбрал в кондитерской на Вознесенском проспекте — сладости он любил покупать сам, и здесь в Дрездене, возвращаясь с почты или из галереи, он накупал всякие лакомства, которые она любила, и кроме того ягоды и фрукты — из окна она видела, как он приближался

к дому, нагруженный покупками, неся в обеих руках свертки, — она ждала его возле двери — он любил, чтобы она выходила ему навстречу и принимала покупки из его рук, и сердился, если она чуть запаздывала, — в петербургской квартире, сидя за круглым столиком напротив нее, он сам наливал ей чай и надтреснутым голосом рассказывал ей о себе — она уже не опускала глаз, а смотрела на него прямо, в упор, и этот взгляд исподлобья в упор казался ему ясным и кротким, и, наверное, таким он и был, этот взгляд, — иногда он теребил свою бороду, а когда он вставал и шел на кухню, чтобы принести еще чаю, ноги его как-то странно передвигались, почти не сгибаясь в коленях, как будто они еще были связаны цепями, а потом он стал ездить к ним домой на Пески, и маменька ее суетилась, накрывая на стол, и еще они как-то поехали вместе на пролетке — он подвозил ее куда-то — и, когда на каком-то людном перекрестке кучер осадил лошадей, она по инерции наклонилась вперед, и, хотя ясно было, что она не упадет, он придержал ее за талию, даже на секунду обнял, и она вспыхнула, и потом, уже после свадьбы, они поехали в Москву и остановились в гостинице Дюссо, в небольшом номере на третьем этаже, откуда были видны заснеженные колокольни и купола московских церквей, а внизу — засыпанные снегом улицы с наезженными от саней колеями, из гостиницы почти каждый день они отправлялись на санях, укрывшись теплым меховым пологом, к его сестре, жившей на Старой Басманной, по дороге они останавливались возле Меншиковой башни, а затем возле церкви Успенья Богородицы на Покровке, они выходили на несколько минут, чтобы обойти церковь вокруг, — она была в Москве в первый раз, и он показывал ей все так, как хозяин дома показывает свои вещи, которыми он гордится, — когда выйдя из саней, они направлялись к церкви, он на минутку останавливался, снимал шапку и крестился, кланяясь, и она тоже крестилась и кланялась, — а в квартире у его сестры она ловила на себе неприязненные взгляды домочадцев, потому что они мыслили женить Федю на какой-то своей родственнице, и это не получилось, она отвечала им взглядами исподлобья, но, когда Федя уходил в соседнюю комнату или оживленно беседовал с барышнями, ей начинало казаться, что мачта, за которую она теперь уже прочно держалась, настолько прочно, что даже уже забыла, что она дер-

жится за нее — мачта эта вдруг начинала выскальзывать из ее рук, и она, опустив глаза, делала вид, что оправляет оборки на своем платье, но пальцы ее, помимо ее воли, комкали материю, и она чуть приподнималась на стуле, снова поправляя кринолин, а в гостиничном номере, когда в коридоре все затихало, он, так же как и здесь, в Дрездене, приходил к ней прощаться, и они принимались плавать, выбрасывая из воды руки, и заплывали так далеко, что очертания берега терялись, а в Петербурге снова начались неприязненные взгляды пасынка и жены его покойного брата, Эмилии Федоровны, сухонькой дамы, с колющими угольного цвета глазами, и все они хотели отобрать его у нее, и в квартире у них то и дело стали появляться кредиторы, полные и самодовольные купчики с толстыми золотыми кольцами на толстых коротких пальцах, с брелоками на тяжелой золотой цепочке, свисавшей из жилетного кармана, — все они требовали уплаты долга за прогоревшую табачную фабрику его брата, и он вел с ними какие-то бесконечные переговоры, а потом явился квартальный надзиратель в фуражке с голубым околышем и, прищелкнув каблуками, объявил, что завтра будут описывать их имущество, и тогда она поехала к маменьке, и маменька, перекрестив ее и поцеловав в обе щеки, сказала, что заложила свои фамильные вещи, — они временно откупились от кредиторов и от описания имущества и выехали из Петербурга за границу, подальше от всего этого кошмара, от неприязненных взглядов, от пасынка, от кредиторов, и когда они сели в вагон, ей казалось, что теперь начинается новая для них жизнь, — он по-прежнему лежал, хотя уже не пытался сесть, дыхание его еще было беспокойным, прерывистым, и воздух с шипением вырывался сквозь его стиснутые зубы, превращаясь на губах в пену, где-то там, внутри его горла что-то клокотало и булькало, как будто он набрал воды и полоскал ею горло, — она все так же стояла на коленях, вытирая полотенцем пену и пот, дотрагиваясь до его лба, который теперь, как и все лицо, стал бледным, вглядываясь в его глаза — они были открыты, и взгляд их был устремлен на нее, но он не узнавал ее, а на стене отбрасываемая колеблющимся светом свечи плясала тень от его взлохмаченной бороды, похожая на фигуру какого-то косматого чудовища, — ей вдруг стало страшно и она бросилась к двери, чтобы позвать *M-me Zimmermann* или хотя

бы служанку, или вызвать врача, но он тихо и отдельно позвал ее, и она снова уже стояла возле него на коленях, смотрела ему в глаза, гладила его лоб, а он, отыскав ее другую руку, притянул ее к себе и прижал к губам, — через тринадцать с половиной лет он точно так же притянул к своим губам ее руку, после того как она прочла ему загаданное им в Евангелии место, и попросил пригласить к нему детей, чтобы попрощаться, — он лежал тогда в своей петербургской квартире на кожаном диване со спинкой под фотографией Сикстинской мадонны, подаренной ему ко дню рождения, — почти таким запечатлел его Крамской — голова чуть тонет в приподнятой подушке, но только чуть-чуть, так что от головы радиально расходятся морщины, образовавшиеся на подушке, глаза закрыты, выражение лица строгое и вместе с тем умиротворенное, как это бывает почти у всех мертвых, и длинная, почему-то темная борода из завивающихся кольцами волос.

Поезд загрохотал по мосту, и я, оторвавшись от книги, прижался лицом к окну и приставил ладони к глазам наподобие шор, чтобы отгородиться от яркого освещения — сквозь смутную белизну зимней ночи, хотя был еще только вечер, да к тому же и не поздний, где-то вдалеке виднелось множество мерцающих огней — захлопали двери тамбуров, какие-то пассажиры с чемоданами в руках стали пробираться к выходу, сталкиваясь с выходящими из тамбура какими-то детьми и девицами со стаканами и с термосами в мокрых руках, отряхивая руки, просушивая их на воздухе, потому что полотенца в туалете, наверное, не было, или оно было настолько мокрым и захватанным, что было уже не пригодно для использования. Поезд подходил к Калинину. За окном замелькали огни привокзальных построек, где-то за ними — теряющиеся вдали цепочки уличных фонарей, шлагбаум с освещенной будкой, притушенные фары машин, ожидающих возле шлагбаума, снова огни, уже более яркие, затем прямо под окном медленно поплыла высокая платформа, ярко освещенная, заснеженная, с фигурами людей в зимних пальто и полушубках, с чемоданами в руках, затем здание вокзала, тоже с ярко освещенными окнами, за которыми тоже виднелись фигуры людей — в ресторане, в зале ожидания, у билетных касс, возле газетного киоска, — вагон остановился, чуть миновав здание вокзала, — снова захлопали двери, и из тамбура ворвались клубы морозно-

го пара, на платформе засуетились, побежали, — одни, отыскивая свой вагон, другие, выскочившие из поезда без пальто, — в поисках пива, пирожков и газет, — по другую сторону платформы и вокзала стоял точно такой же поезд с красными вагонами, только шедший в противоположном направлении — из Ленинграда в Москву, именно в Калинин они встречались и останавливались, так что после покупки пирожков или газет, засуетившись и в спешке, вполне можно было перепутать поезда и уехать в противоположном направлении, — а где-то там, по обе стороны от этих симметрично стоящих поездов, в снежной мгле, освещаемые лишь цепочками уходящих во мрак редких фонарей, раскинулись дома неведомого мне города — Достоевский приехал сюда из Семипалатинска, прямо из ссылки, с первой своей женой, Марьей Дмитриевной, чахоточной и истеричной женщиной, и вначале поселился в гостинице, а затем через несколько дней — в трех меблированных комнатках близ почтамта, — было начало осени, но скоро надвинулась настоящая осень с рано наступающими вечерами, с поздними рассветами, с дождями — город утопал в грязи, а он все бегал из одного всдомства в другое, затем на почту, посылал всемиростивейшие просьбы и ходатайства о выдаче разрешения на жительство в Санкт-Петербурге, прилагал врачебные справки, бегал ночью встречать на станцию брата, ехавшего из Петербурга в Москву, потом на обратном пути снова бегал его встречать, кто-то еще проезжал мимо Твери, и он опять бежал ночью на станцию, отстоявшую в трех верстах от почтамта, — уже немолодой, с развевающимися полами вытертого сюртука, с неестественными, словно нафабранными, короткими усиками, еще не сбритыми после унтер-офицерства, в чин которого он был возведен за смиренное поведение, бросающийся из стороны в сторону, то вправо, то влево, к подъезжавшим к Твери из Москвы или Петербурга, кланяющийся, громко говорящий, требующий, хватающий высокопоставленных господ за фалды фрака или мундира, просящий выслушать, умоляющий, хитро рассчитывающий свои ходы, чтобы не продешевить, почти как те жидки, которые впоследствии преследовали его и Анну Григорьевну в Вильне, предлагая свои услуги, слезно просящий в письме к брату купить для Марьи Дмитриевны шляпку, обязательно фиолетовую, потому что нельзя же ходить простоволосой, а здесь

ничего не купишь, — через одиннадцать лет в Дрездене, в очередной мебелированной квартире, расположенной в угловой части дома, потому что угол дома это была вершина треугольника, к которой он всегда стремился, в квартире этой, на письменном столе с традиционной оплывшей свечой и стаканом крепкого чая, в одну из ночей появятся первые записи, сделанные мелким, почти каллиграфическим почерком, и из тумана начнет вырисовываться фигура главной антитезы самому себе, воплощения несбыточной мечты своей, сверхчеловека с демоническими чертами лица, шагающего твердой дьявольской походкой по шатким мосткам, проложенным вдоль одной из утопающих в грязи и ночном мраке улиц губернского города, в котором он поселился после ссылки, а рядом со Ставрогиным, нет, не рядом, а позади и ступая по грязи, потому что рядом и по тем же мосткам он не смел, мелкими шажками засеменит Петр Степанович Верховенский, быстро и гладко говорящий человек, изворотливый, угодливый, если надо — даже убить готовый, с сероватым лицом и даже, может быть, остриженный под машинку, странно напоминающий мне одного моего знакомого — мы учились с ним в одном классе и даже почти дружили домами — отец этого моего одноклассника часто бывал у нас в доме — в основном он приходил к моему дедушке, с которым был почти ровесником, но все равно оставался равнодушен к женщинам и часто менял жен, причем все они были русскими, а сам он, естественно, был евреем, — Петр Верховенский семеня вслед за Ставрогиным, а потом даже, кажется, пытался схватить его за рукав, потому что ему надо было что-то вымолить у Ставрогина, но тот, сверкнув в темноте своим демоническим взглядом, отшвырнул его в сторону, и точно так же отшвырнул он в сторону Петьку-каторжника, поджидавшего его на мосту в темную ненастную ночь, — Ставрогин возвращался тогда из Заречья, из дома Лебядкина, после свидания с хромоножкой, — через несколько дней, а может быть, даже уже и назавтра, среди ночи, во время скандального бала у губернатора, вспыхнуло пожаром это Заречье — не на месте тех ли мерцающих огоньков, которые я видел из окна вагона, располагалось оно, это Заречье?

И прямо с бала и изо всех мест города побежали люди на пожар — побежали толпами, как это всегда бывает при пожарах, —

дом (уж не Лебядкинский ли?) был объят пламенем, соседние дома тоже пылали, выстреливая раскаленными докрасна бревнами, из которых, словно бенгальские огни, рассыпались с сухим треском искры, Ставрогин держал за руку Лизу, которая была бледна и, конечно, дрожала, несмотря на красные отсветы огня и жар, исходивший от пламени, потому что только что, за полчаса до этого, она отдалась Ставрогину и, как все благородные девицы, дрожала после этого и была бледна — ах, как, скрипя зубами, мечтал о таких победах автор "Записок из подполья", и рассказчик из "Униженных и оскорбленных", и герой "Белых ночей", — пожар, эта мучительно-сладостная феерия, был почти контрапунктом романа, — а на подходах к этому контрапункту возвышался Собор, конечно же, на Соборной площади, и жид Лямшин подпускал мышь за стекло к иконе Казанской Божьей матери, вделанной в стену возле главного входа, и на следующий день все благонравные граждане подходили к Собору, стояли подолгу и молча, осуждающе кивая головами, а потом расходились, тоже молча — вот ведь что важно, вот ведь в чем, наверное, сказывалась величайшая терпимость православия и даже, может быть, его мессианское предназначение, а Лямшин, когда собирались "наши", всегда всех развлекал, ловко играл на пианино, изображал гусей, свиней, разных почтенных людей, даже, наверное, самого губернатора осмеливался, и вообще кривлялся и строил из себя шута, зато после пожара, в момент самого главного контрапункта — убийства Шатова — в отдаленной сумрачной части Ставрогинского парка, в ненастный осенний вечер, возле грота на берегу пруда, — дико и истерически завизжал, а потом весь следующий день трясся от страха, и не вылезал из-под одеяла, изображая из себя больного, притворяясь и рассчитывая как бы обмануть, — фигура вчера еще ссыльного, только что вернувшегося из Семипалатинска, с нафабранными усиками и с развевающимися лапами сюртука, металась из стороны в сторону, хватаясь за фалды и петлицы мундиров и фраков со звездами, умоляя, заклиная, требуя, расставляя хитрые ловушки, чтобы получить право жительства в Петербурге и продолжить свою литературную карьеру, — я был возле этого грота, только не в Твери, а в Москве, на территории бывшей Петровско-Разумовской, а ныне Всесоюзной сельскохозяй-

ственной академии имени Тимирязева, на берегу пруда, точнее озера, или даже, скорей, искусственного водоема, — теперь там целая серия таких озер с вышками для прыжков в воду, с лодочными станциями и с лодками, бороздящими в разных направлениях эти озера, с деланно веселыми и хриплыми криками, несущимися с этих лодок, в которых прогуливается, развлекается или просто загорает молодежь Тимирязевского района столицы, — вдруг среди летнего дня неожиданно набежала, наполнила темно-фиолетовая туча, подул ветер, и лодки сразу же стали причаливать к станциям, а загоравшие стали одеваться и торопиться домой, и крыша грота, на которой какие-то орудия подростки играли в мяч, тоже опустела, — грот был с колоннами и с железной решеткой, чтобы нельзя было зайти внутрь, но в глубине его, в темноте, достаточно ясно проглядывались следы человеческого пребывания, — стало почти темно, как вечером, даже послышался шум деревьев, как это было в тот осенний вечер, когда убивали Шатова, а Лямшин бился в истерике, в ужасе хватаясь за одежду окружавших убитого людей и испуская страшные крики, так что его пришлось даже связать и всунуть в рот какой-то кляп — упали первые капли дождя, фиолетовую тучу прорезала молния, громыхнул гром, и я тоже побежал по аллее парка, скорей к выходу, чтобы успеть спрятаться от надвигающейся грозы, — наверное, в каком-то из этих двух или трех зданий с колоннами, задней стороной обращенных в парк, а фасадом выходящих на улицу, жил брат Анны Григорьевны, студент Петровско-Разумовской академии, — она побывала у него здесь в один из тех дней, которые они провели с мужем в Москве, сразу же после свадьбы, остановившись в гостинице Дюссо, по вечерам наезжая к сестре мужа, на Старую Басманную, где Анна Григорьевна сидела на стуле, опустив глаза, и с преувеличенным старанием разглаживала складки на юбке, и мачта, за которую она ухватилась, казалось, выскальзывала из ее рук, — брат этот, по ее словам, имел открытую, располагающую наружность — молодой, румяный, белокурый, веселый — словом, такая русская кровь с молоком, — она засиделась у него дольше положенного времени, потому что в комнату, где он жил, непрерывно входили студенты, новые и новые, интересуюсь женой автора “Преступления и наказания” — по крайней мере, так

она рассказывает, — и половой вносил один самовар за другим, а Федя в это время стоял на перекрестке улиц возле гостиницы Дюссо и в темноте зимнего вечера, который уже наступил, пока она сидела у брата, всматривался в женские фигуры и лица, пронесившиеся на извозчицких пролетках, — так и осталось непонятным, видел он когда-нибудь этот грот или нет? Поезд давно уже шел, оставив где-то позади мерцающие в снежной мгле огни Калинина, наращивая вместе со скоростью бортовую качку — из стороны в сторону, так что книгу приходилось придерживать, чтобы она не сползала, — там, в книге, тоже шел поезд с никогда не виданными мною вагонами — низкими, — вроде тех заграничных, которые ходят до Будапешта или Белграда, с надписью: "Vagon letti", но не цельнометаллическими, а деревянными, с множеством дверей, каждая из которых вела в отдельное купе или отделение, с двумя мягкими, покрытыми плюшем скамьями, расположенными друг против друга, на которых, плавно покачиваясь в такт движения поршня в машине, бегущей со скоростью почтовой тройки, по трое на каждой скамье сидели господа и дамы с круглыми картонными коробками на коленях и с саквояжами в сетках — мужчины в цилиндрах и с тростями, дамы в высоких широкополых шляпах с перьями, с вуалями, закрывающими лица, в дорожных мантильях, — пока Федя на секунду отлучился куда-то, на его место сел какой-то немец, Fritz, — он ехал со своей сестрой, старушкой, и был к ней очень трогателен, но места не хотел уступить, потому что, утверждал он, Федя положил свои вещи не на сиденье, как следовало, чтобы место считалось занятым, а наверх, на сетку, — Федя объявил, что своего места не уступит, но пока что сел возле окна на место старушки, которое почему-то оказалось не занятым (может быть, старушка вышла?), — вызвали кондуктора, немец стал красным, как все немцы, когда они начинают злиться или дуться, и сказал, что это "techt" и что он своего места не уступит, но потом почему-то оказался на другом месте, рядом с Анной Григорьевной, но стал так толкаться, что они снова все как-то пересели так, что в конце концов все остались довольны. Достоевские ехали из Дрездена в Баден, где Федя собирался выиграть на рулетке большую сумму, чтобы расплатиться с долгами, — он уже и до этого уезжал из Дрезде-

на в Homburg, оставив Анну Григорьевну на попечение M-me Zimmetman, и все писал, что задерживается еще на день и просил прислать денег, — а накануне его приезда из Homburg'a она нечаянно (а может быть, не нечаянно) вскрыла адресованное ему письмо от той, с которой несколько лет назад он уже побывал в этих местах, а потом в Италии и в Париже, и тоже играл на рулетке, и именем той женщины была названа главная героиня "Игрока", романа, который он диктовал ей тогда, в первый месяц их знакомства, — она старалась писать как можно быстрее, а потом вечером, у себя дома, засиживаясь до поздней ночи, переписывала все это, чтобы он мог назавтра прочесть — нужно было успеть сделать все до конца месяца, чтобы не попасть в кабалу к Стелловскому, и благодаря ее помощи он сделал все вовремя и избежал этой кабалы, — мадемуазель Полина была, конечно, недостижимой женщиной, в особенности же отличалась своими аристократическими манерами и этим умением не замечать, и какой-то уязвленной, болезненной гордостью, и сильным характером, а у Анны Григорьевны ломались карандаши, и она чувствовала, что краснела, когда он взглядывал на нее, и неловко поправляла оборки на своей почти гимназической юбке, и голос у нее садился, когда она спрашивала его о чем-нибудь, а в кабинет все время заглядывал пасынок, небрежно одетый, с голой грудью, открывающейся из-под несвежей рубашки, какой-то весь засаленный, со своей наглой усмешкой, а Полина в это время витала где-то в страшной недостижимой высоте, и он стоял перед ней на коленях, и готов был целовать следы от ее ботинок, и вот теперь она снова появилась, но уже не в романе, а настоящая, живая, со своим почерком, до этого неизвестным ей, Анне Григорьевне, и она снова почувствовала, как мачта выскальзывает из ее рук, — она шагала взад и вперед по комнате, приложив руки к вискам, словно у нее была мигрень или ей нужно было неотложно решить какую-то задачу — в письме та назвала ее, Анну Григорьевну, Брылкиной, хотя ее фамилия была Сниткина, и в этом близком буквосочетании было что-то особенно обидное и презрительное, как будто на свете существовала одна Полина — одна, главная, а Анна Григорьевна оказалась какой-то помехой на ее пути, да к тому же еще какой-то мелкой, даже не заслуживающей серьезного упо-

минания, что-то вроде грязной лужицы или небольшого болотца, которое можно легко обойти, — она положила письмо на его стол, среди прочих писем, словно оно значило не более, чем другие, и когда она, наконец, встретила его на вокзале, и они пошли домой, и он осторожно вел ее под руку и оглядывал ее внимательным взглядом, словно выискивая в ней какие-либо перемены, которые могли бы произойти с ней за время его отсутствия, — пока они шли вот так, шагая в ногу, и он нес свой дорожный саквояж, и лицо его было покрыто угольной пылью после дороги, и воротничок и манишка тоже, и она думала о том, как они сейчас придут домой и она займется стиркой и глажкой его белья, — пока они вот так шли, она как-то забыла об этом письме, но когда он сел за свой письменный стол и начал разбирать письма, она прижалась спиной к дверному косяку и обхватила его сзади руками, словно удерживаясь, чтобы не свалиться, — она должна была видеть своими глазами, как он прочтет это, — а он развернул это письмо и сразу весь как-то подался вперед — он приехал в Париж и тут же поехал к ней в отель — она вышла к нему в длинном платье, и он упал к ее ногам, потому что он уже по глазам ее увидел, что что-то произошло, и она ему объявила, как это делают только в романах, что она полюбила другого, и этот другой был красавец-испанец, каких рисуют на обложках модных журналов, с иссиня-черными волосами, рассыпающимися по плечам, с синими глазами и с ослепительно белыми зубами, какой-то бесившийся с жиру аристократ, а попросту говоря, обыкновенный жуир, который уже успел бросить ее, но Федя был готов на все и умолил ее поехать вместе с ним — они жили в отелях в соседних комнатах, занимали одну каюту на пароходе, но дали друг другу клятву, что будут только друзьями, — вернее, он сам предложил это, иначе она бы не согласилась ехать с ним, предложил, заранее понимая абсурдность этого и смутно, в глубине души, надеясь и веря во что-то иное, и это иное, ничем, однако, не разрешившееся, проступало в его снах — ему снилось, что они плыли куда-то далеко к синему горизонту, мерно и ритмично вскидывая руки, дыша одним дыханием — его вдох был ее вдохом, но, проснувшись, он видел себя сидящим на берегу, в неудобной позе, а ее вообще не было видно — то ли она скрылась где-то за горизонтом, то ли вообще

не входила в воду — он вбегал к ней в номер, без стука, в надежде на что-то — она встречала его в утреннем пеньюаре и мило-ство, как королева, протягивала ему руку — постель ее была еще не убрана, и, на секунду закрыв глаза, он снова воображал себя плавающим с ней, но безжалостное итальянское солнце прорывалось сквозь неплотно задернутые драпри, и с улицы слышались бойкие голоса торговцев и стук экипажей — утро заканчивалось ничем, а впереди предстоял день, полный того же безжалостного солнца, но еще мучительнее были путешествия в одной каюте, когда ночью, проснувшись после своих сновидений, он различал в предрассветном сумраке контуры ее тела, обрисовывающиеся под легким пуховым одеялом, — однажды, накинув на себя халат, он присел к ней — она приподнялась, вся купаясь в своих волосах, и стала отталкивать его, а он припал к одеялу, покрывавшему ее колени, и стал целовать одеяло, тогда она сказала, что крикнет прислугу, и он как-то сполз, даже скорей осел на ковер, рядом с ее диваном — пароход чуть покачивало, и через иллюминатор доносились крики чаек — на палубе и в ресторане их принимали за путешествующих любовников — он стал целовать край простыни, спускавшийся с постели, — “Вы с ума сошли!”, — крикнула она ему, — она сидела, откинувшись на спинку дивана, с рассыпавшимися волосами, широко раскрытыми от испуга глазами, чем-то напоминая княжну Тараканову, как будто сейчас в каюту должна была хлынуть вода, — уловив страх в ее глазах, он стал целовать ковер, лежавший на полу, — теперь все словно уже катилось под гору и остановиться было невозможно, и от этого падения только дух захватывало — она должна была пройти по нему — он требовал только этого, потому что катиться вниз уж нужно было до конца, — он видел себя со стороны — лежащий на полу каюты в халате, ничком, уже немолодой человек с закипавшей на губах пеной — впрочем, не терял ли он на секунду сознания, потому что откуда могла быть эта пена? — руки его, державшие письмо, немножко дрожали, когда он читал строки, написанные ее рукой, — Анна Григорьевна до боли в пальцах сжимала позади себя дверной косяк, и ей казалось, что комната сейчас пошатнется и она упадет, — поезд бежал по узкой колее, прихотливо изгибающейся между холмами, покрытыми темно-зеленым лесом из буков, вязов и

других деревьев, свойственных среднегерманским широтам и возвышенностям — Шварцвальдам, Тюрингенам или, может быть, каким-нибудь другим горам, — игрушечный поезд из маленьких вагончиков такого же игрушечного паровоза с красными спицами на колесах и с длинной трубой — сейчас такие паровозы изображают на марках специальной серии, посвященной истории паровозостроения, — и в одном из вагонов этой почти детской железной дороги в отделении второго класса ехал уже немолодой человек, одетый в темный костюм берлинского покроя, с простоватым русским лицом, с залысынами и с серовато-русой бородой, рядом с ним молоденькая женщина, чем-то похожая на курсистку, но с тяжелым исподлобья взглядом, в шляпке и в дорожной мантильке, с картонной коробкой на коленях — иногда она засыпала, вернее задремывала, склонив голову на плечо мужа, и тогда он, скосив глаза, внимательно и недоверчиво поглядывал на ее лицо, словно стараясь в нем что-то прочесть, — недавно я видел его на выставке картин одного популярного художника, он был изображен в верхнем левом углу картины, возле которой стояло особенно много народу, так что нижняя часть картины была от меня закрыта, но потом я все-таки протиснулся вперед и увидел то, что ожидал увидеть по рассказам уже видевших эту картину: три жирных борова, розовых и в то же время каких-то плакатных, потому что именно таких рисуют на какой-нибудь картине, посвященной передовым людям свинофермы, а чуть подальше свиней, вернее повыше, лежал какой-то не то обезглавленный, не то окровавленный труп, а еще повыше, так что это уже можно было видеть издалека, не протискиваясь вперед, стоял длинный стол, несущий на себе остатки пиршества, с кубками, наполненными тяжелой красной жидкостью, которая, наверно, должна была обозначать кровь, и еще повыше, но уже левее, то есть уже поближе к автору “Бесов”, перед чернявым мужчиной, представлявшим собой странный гибрид ударника производства и мужика от сохи, на коленях стоял юноша без рубашки, в одних джинсах и босой, и тоже с лицом какого-то не то передовика, не то мужика, а наверху слева за полукруглой чертой, обозначающей, по-видимому, нечто вроде нимба, который рисуют обычно вокруг святых, за этой чертой тесной куч-

кой столпились российские именитости: Ломоносов и Петр I в париках, Салтыков-Щедрин, Лев Толстой, еще кто-то, и среди них — автор “Бесов” — все какие-то бесплотные, с бледными лицами, словно сошедшие со страниц школьных учебников, — картина называлась: “Возвращение блудного сына”, и рядом с ней висела небольшая табличка, на которой во избежание криво-толков крупным шрифтом объяснялось, что хотел выразить художник в своем произведении, — толпа осаждала эту картину, занимавшую полстены, так что скорее это была уже не картина, а целое полотно, почти как “Явление Христа народу”, а позади толпы ходило несколько человек с простыми лицами — из тех, что забивают козла, — один из них даже, кажется, под хмельком, с оттопыренным карманом, в котором у него, наверное, была припрятана пол-литровка, — он заговаривал со всеми, размахивал руками, тыкал пальцем в сторону картины, — глядя на пятки преклонившегося в джинсах, я невольно вспоминал пятки стоявшего на коленях перед отцом рембрандтовского блудного сына — огромные, размытые, являющиеся средоточием картины, — а поезд игрушечной железной дороги, окутанный клубами дыма, который выходил из длинной трубы машины, тем временем продолжал свой извилистый путь между Шварцвальдами и Тюрингенами — его вполне можно было взять в руки со всеми его вагончиками и пассажирами, как это делал Гулливер с лилипутами, и пустить этих человечков ходить по столу, а потом забавляться, слегка дуя на них, как на свечку, которую хочешь погасить, — как бы они заметались от этого урагана — как муравьи, когда в муравейник толкаешь какую-нибудь палку или даже просто спичку, и Анна Григорьевна, просыпаясь и глядя в окно, видела покрытые темно-зеленой растительностью холмы и горы, на вершине или на уступе которых белели, краснели или розовели, в зависимости от цвета камня, времени дня и освещения, бывшие рыцарские замки с зубчатыми башнями — именно такими она себе их и представляла — по картинам, висевшим у них в гостиной, — а из темного леса, покрывавшего склоны гор, выходили сказочные тролли, игравшие на свирелях, и от склона к склону разносились тирольские песни — “А-лю-лю! а-лю-лю!” — трехтактные, с ударением на третьем такте, с переливами и повторами, словно эхо в горах, а у под-

ножия холмов текли мирные немецкие речки, на берегу которых паслись тучные стада коров и овец, проплывали города с красно-кирпичными островерхими домами и готическими башнями — по улицам этих городов, не торопясь, прогуливались горожане, стуча тяжелыми ботинками по клинкеру, — несколько раз Анна Григорьевна и Федя пересаживались с поезда на поезд — то днем, то ночью — Федя провожал Анну Григорьевну в дамскую комнату, потому что ее тошнило и один раз даже вырвало, — Лейпциг, Варсбург, Франкфурт — во Франкфурте они остановились в какой-то гостинице в двух шагах от станции и спросили себе телячьих котлет и бульону, а потом пошли осматривать город, — это оказалась *Zangestrasse*, которая начиналась большой аллеей деревьев с белыми цветами, — какой-то немец на их вопрос объяснил им, что это белая акация, — Анна Григорьевна впервые видела белую акацию в цвету, и она ей очень понравилась, — затем они попали на большую улицу вроде Невского проспекта, с множеством магазинов, в одном они даже купили “Колокол” Герцена, но взяли с них ужасно дорого — 54 крейцера, а потом Федя купил себе галстук, — вначале он выбрал розовый с колечками, но потом переменял мнение и взял синий с точечками, который стоил 3 флорина и 15 крейцеров, зато для Анны Григорьевны подходящего галстучка в этом магазине не оказалось, потому что были или очень узкие, или широкие, или вообще нехорошие, а в другом магазине они смотрели очень миленькие шляпки, потому что Федя все время твердил, что ей необходима новая шляпка, — они вышли на какую-то длинную и жаркую улицу, почти пустынную в этот час, так что город казался мертвым, затем пошли еще какими-то боковыми улицами и оказались на набережной Майна, который был опять-таки удивительно похож на тот Майн, что изображен был на картине в доме Анны Григорьевны, — они вернулись на улицу, похожую на Невский, и снова зашли в какой-то магазин, где Анна Григорьевна купила себе лиловый галстук за 2 флорина 12 крейцеров, а потом примерила одну шляпку, соломенную, с лиловым бархатом, очень миленькую, приглянувшуюся ей раньше, когда они в первый раз проходили по этой улице мимо этого же магазина, но тогда она не осмелилась попросить Федю зайти сюда, потому что он все время куда-то торопился, — оказалось, что

эта шляпка стоила 20 флоринов — просто чудовищная цена сравнительно с Дрезденом — несмотря на это, Федя потребовал, чтобы француженка, показывавшая шляпы, продала им эту шляпу, потому что она, наверное, принимает их за варваров, за диких, на что та предерзко ответила, что они вовсе не дикие, и несколько раз ломаным языком сказала “хорошо”, чем окончательно рассердила Федю и вызвала его резкий ответ, — так и не купив шляпу, они вышли из магазина и снова пошли по улицам, затем зашли в магазин цветов и долго выбирали розы, потому что все они были какие-то нехорошие, — в конце концов, они купили все же две розы по 18 крейцеров за каждую, а потом вишни — по 6 крейцеров за фунт. Через сто с небольшим лет в аэропорт этого же города под охраной восьми штатских с пистолетами в задних карманах, на самолете Аэрофлота, задержавшем свой очередной рейс на два часа из-за затянувшихся телефонных переговоров, которые шли между управлением лефортовской тюрьмы, зданием на Лубянке, аэропортом и дипломатическими представителями в Бонне, так вот, через сто с небольшим лет в аэропорт этого же города прибыл человек среднего роста, в вятской дубленке, с бородой, явно старившей его, и с двумя продольными горестными морщинами, прорезавшими лоб. Держа в руках меховую шапку-ушанку, он спускался по трапу в сопровождении охраны, словно глава государства, а внизу почтительным полукругом столпились фото-, теле-, кино- и просто корреспонденты, и уже щелкали и жужжали камеры, а когда он спустился вниз и ступил на асфальт, вся эта толпа плотно сомкнулась вокруг него, и еще ожесточеннее защелкали и жужжали камеры, а те, кто оказался в задних рядах, стали поднимать свои аппараты и, держа их на вытянутой руке, продолжали ими щелкать и жужжать, — охрана вернулась в самолет, а через с трудом расступившуюся толпу навстречу прибывшему гостю прошел одетый в элегантное светло-серое пальто известный немецкий писатель, и вот уже вдвоем они ехали в длинном черном лимузине, принадлежавшем немецкому писателю, по широкой автостраде, ведущей к городу на Майне, по набережной которого только что бродили другой русский писатель и его жена, выехавшие из Петербурга в середине апреля 1867 года. А через несколько дней важному гостю, которому предстояло го-

стить за границей вечно, доставили на самолете его жену — молодую женщину с двумя детьми — она была намного моложе его и, просыпаясь ночью на вилле немецкого писателя, русский гость в первую минуту по уже установившейся привычке протягивал руку, чтобы обнять жену, но вместо нее странная пустота оказывалась рядом с ним, — она была где-то там, далеко от него, и он видел, как ей выламывали руки, требуя от нее признания, но она скорей готова была пойти на другое, более страшное, и от одной мысли о возможности этого, другого, у него начинало колотиться сердце — перевернув подушку на другую сторону, чтобы охладить свое горящее лицо, и ожесточенно подмяв ее под себя, он снова погружался в сон, но какой-то насильственный, словно под наркозом, и сквозь этот сон проступали ее руки, как она закидывала их вокруг его шеи, и ее улыбка, когда она, откинув голову с тяжелыми волосами, смотрела на него, чуть щуря свои глаза с длинными ресницами — точно так же, много лет назад, засыпая на нарах, он видел лицо другой, и когда однажды ей разрешили приехать к нему, и он сидел с ней в караулке, а рядом нетерпеливо расхаживал охранник, и он держал ее за руки, ему показалось, что это сон, настолько это было неправдоподобно после стольких настоящих снов, и все эти годы, пока он был там, она ходила по инстанциям, и хлопотала, и простаивала в очередях, чтобы попасть на прием, но когда он вернулся, она уже показалась ему не такой, какой он ее видел в своих снах и во время этого единственного свидания — кожа вокруг глаз стала морщинистой, и в волосах появились седые пряди, и когда он целовал ее, то даже закрыв глаза, он видел эти морщины и седые волосы, и на улице взгляд его невольно останавливался на молодых женщинах, и он провожал их этим долгим взглядом, и некоторые из них чуть замедляли шаги и тоже оглядывались, а кроме того она считала, что он теперь должен устроить свою жизнь по-иному, и как раз в это время появилась эта женщина со своим сладковатым прищуром глаз и густыми, рассыпающимися по плечам волосами — вся она была какой-то необыкновенно легкой, невесомой, и эта ее невесомость передалась и его телу — он с какой-то уже, казалось, навсегда утерянной легкостью вскакивал теперь на подножку трамвая или автобуса и, работая, ощущал такую же легкость,

и слова сами приходили собой, точные и разящие, — а потом постаревшая женщина с седыми волосами оказалась в больнице — врачи, смущенно покашливая и отводя взгляд куда-то в сторону, говорили, что это у нее что-то возрастное и преходящее, — она ходила быстрыми шагами по длинному больничному коридору из конца в конец, от одного окна, покрытого деревянной решеткой, к другому, одетая в такой же, как у остальных халат, и ей казалось, что все знают, и видят, и понимают, отчего она попала сюда, — он же продолжал выступать, призывать, обличать, заклинать, письменно и устно, только эти обличения и заклинания стали еще ожесточенней и непримиримей, потому что жертва должна была чем-то окупиться, и он обязан был использовать до конца ту внутреннюю свободу, которую обрел ценой этой жертвы, — ярость его обличений и заклинаний, казалось, призвана была заглушить его боль — проповедуя и обличая, он часто ссыался на русского писателя, который только что со своей женой прогуливался по набережной Майна, — между прочим, одна из мыслей этого русского писателя XIX века заключалась в том, что нельзя строить счастье, даже общечеловеческое счастье, на страдании других, даже на одной жизни, на одной загубленной жизни, особенно детской, — дети с протянутыми руками, дрожащие от сырого петербургского тумана где-нибудь возле Вознесенского моста или на Гороховой, особенно девочки, нищие, избитые или обесчещенные, выплывали в его сознании откуда-то из темноты, словно на эскалаторе, на миг подсвечиваемые театральным прожектором, чтобы снова скрыться во мраке, заменившись новой такой же фигуркой, еще более униженной и гордой, и поэтому еще более бестрепетно или трепетно готовой отдать себя на поругание — то это была Нелли, высвобожденная рассказчиком от бесчестной хозяйки, собиравшейся продать ее какому-то сластолюбцу, и живущая теперь в одной комнате с рассказчиком, в соблазнительной близости с ним; то Неточка, сирота, болезненно влюбленная сначала в своего отчима, затем в Катю, нежащаяся с ней в постели, так что на Катином месте так и представляешь себе не Катю; то девочки из лондонского (на сей раз не петербургского) тумана, протягивающие свои грязненькие ручки к прохожим, чтобы только их взяли; то Матреша из грязного петербургского угла, на-

сильно взятая Ставрогиным и затем повесившаяся и снова привидевшаяся Ставрогину на какой-то фотографии в одном из магазинов Франфурта-на-Майне, по которому только что бродили супруги Достоевские; то девочка в гробу, привидевшаяся Свидригайлову в гостинице в ночь накануне самоубийства, тоже обещенная — уж не Свидригайловым ли, этим полу-Ставрогиным? — все эти девочки-подростки, эти замарашки из грязных углов, вплоть до полоумной Лизаветы Смердящей, с которой грех был, наверное, особенно сладок, ибо чем беспомощнее жертва, тем острее наслаждение, которое получаешь, а грязнотца делает все это только еще более пикантным, — все эти девочки-подростки, эти "нимфетки", позднее более откровенно воспетые Набоковым в его "Лолите", — не для того ли и явились они на свет божий из авторского подполья, чтобы освободить совесть своего создателя от чего-то страшного и тайного? И не оттого ли так силен был пафос его обличения, что призван был заглушить иные чувства? За окном вагона сквозь нерассеявшийся еще утренний туман появились окрестности Бадена, — Анна Григорьевна дремала, склонив голову на плечо мужу, — он, скосив глаза, пристально и недоверчиво всматривался в ее лицо — неужели эта женщина действительно любила его? — когда он увидел ее у себя дома, в первый раз, ему показалось невероятным, что эта молодая девушка, почти еще гимназистка, с нетронутым и свежим лицом, чуть раздумавшимся с улицы, может остаться у него в доме насовсем, стать его женой, и он будет иметь право всегда, в любой момент, подходить к ней и целовать ее в затылок, в то место, где у нее были забраны вверх волосы, — но сама мысль, что она может стать его женой, пришла ему в голову почему-то с самого первого раза, когда она сидела в его кабинете за круглым столиком, прилежно, чуть склонив голову набок, стенографируя то, что он говорил своим глуховатым голосом, — в тот день он держал себя с ней нарочито резко и сухо, чтобы не дать ей почувствовать той власти над ним, которую она уже обрела, — но когда он, диктуя ей, представлял себе, как стоит перед ней на коленях при колеблющемся свете догорающей свечи и целует ее ноги, а она не собирается никуда уходить, потому что она его жена, и вот сейчас он задует свечу, и они пустятся в страшное и сладкое плавание, — голос

его становился хриплым, и он закрывал глаза, чтобы не видеть перед собой этой гимназистки или курсистки, как он нарочно старался о ней думать, чтобы не давать ходу своему воображению, потому что курсистки были то же самое что семинаристы, — неужели она действительно любила его? — иногда ему казалось, что она просто притворяется, — уж не слава ли его привлекла ее? — когда он целился в Дрездене в тире, она стояла рядом и чуть улыбалась — она думала, что он не попадет, и даже сказала ему: “Не попадешь”, — а до него стрелял какой-то немец, все время попадавший в кружочек, что заставляло подниматься из-под пола железного турка, — и она с восхищением смотрела, как стрелял этот немец, и немец тоже бросал на нее многозначительные взгляды, а ему она сказала: “Не попадешь”, — но он попал с первого же раза, ей назло, и железный турок в раскрашенной феске выскочил из-под пола, точно так же, как у того немца, и он, торжествуя повернувшись к ней, громко сказал, почти крикнул: “Что? попал?” — и после каждого выстрела, достигавшего цели, он снова и снова оборачивался к ней и кричал: “Ну, что?”, — так что на них уже даже стали оглядываться, — и выражение ее лица после каждого его удачного выстрела и торжествующего восклицания становилось каким-то все более испуганным и жалким, и это еще более раззадоривало его, и он еще громче выкрикивал свое: “Что?” — вокруг них уже собрались, и лицо ее, когда он к ней поворачивался, чтобы бросить свое торжествующее: “Что?” — стало некрасивым, и даже какая-то желтизна проступила на ее лбу — в эти минуты ему хотелось, чтобы она поскорее состарилась и стала некрасивой, и мужчины, вроде этого немца, перестали бы поглядывать на нее, и она потеряла бы свою власть над ним, — в письмах к своим родным она, наверное, подсмеивалась над ним и даже, может быть, рассказывала что-нибудь гадкое об их плавании, — иногда она притворялась, что не спит, но он знал, что она спала — уже по одному звуку ее голоса — неужели нельзя было посидеть вот эти вечерние полчаса рядом с ним, когда ему так хорошо думалось, посидеть возле его стола? — она обязательно уходила в другую комнату, и он наверняка знал, что она спала, но когда он входил к ней и начинал трясти ее за плечи, чтобы она проснулась, она начинала уверять, что не спала, хотя глаза ее еще слипались, и эта явная ложь больше

всего бесила его — она просто не хотела сидеть с ним, зато как оживленно она беседовала с мадам Zimmermann, этой пустоголовой и болтливой немкой, о разных кружевах и прочих пустяках! — однажды, после того как он ее в очередной раз уличил, что она спала, а она, как всегда, притворялась, что не спит, она все-таки пришла к нему в кабинет и села рядом с его письменным столом — он не смотрел на нее, но чувствовал, что глаза ее слипаются, и она преодолевает себя — ему не нужно было ее одолжений — за окном, цокая по клинкеру подковами, проехал извозчик, где-то там, вдали, за островерхими крышами краснокирпичных домов, садилось солнце — мысль его то и дело сбивалась на что-то постороннее, и ему казалось, что этим посторонним была она, сидевшая с ним не по своей воле, а по принуждению, и тогда, вскочив со стула, он закричал ей, что она сидит с ним из мщения, специально чтобы досадить ему, и чем более он понимал абсурдность этого обвинения, тем запальчивее кричал — пусть все слышат, и в первую очередь эта мадам Zimmermann, с которой она так близка, ее приятельница, ее подруга! — он резко отодвинул стул ногой и стал искать гильзы для набивки табаком, руки его дрожали — закрыв лицо ладонями, Анна Григорьевна выбежала из комнаты — он яростно перебрасывал лежавшие на столе бумаги и книги и выдвигал ящики — гильз не было, хотя он помнил, что положил их на стол, ближе к правому краю, чтобы они всегда были под рукой — может быть, она знала, где гильзы? — он побежал вслед за ней в комнату, понимая, что гильзы всего лишь предлог, — она сидела на краю кровати, все так же, закрыв лицо руками, плечи ее сотрясались, — он встал перед ней на колени и силой отвел ее руки, — по лицу ее текли слезы, — он стал целовать ее руки и колени, — она притянула его голову к себе и неожиданно рассмеялась, — он высвободил голову из ее рук и вопросительно посмотрел ей в глаза, смеющиеся и еще мокрые от слез, — она сказала, что смеется оттого, что не может сонный человек отвечать за свои слова, а он именно этого требует от нее, — и вечером, как всегда, он пришел с ней проститься — и они опять заплыли далеко, так далеко, что берег скрылся из глаз, как будто его и не было, — они плыли, ритмично дыша, то погружаясь в воду, то легко выталкиваясь из нее, чтобы набрать в легкие воздух, — но когда, казалось, пла-

ванию этому не будет конца, и они вот-вот оторвутся от воды и уже не поплывут, а полетят, словно чайки, свободно и легко паря над морем, он вдруг вспомнил ее смеющееся лицо — конечно же, она смеялась над ним, — и какое-то встречное течение стало сбивать его в сторону, и рядом с ее лицом появилось одутловатое лицо плац-майора со свешивающимся в виде шара подбородком, словно шар этот напитался кровью, как комариное брюхо, и рядом с этим надменно ослабившимся лицом появились еще лица — его знакомых и друзей, особенно женщин — той, с которой он находился в одной каюте, не смея прикоснуться к ней, и той, самой первой, которую он когда-то, еще в молодые годы, до своего ареста, увидел в салоне у Вильегорских, где собрались писатели, — она была так хороша собой, так немислимо недосягаема в своем длинном платье, шлейф которого неслышно следовал за ней, словно за королевой, так немислимо недоступна, окруженная тонким запахом духов, что когда она подала ему руку, чуть подзадержав в его руке, — так, что он понял, что она сделала это для того, чтобы он поцеловал эту руку, нежно белешую в прорезе перчатки, — он как-то странно покачнулся, даже чуть не упал и, наверное, потерял на несколько мгновений сознание — уж не первый ли предвестник его болезни случился с ним тогда? — и потом все бывшие там посмеивались над ним, и кто-то даже написал обидное четверостишие по его адресу, — но она оставалась все так же серьезна и внимательна к нему, и только перестала задерживать свою руку в его руке, — но теперь и она смеялась, а те, бывшие тогда в гостиной, сейчас просто гоготали, — эта самодовольная, лоснящаяся от сытости бездарь, перед которой он тогда раскрывал свою душу, — теперь они просто гоготали, и вот он уже барахтался возле самого берега, а Аня плыла где-то далеко, почти у самого горизонта, там, где морская синева сливалась с такой же синевой неба, — все они, вместе с ней, смеялись над ним — оставив ее плывущей где-то за горизонтом, он набросил халат, вышел в другую комнату и, засветив свечу, уселся за свой письменный стол, подперев голову руками, — да, она была естественный враг его, в этом не было сомнения, — и на следующий день, когда она, неосторожно подвинув стол с утренним кофе, больно задела его ножкой этого стола, он сказал ей, что она это сделала нарочно, — и потом в после-

дующие дни снова повторял ей, что она зла и нарочно делает ему неприятности, — лицо ее в эти минуты принимало жалкое и испуганное выражение, как тогда, в тире, и она уже не смела больше смеяться, а только опускала голову все ниже, словно пыталась скрыть от него свой страх — и тогда он становился перед ней на колени, обнимал ее ноги и просил простить его и, главное, не смеяться над ним, — а потом, вскочив, раздосадованный своим унижением, принимался быстро ходить по комнате из угла в угол, опрокидывая ногой стулья, попадавшие на пути, и выкрикивая, что он все-таки достоин уважения, хотя у него нет денег, — она же, еще ниже склонив голову и стиснув ее руками, словно у нее была мигрень, стояла неподвижно, с каменным выражением лица, которое почему-то сменяло собой испуг, — знакомые ему окрестности Бадена с домами и дачами медленно плыли за окном, но он по-прежнему внимательно и напряженно вглядывался в ее лицо. Она спала, положив голову на его плечо, и на мгновение ему показалось, что на ее лбу и щеках снова выступает знакомый оттенок желтизны, который он тогда заметил у нее в тире, — она дышала спокойно и ровно — конечно же, ей нужен был сон, и желтизна ее тоже, наверное, происходила от будущего Миши или будущей Сони — как он раньше этого не понял? — он погладил ее по голове, и она проснулась, глядя на него так, как смотрят только что проснувшиеся дети, — “Подъезжаем”, — сказал он ей, — она увидела за окном вагона высокую гору, покрытую зеленью, сквозь которую проступали белые и красно-кирпичные дома, и среди них готические башни соборов, а над всем этим темно-синее небо с плывущими по нему легкими облаками — именно таким она представляла себе этот город, но надо было готовиться к выходу и запаковывать вещи, — он сидел, чуть откинувшись на спинку дивана, положив руки на колени, как это делал во время фотографирования, и вглядывался в приближавшийся вид — сквозь зелень садов, покрывавших склоны горы, он уже ясно видел белое двухэтажное здание с готической крышей, — окна его даже днем были занавешены тяжелыми бархатными портьерами, — под потолком, в табачном дыму, горели огромные хрустальные люстры, освещая задрапированные зеленой материей залы, углы которых тонули во мраке, потому что из-за табачного дыма свет не достигал этих углов, —

а в середине каждой залы, центральной — большой и двух боковых — поменьше, стояли столы, тоже покрытые зеленым сукном, а вокруг столов — люди с желтыми от бессонницы лицами, — руки их тянулись к столам, где были рассыпаны золотые монеты, отсвечивавшие каким-то мерцающим красноватым цветом, как оклады икон в церкви во время службы, когда зажжены все свечи, и огни их колеблются в облаках ладана, — а в самом центре каждого стола, над россыпью золота, возвышались диски, отливающие зеленовато-красным цветом, и это уже был алтарь или даже царские врата, потому что они были доступны только одному человеку с бесстрастным лицом, который спокойно колдовал над этими таинственными дисками с черными, как агат, и красными, как рубин, цифрами, среди которых метался, решая судьбу, неуловимый серебристый шарик, — и вот уже монеты, рассыпанные по столу, стали сами собой собираться в груды, словно чья-то невидимая рука сортировала и складывала их, — сидящий в поезде человек со сложенными на коленях руками прикрыл веки — сейчас он выигрывал кучи этих золотых монет, — но как только он протягивал руку, чтобы сгрести их себе, чьи-то чужие руки тянулись к ним и захватывали, загребали их — руки эти принадлежали людям с желтыми лицами, столпившимися вокруг стола, — и вдруг он понял, почему эти груды доставались им — у них не было вершины, — он пытался их взять прежде, чем они образуют форму треугольника — надо было дожидаться этой формы, этой вершины, и тогда эти деньги стали бы его собственностью — он открыл глаза — поезд уже замедлял ход — за окном медленно проплыло и остановилось аккуратное красно-кирпичное здание железнодорожной станции — Баден, — Анна Григорьевна, прильнув к окну, всматривалась в здание и фигуры людей, фланирующих по платформе, — это был живой, настоящий Баден, и она уже видела себя гуляющей с мужем по главной баденской улице, о которой так была наслышана — среди разодетых и расфранченных прохожих — сменив свою черную кружевную мантилью на пышное платье с оборками. Потому что должно же было Феде наконец повезти.

*(продолжение следует)*

Абарбарчук тоже был ребенком.

А как же!

Как все, так и он.

Шатун-Абарбарчук.

Это был непоседливый переросток с таким длинным носом и с такой фамилией, которые не снести одному.

Но он нес.

Пусть жизнь твоя течетъ  
Спокойною рекою,  
Усыпанная тысячью цветовъ.  
И пусть всегда, всегда с тобою  
Надежда, Вера и Любовь...

Он бегал босиком по берегу Днестра, долгоносый Абарбарчук, плавал по-собачьи до посинения конечностей, — на той стороне реки виднелось бессарабское село Сороки, до которого хотелось доплыть, — а, проголодавшись, валился навзничь под первую встречную козу, сосал неподатливое вымя, косил шныристым глазом, чтобы не набежала врасплох владелица козы — рукастая хозяйка или властелин козы — рогатый козел.

Звали его по малолетству — Чук.

Остаток фамилии пылился до времени за ненадобностью, пока не выправили ему по зрелости

*Феликс Кандель*

## **СЛОВО ЗА СЛОВО**

Часть 2: Рассказы  
из другого подъезда

© *Феликса Канделя*

паспорт и не припечатали навсегда: первый пункт — Абарбарчук, пятый пункт — ой!

Желаю быть счастливымъ,  
Желаю горести не знать.  
Желаю всеми быть любимымъ,  
Прошу меня не забывать...

Насосавшись козьего молока, Абарбарчук пошел на Москву.

Шел до него Наполеон — той же дорогой, шел после него Гитлер: у Абарбарчука был свой интерес.

Запретное стало доступным: вот он и пошел.

На Москву шли многие.

Шел представитель вымерзающей народности: в Москве потеплее.

Шел парень-вострец: в Москве больше наложено в карманах и больше оттопырено.

Шел Ваня Рыбкин, воронежская порода: учиться на Ломоносова.

Шли Макароны, из глубинок оседлости: все идут, и они пошли.

А Лазуня Розенгласс всегда жил в Москве.

У Лазуни было первогильдейское право, от папы Розенгласса: "Розенглассъ и С-нъ, торговый дом — Никольская 11".

Золотые изделия и часовой магазин.

Телефон — 30-64.

Меня не было еще на свете, когда он родился.

Я долго еще потом не жил.

Но я его хоронил.

Лазуня Розенгласс — мой родственник.

Два слова для тебя —

Люби и не забудь меня!

На память отъ искренне любящей мамы,  
Сокольники, 23-го июня 1902 года...

Голубой альбом с бордовым тиснением.

RELIEF-ALBUM.

"Учебныя пособия у Красных Воротъ".

"Ученика московского коммерческого училища 2-го параллельного класса "А" Лазаря Розенгласса — в Москве"...

Мама Розенгласс ездила на воды в Карлсбад, а оттуда в Кранц, на морские купания.

Так советовали врачи.

Мама Абарбарчук покупала на базаре селедку за пятак, резала ее на шесть кусков, каждый торговала по копейке.

Доход — прикиньте сами — копейка с селедки.

Хвост и голова не в счет.

Хвост и голову подъедали сами.

Но выходил уже в коридор, независимо отражаясь в тяжелых, дедовских, синевой оплывших зеркалах, бледный и вихрастый гимназист, что вскидывал кверху голову да бормотал наизусть, гневно и запальчиво:

— Всякое общество имеет свою цель и избирает средства для достижения оной... Необходимость Россию преобразовать и новые законы издать... Проект первых распоряжений по армии после переворота...

Соломон Розенглас. Беспощадный экспроприатор. Который хотел впасть в бедность из принципа и экспроприировать собственного папу, но он не успел. За него это сделали другие.

Соломона убили на Пресне.

Пулей в грудь, головой с баррикады.

Следа от него не осталось.

Даже в Лазунином альбоме.

Я ни поэт,

Ни русский воинъ.

Залез в альбомъ

И тем доволен.

Сизов Никола...

Папа Розенглас с мамой Розенглас уехали в восемнадцатом году за границу.

С собой у них был только один чемоданчик такого внушительного содержания, которое кормило их до самой смерти.

Умерли они в Палестине, вроде бы — в Петах-Тикве, и могила их затерялась.

А Лазуня Розенглас умер в Москве.

Это точно: я сам его хоронил.

Он не поехал с родителями, Лазуня Розенглас. Он был молод тогда, любознателен и очень хотел поглядеть, чем же закончится этот эксперимент.

Его могила тоже затерялась.

Ха-ха-ха! Два стиха.

Хи-хи-хи! Все стихи.

От Кати Макъ-Гилль, 23 августа 1904 года,  
Сокольники...

Абарбарчук долго шел на Москву, путь был извилистый — из теплушки в тифозный барак, но он все же дошел.

На одном из перегонов страшила-казак пугнул вагонное население — баловства ради — длинной своей саблей, и Абарбарчук тут же замотал голову полотенцем, как от зубной боли, запрятав свой несравненный нос до лучших времен.

Худшие времена — это когда бьют.

Лучшие — это когда не бьют, но могут ударить...

На заставе его выглядывала Фрида.

Она выглядывала его из окошка не первый уже год, потому что в девушках тоже не сладко, а когда ты весь день кроишь лифчики, всякие мысли лезут в голову даже самой порядочной девушке.

Фрида Талалай напоила его водой и повела к папе.

Папа Талалай оторвался с неохотой от Книги и задумался: Абарбарчук — редкая для еврея фамилия.

И тогда он размотал полотенце на голове, обнажил неопровержимое свое доказательство, папа Талалай просиял — и дело было сделано...

В дверь позвонили.

Я открыл.

Солнце безумствовало на улице, солнце вторгалось во все углы, и даже в тени притаилось яростное полуденное солнце Иудейских гор.

Между прохладой комнаты и жаром улицы провисла тонкая взвешенная кисея.

На пороге стоял ребенок. Замечательный мальчик. Сам на улице, носом пробивал кисею.

— Здравствуй, — сказал он и прошел в комнату.

— Здравствуй, — сказал я. — Чего скажешь?

— Я пришел проверить, как вы живете.

Он ходил по комнате, осматривал мебель, стены, книги, весь нехитрый уют временного нашего жилья, а я терпеливо ожидал приговора.

— Ну как? — спросил я.

— Вы живете прекрасно, — строго сказал он и ушел за порог, как окунулся в золото.

— Ты кто? — крикнул я вслед. — Абарбарчук? Розенгласс? Со-рокер-Воронер?

Он даже не обернулся.

Адье, адье — я удаляюсь.

Луань де ву — я буду жить.

Ме сепандантъ — я постараюсь

Жаме, жаме — васъ не забыть.

Дурилинъ Михаилъ...

## 2

Две старушки без зубов говорили про любовь.

Криком.

От глухоты своей.

Соня и Броня.

— Граф Лев Николаевич Толстой первым открыл нам русского крестьянина, за что огромное ему спасибо...

У подъезда стояла скамейка.

Узкая да короткая: только зад прислонить.

Ерзал по скамейке в непрерывном шевелении смятенный и порушенный старичок-заеда, протирал до дыр форменные штаны с кантиком: заплаты не успевали ставить.

Никак не хотел примириться со скамейкой, с пенсией, с остановленной насильно жизнью: самое время уедасть-уличать-выводить на чистую воду всех этих нарушителей-отступников-уклонистов, — да только власти не стало.

Жизнь позади форменная, как штаны с кантиком.

Путь позади укатанный, как катком по врагам.

Цель впереди грандиозная: без него не сладить.

И он все ерзал да ерзал по сиденью, истирая в иступлении копчик: вот прибегут, вот позовут, вот уж он вгрызется клещом — не оторвать. Да подрастали вокруг новые заеды с несточенными еще зубами: их теперь черед.

— Я научу, — бормотал. — Я подскажу. Я человек в запасе, мне есть что сказать...

Подъезд был заколочен.

Две неструганые доски крест-накрест и ощеренные гвозди вовнутрь.

Гвозди проржавели до красной рыжины, в трещинах асфальта проросла трава: жильцов выселили, квартиры заперли, ремонт не делали, — где-то там решали — не могли решить, чем стать этому дому в конце концов: жильем или учреждением.

Пять этажей. Лифт. Чердак. Подвальные помещения. То ли плохо.

Две старушки без зубов сидели на той же скамейке, воробышками на проволоке, и дружно взбалтывали ногами.

Они тоже были детьми — в свой срок, Соня и Броня, хоть и трудно в это поверить.

Больше того: мы все когда-то были детьми — да-да! — но об этом мало кто помнит.

Самое лучшее в нас — это ребенок. Остальное — значительно хуже.

Вышел продышаться перед сном неотразимый лейтенант Потряскин, похрустел амуницией в свое удовольствие, поиграл тугими ногами, укладывая в галифе мужское свое хозяйство, — тоже сел на скамейку.

Лейтенант Потряскин приехал учиться в бронетанковую академию и потому квартировал за занавеской у волоокой Груни, нимфы местного значения.

На своих харчах да на ее покладистости.

Груня не была преисполнена добродетелями, но женскую свою службу несла исправно.

Она всегда говорила то, что думала, а если о чем-то думала, тут же об этом говорила.

— Рай, — сообщала Груня по утрам на коммунальной кухне, — это когда вечно кончаешь.

И бронебойный Потряскин не возражал.

Кстати сказать: заеда тоже был ребенком — в свое время, хоть и отрицал это категорически.

У него не поворачивалась голова, у старичка-заеды, и оттого он глядел только вперед.

Зато у него поворачивались уши.

На звук, на свет и на запах.

Еще он запирался в туалетной кабинке, когда приходилось снимать штаны.

Не иначе, хвост прятал. Или кран. Для слива охлаждающей жидкости.

Еще — цокал по паркету, когда ходил босиком, — может, он и правда не был ребенком?

Выращен в колбе, на питательных бульонах, заслан в массовых количествах из глубин Галактики — для потрясения тутошних основ: многое тогда проясняется, случившееся в нынешнем столетии.

Может, это была чья-то дипломная работа?

Чтобы у себя на планете не пакостить.

Поджог рейхстага — четыре с плюсом.

Коллективизация — три с минусом.

Вторая мировая война — зачет...

Вышел из подъезда Усталло Лев Борисович, сел на ту же скамейку.

Он был великий закройщик, этот Усталло, и работал в "органах", в портняжной ихней мастерской.

Из его мастерской уходили в кабинеты богатыри, герои, писанные красавцы, Микулы Селяниновичи и Ерусланы Эдмундовичи, крутогрудые и широкозадые: один лишь Усталло знал, сколько ватина пошло на это, простроченного холста и конского волоса.

Он видел их в одном белье, эти "органы".

Он видел их сметанными на белую нитку.

Он видел их без рукавов и подкладки.

Все их бородавки, болячки, грыжи и потертости видел он. Все их цыплячи грудки и рахитичные ножки. Все их животики и сутулые спины. Даже органы этих "органов" видел он!

И потому он был засекречен, Усталло Лев Борисович, и на старости лет не смог выехать на свою историческую родину.

— Папа, — кричала Любочка в аэропорту, — мы тебя ждем! Мы тебя ждем, да, папа?! Мама, да?! Мы вас всех ждем! Всех-всех!..

— Димочку подними! — кричал в ответ Усталло Лев Борисович.  
— Димочку!..

И тянулся кверху на цыпочках, чтобы увидеть в последний раз.

— Я, — сказал он вслед самолету, — боюсь не дожить...

Выглянул из подъезда Лазуня Розенглас, человек, который просвечивал, привалился у скамейки на краешке.

К старости накапливаются в теле килограммы омертвевших клеток.

Так и тащишь их на себе — бесполезным грузом.

А ведь он выпрыгивал, бывало, из подъезда, единым скоком в пролетку на дутиках — и с ветерком, по Пречистенке.

Чихнет в надушенный платочек, а лихач-бородач степенно ему, по-старинному:

— Салфет вашей милости!

А Лазуня на это, как и положено:

— Красота вашей чести!

И к "Мартьянычу" — пить, пить, декламировать стихи.

Цветы мои пугливые  
Завянуть какъ-нибудь.  
И люди торопливые,  
Несчастные, счастливые,  
Затопчуть весь нашъ путь...

Скамейка была крохотная, на одного — не больше, но умещались на ней все желающие.

Потому что рассредоточились они во времени.

Потряскина убили в сорок втором году.

Волоокую Груню сослали за сладострастное поведение.

Старичок-заеда ушел в дом для престарелых республиканского значения, сточив зубы до десен.

Две старушки без зубов умерли от недоедания в промежуточные времена.

Они сочувствовали всем обездоленным на свете, Соня и Броня, но им не сочувствовал никто.

Лазуня Розенгласс сник по старости, хотя старым еще не был.

Лазуню схоронил я.

Дольше всех продержался Усталло Лев Борисович.

Ему нужно было разрешение на выезд, чтобы увидеть внука своего Димочку, но он его так и не получил.

Потому что знал чересчур много...

### 3

Под вечер, когда немного заглодало и звезды пали на небо,

пришел к подъезду тяжеленный мужчина, невиданный в здешних краях.

Сел на скамейку, поспел непомерным носом, покосился на заколоченный подъезд — внимательно и осторожно.

Это был Абарбарчук, скорее всего, которому не сиделось на месте, — но в темноте трудно разобрать.

Томления души он утишал шевелениями плоти, а нашевелившись, возвращался домой и затихал до поры.

Шатун-Абарбарчук.

Всю жизнь ему хотелось куда-то сбежать.

Куда-то и от кого-то.

Быть может, это бунтовала не без причины его битая веками, повизгивающая от ужаса семейная память?

Он не был суетливым по природе, Шатун-Абарбарчук, промежутки между шатаниями он заполнял дремотным существованием, вялым исполнением надоедливых обязанностей, пока не нарастало очередное томление, которое следовало утишить.

Но и на новом месте ему снова хотелось сбежать.

Куда-то и от кого-то...

Фрида знала за ним такую беду и утром надевала на него белую рубаху.

В белой — долго не пошатаешься, воротишься под вечер с грязным воротничком.

Он был брезгливым, Шатун-Абарбарчук, и Фрида этим пользовалась.

Еще он был разборчивым в еде, и Фрида кормила его фаршированной рыбой — по пять раз на неделе.

Рыба полезна.

В рыбе фосфор.

— От твоего фосфора, — говорил Абарбарчук, — я уже свечусь по ночам.

Но ел...

Были у него когда-то темные рубахи, но Фрида порвала их на тряпки.

Так оно надежнее.

Одну рубаху он припрятал на всякий случай, и утром — Фрида не доглядела — прихватил в сумке с собой.

Дом глядел на него через пылью заросшие окна.

Тени от фонаря — ликами за стеклом — потихоньку сдувались ветром, бледные, смытые временем.

Дом не подавал признаков теперешней жизни, дом выглядел наружу ликами прошлого, и он просидел до темна, спокойно и расслабленно.

— Отдайте мне этот дом, — попросил представитель вымершей народности. — Я в нем музей сделаю.

— Музей — кому? — заершились законополагающие.

— Тем, кто вымер.

— Да ты что! — ответили ему. — Нету у нас вымерших. У нас никто еще не вымирал без согласования. Все у нас — здоровые, вечно живые.

— Но вот же он я, единственный который на свете! Вот же язык мой — поговорить не с кем!

— Ты его сам выдумал, этот язык.

И пощурились на него, стали нехорошо оглядывать.

Он — туда, он — сюда: допустили его в самый закрытый архив, к самой заветной папке, а там — пусто. Нету ничего про этот народ, — может, его и вовсе не было?

Так кому же тогда этот музей?..

Он встал, наконец, со скамейки, шагнул к подъезду, рывком отпахнул дверь вместе с доской.

Оттуда пахло пылью, трухой, затхлостью, слабыми запахами давно пригоревшей пищи.

Подползла на ветерке старая, ожелтевшая газета — пугливым, облезлым псом — и распласталась на затертом кафеле, у ног властелина.

Тогда он пролез внутрь, оберегаясь от ощеренных гвоздей, и дверь притворил за собой.

Просторный бельэтаж. Широченные площадки. Переплетчатые окна во двор. До высоченного потолка двери квартир. Лифт в укромной пазушке. Узорные решетки закругленных перил.

Пузом по перилам просквозил до низу Соломон Розенглас, несостоявшийся экспроприатор, и по дуге вылетел на улицу.

— Антипка беспятый... — шелохнулась на этаже вечная вдова Маня. — Вот уж запечатают тебя в тюрьму...

Маня числилась вдовой еще с наполеоновского нашествия, и лет ей было за сто, а то и под все двести.

Барабан зорю пробьет,  
Унтер двери открывает,  
Писарь с трубкою идет...

Муж у Мани был унтером.

Мане никто не верил в такое ее невозможное вдовство, хоть и была у нее справка — на гербовой бумаге и с двуглавым орлом.

На всякий случай ей не платили пенсию...

Он поднимался по лестнице темного дома и дергал полегоньку двери квартир.

Квартиры были заперты. Звонки не работали. Почтовые ящики пустовали.

На верхней площадке он встал, продышался, послушал тишину.

Там распахнулось окно во всю стену, от пола и до потолка.

Там темнела на побелке железная дверь в неизведанные помещения — не разберешь в темноте, и он ощутил малое беспокойство, предвестник нового томления.

Вынул из сумки тряпицу. Расстелил. Бросил на нее подушечку. Передел белую рубашу на темную. Вынул плечики. Повесил на них пиджак с брюками. Закрепил на дверь. Натянул на себя тренировочные штаны и лег на пол.

Лицом к потолку. Руки за голову.

Было ему жестко. Но было ему покойно.

Кто знает, на какой срок?..

Дом отплывал в сон, как корабль отплывает в изгнание.

Кто-то плакал на этажах.

Кто-то тяжело вздыхал.

Кого-то укачивали с приговорами.

Где-то тихонько играло радио и тыкали пальцем в фортепьяно.

Кошка мылась, мяучила, гостей намывала.

Бечная вдова Мэня выговаривала на ночь Соломону Розенглассу.

Мэня не любила Соломона, хоть и нянькала Розенглассов кучу неслучайных лет.

— В первых Саша, вторых Маша, в третьих сын Ванюшечка...

А были они — Лазуня, Соломон да Циля.

Соломон — досадник.

Циля — легкосердная.

Лазуня — горюнок ты мой.

Она всех пережила.

Вечная вдова Маня, женщина честная, что блюла себя второе уже столетие подряд и не уважала потому Груню-волокушу.

— Для начала выпьем, — начинал Потряскин из-за занавески, скидывая на ночь сапоги.

— Не надо пить, — наивно, под девочку, пела Груня. — Вы же знаете, что потом будет.

Груня уважала Потряскина за его бронетанковость и потому обращалась к нему на “вы”.

— Выпьем, закусим, — настаивал Потряскин. — Патефончик слушаем.

— Не надо патефончика, — слабо возражала Груня. — Вы же знаете, к чему это приведет.

— Что такое?! — сердился Потряскин и вылезал из-за занавески. — Пить не надо, патефончика не надо... Что же тогда надо?

— Ничего не надо, — пела Груня, пододвигаясь. — Вы же знаете, чем это кончится.

— А чем это кончится? — спрашивал Потряскин, вылезая из га-лифе.

Груня клохтала в кулачок откормленной курицей, жадно облизывала губы шустрым язычком:

— Сами знаете.

Тем оно и кончалось...

Старичок-заеда лежал на той же кровати, только на десять лет позднее, и подпрыгивал от нетерпения, дожидаясь нового рассвета.

Эта комната досталась ему по ордеру.

Эта кровать — бесплатно.

Он не спал никогда, этот старичок, ни днем, ни ночью, — может, в него не заложили соответствующую программу? — а вместо этого томился в постели, головой выерзывал наволочку: скорей бы уж утро, да скорей на работу, чтобы не простаивали без дела директивные его челюсти.

Его только что повысили за рвение, этого заеду, и он обезумел от новой должности...

Усталло Лев Борисович тоже не спал.

Он глядел в беленый потолок и прикидывал варианты.

В Москву собирались приехать американские конгрессмены, и он очень на них рассчитывал.

Начинались переговоры по разоружению, и на них он тоже рассчитывал.

Еще он рассчитывал на плохой урожай тут, на выборы президента там, на волнения в Африке, на перевороты в Азии, на примерное свое поведение, на расширяющиеся культурные обмены, и на дочку свою Любочку, которая напишет из Израиля куда надо, и его тут же отпустят к внуку Димочке.

— Ляжь ко мне на миг, — просил Димочка когда-то. — Ляжь, ну что тебе?

Усталло Лев Борисович ложился к нему под бочок, и мальчик начинал шептать на ухо, обдавая теплым молочным дыханием:

— Миг еще не прошел... Миг еще не прошел... Миг будет сто лет!..

Шмыгал по подъезду довоенный парень-вострец, приглядывался к их замкам, которые предстояло открыть.

Он брал уже этот дом — и не один раз.

Обчистил Розенгласса, обобрал Груню, проредил Усталло Льва Борисовича, а к Соне и Броне не пошел, хоть и запирались они — копейкой открыть можно.

Соня и Броня были ему профессионально не интересны.

— Я человек легкий, — хвастался. — Я вам в любую ключевинку прольюсь...

Он не знал еще, парень-вострец, что это была его последняя ноченька, последнее развеселое гужеванье, и что немцы уже загоняли снаряды в стволы и подвешивали бомбы под крыльями.

Начнется поутру жизнь войная, без конца-жалости, оттяпают ему ногу в медсанбате, — и будет потом костылик, да протянутая кепка, да пропитой до хрипоты тенорок с переплясом:

Что ж ты, мила, не встречаешь?

Али дома тебя нет?..

Шатун-Абарбарчук утихал на затертом полу.

Оплывал мыслями, памятью, чувствами.

Заваливался в немоту, в слепоту, в полное утишение плоти.

И опустились к нему папа с мамой — на лестничную площадку, как сына навели в детском саду: с едой и с подарками.

Он даже запах ощутил знакомый, из маминого кулечка: это

был кугель, с гусиными шкварками кугель, который подавали на стол в субботу.

Запах уносило кверху, без возврата, и он тоже вознесся следом, чтобы унюхать, тело свое оставив под залог...

К маме Абарбарчук пришли сваты, дали ей запутанный моток шерстяных ниток — для проверки характера.

Мама Абарбарчук тогда еще не была мамой и очень потому постаралась. Она просидела, не разгибаясь, полдня и распутала весь моток, не порвала ни разу.

— Хороший характер, — сказали сваты. — Это нам годится.

И повели ее под хупу.

Под хупой ее уже ожидал папа Абарбарчук.

Папа был молод тогда, очень молод, он не знал еще, чего делать со своей женой, и к нему был приставлен особый старичок, чтобы обучить этому несложному искусству.

Но зато у него был нос.

Самый большой нос во всем местечке.

Этот нос перешел потом к его сыну, а от сына — к внуку.

Не иначе, какой-то шаловливый ген прыгал у них в семье с носа на нос, никак не желал отвязаться.

Ген-антисемит.

Папа Абарбарчук оказался непоседой.

Папа пешком ходил в Могилев-Подольск, Бельцы, Атаки и Флорешти, даже если доходу было на пятак.

У него никогда не болели зубы. До самой смерти.

Он даже не верил, что они могут заболеть.

— Это же кость, — говорил папа. — Кость не болит.

Перед японской войной папа уехал в Америку.

Он там работал, он много работал и накопил деньги на шифс-карту — жене и сыну.

Вернулся — в костюме, в котелке, с чемоданом и тросточкой: забрать своих.

— Ах! — сказала мама Абарбарчук. — Это же английский лорд, люди! Где ты достал все это, Мойшеле?

— Где достал? — сказал папа. — Я работал, Рейзеле. Я много работал. Я работал семь дней в неделю и все это заработал.

— Что?! — сказала мама. — Чтобы я поехала в эту гойскую Америку, где работают по субботам? Так нет же!

И они остались в местечке.

А в сорок первом году пришли немцы, столкнули в ров стариков со старухами и сверху присыпали песком.

И папу с мамой столкнули тоже...

#### 4

Вечная вдова Маня рано ложилась спать, посмотревшись по телевизору всякой всякоты.

Особенно она любила бокс.

Бои тяжелого веса.

Даже подскакивала на стуле при хорошем ударе.

— Старушка ты кровожадная, — выговаривал ей Лазуня. — Постыдилась бы напоследок.

— Посмейся, посмейся, — бурчала она с лежанки. — Вот ужо скажу зятю: он те наволдыряет...

Зятя у Мани давно не было.

Зятя убили в севастопольскую еще кампанию, ядром по башке.

Но Маня оговаривалась постоянно.

Они жили вдвоем, в одной комнате, после уплотнения: Лазуня-холостяк да Маня-вдова.

Вся комната была заставлена горшками, в которых рос Ванька мокрый, любимый ее цветок.

Надумал жениться:

— Обойдешься.

Уперся — она в паралич слегла.

Передумал — спрыгнула с лежанки, будто новенькая, наварила ему пшенной каши.

А не балуй в другой раз...

Кроме бокса она любила еще и пожарных.

Аж холодела при виде!

Укатывалась на дальнюю улицу, звонила из автомата, содрогалась от нетерпения на тонких ножках:

— Приезжайте! Полымем полыхает.

А там уж глядела во все глаза, как катят они с шумом и грохотом, красные, сверкающие, брезентово-несминаемые, и в дуделку на ходу дудят...

Вот он подумал однажды:

Расстреливают, дают последнее слово, самое последнее! — а сказать-то и нечего.

Нечего выкрикнуть горлом, выхаркнуть кровью, легкие вывернуть наизнанку, чтобы вздрогнули на прощание, обернулись, запомнили хоть на миг.

День целый ходил, думал, томился: пошлость одна на уме.

И вечером, когда вдова Маня утихла на лежанке, он вынул из сундука заветную тетрадку — RELIEF-ALBUM, уложил ее на клеенку, и стал записывать потихонечку, под Манино сопение, макая перо в чернильницу, посыпая написанное мелким просеянным песочком.

Косное поначалу, туманное, мыслью просвеченное под конец.

Он писал:

“Всякая тирания, которой предстоит борьба с инакомыслием, должна смириться с ожидающей ее в будущем эволюцией противника. Сначала против нее выступят мамонты, прекраснодушные травоядные идеалисты, с которыми она справится быстро и без особых хлопот. Мамонты самой эволюцией обречены на нежизненность, и их уничтожат легко и просто. Им, мамонтам, ничего не надо, кроме — разве что — справедливости, и за неимением таковой в природе они могут вымереть и сами, стоит только подождать. Но на смену мамонтам придут гиены и шакалы, племя более мелкое, но зато и более многочисленное. Этим уже одной справедливостью не утолишь. Этим злость застилает глаза при виде неравномерного распределения продукта. Этим надо бы подкормить, да погладить по шерстке, но и их уничтожит тирания под видом инакомыслия. Ошибкой было убивать мамонтов, которым надо поровну распределить траву. Ошибкой — убивать шакалов, которым нужно мясо поровну с их силой и алчностью. Потому что на смену этим придут новые противники — крысы. Бесчисленное количество врагов, которые будут рваться к горлу, только к горлу, слепые и беспощадные в погоне за кровью, которых ничем уже не утолишь. Они-то и поборют вашу тиранию, подгрызя сначала поджилки, чтобы упал колосс и открыл доступ к беззащитному горлу. Они-то и победят, и установят новую тиранию — безжалостного большинства, что будет пожирать самое себя, оказавшееся в меньшинстве... Нет, всякая тирания, — если она, конечно, умная тирания, — обязана беречь своих травоядных врагов-мамонтов, бороться с ними вяло и беско-

нечно, чтобы — не дай Бог! — не пришли на смену мамонтам другие противники. Но где вы встречались с умной тиранией?..”

— Женись, женись — подпугивала Маня с лежанки. — Вот ужо скажу внуку — он те чих-пых устроит...

Внука у Мани тоже не было.

Внука распластали в турецкую еще войну, саблей наперек.

Турок душит, сердца рушит,

Пламенем, огнем и копьем...

Но Маня об этом позабыла.

По воскресеньям, когда делать было нечего, забредал поскучать Усталло Лев Борисович и рассказывал Лазуне, грустно и застенчиво:

— Дети растут. Дети вырастают. И уходят уже в собственный мир, куда нет тебе доступа. Это была ошибка: завести одного ребенка. Детей нужно много. Очень много. Чтобы всегда бегал маленький в доме... Что вы на это скажете?

— Я скажу на это, — говорила Маня от телевизора и губы поджимала на незваного гостя. — Я тебе так скажу. Заимели власть, ворвались — ног не вытерли, потеснили, запоганили, загваздали пол. С того и пошло.

Усталло Лев Борисович уходил к себе, сутулясь от огорчения, и Лазуня ей выговаривал:

— Злопамятная ты старушка! Зачем человека обидела?..

К тому времени они уже закрыли границы.

Ввели прописку.

Подключили мощные свои заглушки.

Мир суживался стремительно, на глазах, просторный когда-то мир, и врачи на приемах подбавляли свое.

— Вы не бегайте, — говорил первый врач. — Зачем вам бегать? Не надо. Ходите себе потихоньку.

— Вы не загорайте, — говорил другой. — Категорически. Вам это не нужно. Вам — вредно.

— Коньяк, — говорил третий, — ни-ни. Водку — тоже. Пиво тяжелит. Кофе волнует. Молоко пучит. Мясо возбуждает...

И мир сузился до размеров комнаты.

Но Лазуня сопротивлялся. Лазуня упрямо бежал по универмагу, пихаясь локтями, обгоняемый и обгоняющий, а за дальним прилавком стояла старая продавщица и глядела на него с жалостью.

— Не завезли, — говорила продавщица, и Лазуня покорно брел назад, чтобы назавтра повторить все сначала.

Он вставал до рассвета у дверей магазина, жался в густой толпе, нервно перебирал ногами, и врвался потом вместе со всеми — по этажам, по лестницам, к нужному ему прилавку.

— Не завезли, — говорила жалостливая продавщица, и сердце снова выпрыгивало из горла.

Были у него уже знакомые в толпе.

Были соперники на дистанции.

Были и редкие счастливы, что добежали первыми и захватывали единственный экземпляр.

Через два месяца попыток, когда окрепли ноги и установилось дыхание, Лазуня добежал третьим, а завезли их всего — четыре.

Он купил радиоприемник "РИГА-10" и под завистливые взгляды обделенных уволок домой.

Теперь он сидел возле него ночами, прорывался через заглушки в просторный и запретный мир, переживал, мучался и пугался.

Однажды через вой и скрежет пробился вражий голосок. Он издевался над Сталиным, этот поганец, так изощренно и так изобретательно, что Лазуня дрогнул, пошатнул тумбочку, и вождь радиоприемник "РИГА-10" вдребезги разбился об пол.

Надо бы снова бежать по магазину, да денег не было больше и сил не стало, — и мир сузился окончательно до размеров комнаты.

Он писал:

"Монополии на человека нету ни у кого, хотя многим очень бы хотелось ее занять. Всякая монополия, если она состоится, будет устанавливать свой коридор, по своему масштабу и разумению, где вольно станут резвиться обделенные, где приспособятся более терпеливые к постоянным стуканиям о стены, и где невмоготу будет натурам неограниченно богатым. Всякая монополия должна быть готова к тому, что ее вечно будут нарушать, подтачивать и подкапывать изнутри, чтобы вырваться на просторы человеческого разума и лишиться ее монопольности. Монополия на спиртные напитки возможна. Все равно будут курить самогон. Монополия на человека чудовищна. Она отрицает самого человека..."

— Поговори у меня, — грозились Маня с лежанки. — Скажу правнуку — он те уже отвалтузит...

Правнука у Мани тоже не было.

Правнук сгинул еще в Порт-Артуре, его косоглазый на штык насадил.

Этих косоглазых, как мурашей на кочке, — их разве передавишь?  
Но Маня этого не помнила.

По вечерам, когда дальнобойный Потряскин гужевался с Груней, и дом подрагивал от танковых усилий, вдова Маня выходила в коридор и скреблась в ихнюю дверь.

— Груня, — говорила она льстивым голоском. — За мной должок, Груня. Я те хлеба принесла на возврат да пяток яиц.

Но Груни за дверью не было.

Груня летала в этот момент в безвоздушных пространствах, где не нужны уже ни хлеб, ни яйца, ни прочие земные продукты.

— Бабка! — ревел из-за двери великолепный Потряскин. — Броня крепка, и танки наши быстры, бабка! И наши люди мужеством полны!..

И Маня уходила довольная.

— Зловредненькая ты старушонка, — отчитывал ее Лазуня. — Все-то тебе неможется...

И снова садился за клеенчатый стол: листать свой старинный альбом, читать прежние записи, вспоминать, думать...

Все альбомы и стихи

Суть ничто как пустяки.

И советую тебе

Не держать ихъ въ голове...

В каждом учреждении свой беспорядок.

У одних — строгая тишина в комнате, чистота, рабочая обстановка, а в курилку не войдешь — полно.

У других — огромный коридор, и по нему с деловым видом ходят сотрудники. Весь день. Сомкнутыми рядами.

У третьих беспорядок — веселый, суматошный. Нужен документ — все бегут за документом. Нужен отчет — все за отчетом. Кучей. Наперегонки. Шумно и радостно.

Ты начальник — я дурак. Я начальник — ты дурак. Но если ты начальник, а я не дурак, — что тогда?

Лазуня Розенглас поменял много работ, нигде надолго не задерживаясь.

Говорили, что он ленив, вял и неинициативен.

Но он не был ленивым.

Всякий раз перед новым делом он продумывал смысл будущей работы, и не было желания начинать ее, не было сил — закончить.

Он писал:

“Так где же нам взять свежие мысли, великие идеи, грандиозные, вздох, свершения? Все, что мы обдумываем, давно уже думано-передумано, пока мы давились под плитой. Все, что мы решаем, давно уже решено и отброшено за ненужностью. Все, что мы предвосхищаем, давно уже позабыто в пыльных архивах. Что же остается взамен? Дутость имен. Несуразица жизни. Мерзость ленивого запустения....”

Соня и Броня, синие от недоедания, заглядывали, бывало, на огонек и криком спрашивали с порога:

— Товарищ Розенглас, разъясните нам, пожалуйста, текущий момент.

Соня и Броня с радостью интересовались всем на свете, но ими не интересовался никто.

— Это мы сейчас, — ерничала с лежанки вечная вдова Маня. — Это мы в момент!

И тогда они спускались в подвал, в домоуправление, садились по глухоте своей в первый ряд и проходили заново курс политграмоты — для дворников, лифтерш и водопроводчиков.

Соня и Броня слыли у них отличницами.

— Были люди, — говорила Маня на это, — а теперь вылюдилась.

И Лазуня прятал улыбку.

— Разбессовестная ты моя старушка, — журил он ласково. — Все-то она понимает...

— Нешто, нешто, — бурчала без злобы. — Вот уж позову праправнука — он те на раз кончит...

Праправнука у Мани давно не было.

Праправнук задохся еще в империалистическую от вредных немецких газов.

И прапраправнука тоже уже не было.

Его в гражданскую расстреляли за побег.

То ли от белых к зеленым, то ли от красных к белым.

Маня не разобрала...

Возле родильного дома его остановила женщина.

В черной шапочке. В строгом, прямого покроя, пальто. Строгая, как монашка.

— Не откажите, — сказала. — Там у меня сестра. Ее надо встретить.

И они вошли внутрь.

— А почему я? — спросил Лазуня.

— Вы мне понравились, — ответила без улыбки.

В зале было полно. В зале было шумно и суетливо. Совали в окошко свертки, банки с компотом, яблоки, писали по углам записочки, дежурная у телефона скороговоркой называла цифры: три триста, три пятьсот, сорок семь, сорок девять, пятьдесят два... Лазуня с любопытством вертел головой. Первый раз в таком месте. Раньше не приходилось.

— А где у ней муж? — всполошился. — Где муж?! Это его дело.

— Нету мужа, — ответила женщина.

Тут приоткрылась боковая дверь, тетка в балахоне стыдливо сунулась наружу и закричала громким шепотом — в угол, дядечке с кошелкой.

— Ты что, офонарел?.. Все принес, а где платье? Платье где? Как я домой пойду?..

— Там оно... — растерялся дядечка. — Я клал.

— Клал, клал... Кабы клал, так было.

И голова исчезла.

Дядечка затоптался, заелозил подошвами, искательно ловил сочувственные взгляды.

— Разве упомнишь? Тут тебе — штаны да рубаха, а у них — и того, и этого... Одной сбри — мешок.

— Ничего, — беспечно сказали из толпы. — Сегодня тепло. Доедет и без платья.

Но уже выходила нянечка, выносила аккуратный сверток в голубых лентах, а следом торжественно шла тетка, старательно придерживала полы пальто. Дядечка чинно поцеловал супругу, принял ребенка, все расступились, и медленно, плечом к плечу, они пошли к двери.

Лазуня глядел во все глаза.

Даже горло перехватило.

Даже в глазу защипало.

— Милая, — сказал. — Я уже старый для этого.

— Вы не старый, — ответила. — Вы солидный.

Но опять выходила нянечка со свертком, он напряженно и неук-

люже принял ребенка, поразился его легкости, и тут из-за двери шагнула девушка, встревоженно взглянула на него. Глаза — светлые, чистые, прозрачные, зрачки — донные камушки, омытые быстрой водой. Взглянула — руки потянула к ребенку, но женщина замахала ей торопливо, и они пошли к выходу через расступившуюся толпу. Впереди Лазуня, за ним — женщины.

— Строгие... — заметили в спину. — Даже не поцеловались.

Вышли на улицу, сели в такси, приняли у него ребенка.

— Спасибо, — холодно, как чужому, сказала женщина, а сестра ее промолчала, только взглянула на миг светло и прозрачно.

И они уехали.

— Чего же тебя-то не взяли? — спросили от дверей. — Или не нужен больше?...

И тогда он проделал такой эксперимент.

Целую неделю он не являлся на работу, не звонил, не отпрашивался, не объяснял причин, и никто его там не хватился. Не спросили. Не поинтересовались. Даже зарплату выдали сполна.

— Так где же тогда я? — сказал сам себе. — И что я? И зачем?..

Лазуня Розенгласс — человек, который просвечивал.

Это как промытое стекло.

Вот оно есть, и вот его нет: на просвет видно.

В тот вечер он записал:

“Стоял в зале бильярд. Новенький, неразбитый еще бильярд — мечта игрока. И костяные шары, и наделенные кии, и лузы, покойные, удобные гамаки-лузы, в которых так приятно качаться, расслабиться и отдохнуть после беготни по зеленому, необтертому еще сукну. И одного загнали сразу, с первого удара, и другого сразу, а третий свалился сам, с перепугу, и четвертый почти сам: так, подтолкнули для видимости, а один — герой, выскочка, позер, портупая крест-накрест, а один — шустряк, вертун, неумемный дурак — ошалело метался от борта к борту под хлесткие удары кия, сталкивался, отлетал, набивал себе шишки, не лез в лузы, — не лез, и все тут! — взбесившийся парадокс, обалдевая игра случая, а зрители уже обступили стол, зрители аплодировали его упрямству, зрители подтрунивали над остервеневшим игроком-профессионалом, будто и они герои, будто и мы герои, позабывшие на миг собственные гамаки-лузы, в которых так приятно качаться...; но вот уже тщательно намелили кий, прицепились для последнего удара, и вот он

с треском, будто взрываясь, залетел в лузу, обалдело качаясь в гамке, надеясь выпрыгнуть еще обратно, а игра-то уже закончена, игра закончена, граждане, игра — она и должна когда-то закончиться. На то она и игра. Назад не выпрыгивают... И зрители отвернулись разочарованные: слабак! И зрители ушли раздосадованные: слюняй! Зрители отправились к другому столу, к новому игроку, в вечной надежде на удалыца-храбреца, выскочку, героя, позера — портупея крест-накрест, что продержится до конца, до эшафота, до венца мученика, которому погибнуть — одно наслаждение, для которого петля — галстук, пуля — муха, тюрьма — дом родной. Который удовлетворит нашу вечную тоску по силе и гордости. Которому мы не простим даже секундных колебаний. Ах, он не хочет идти на казнь?! Ах, она отказывается от каторги?! Ах, они тоже цепляются за жизнь?! Не о таких героях мы мечтали!.. Ведь мы слабые. Мы очень слабые. И мы никому не простим наши слабости...”

Вечная вдова Маня схоронила Лазуню Розенгласса на еврейском кладбище, возле сестры его Цици, проела напоследок остатки хрустала с фарфором бывшего торгового дома “Розенглассъ и С-нь” и затаилась на лежанке.

Могила у Лазуни была комолая, без креста, и Мане это не нравилось.

— Вот ужо скажу... — грозилась. — Он те отлупцует...

А сказать — некому.

Ни Цици, ни Соломона, ни Лазуни-горюнка.

Между многими друзьями  
Можешь ты меня забыть,  
Но межъ этими строками  
Будешь помнить и любить...

Каждый год, ко дню Йом-Кипурим, покупает Лазунин племянник особые стаканчики с воском и фитильком: тут, в Иерусалиме.

В память отца зажигает стаканчик.

В память матери Цици.

В память дяди своего, Лазаря, что бывал добр к нему, щедр и ласков.

Теплятся огоньки в воске, колышатся на безветрии, опускаются неумолимо в глубины стаканчиков.

Одни потухают через положенные им сутки, другие тянутся еще пару часов, и остается один огонек, невозможный, необъяснимый,

что теплится на дне стаканчика, не желает угасать, — не желает, и все тут! — будто душа поминаемого хочет побыть с тобою еще, еще немного, еще и еще... Как борется с темнотой и забвением.

А через год — опять Судный день, новые стаканчики с воском, и новая душа, что никак не желает угасать...

## 5

По ночам кто-то вздыхает в туалете...

По ночам кто-то вздыхает в туалете: тяжело, устало, можно сказать — обреченно. Вздыхает так, будто жизнь уже на исходе, а результатов все еще не видно. Или того хуже: результаты налицо, вот они — результаты, но далеко не те, которых ожидали. Уж лучше бы их вовсе не было — результатов.

По ночам кто-то вздыхает в туалете. Давно вздыхает, не первый уже год. Приходил порой водопроводчик, чего-то мараковал на стремянке, подстукивал, подкручивал, подвязывал тесемочкой, привычно оттопыривал карман для денежных подношений, но и после этого ничего не менялось, ровным счетом — ничего, и только бачок обиженно плевался стариковской слюной, словно не мог простить, что лазали ему в душу корявыми плоскогубцами. Старый бачок под потолком, с чугунными кронштейнами, с лохматой бечевкой взамен оторванной цепочки, с вывихнутыми суставами подтекающих труб... В последний раз водопроводчик застеснялся вдруг, не оттопырил карман, обреченно махнул рукой, и все поняли — безнадежно. Раз уж не взял денег, значит на самом деле безнадежно. И тоже махнули рукой. И отступили. И дали ему вздыхать в свое удовольствие, — разве вздох — это не удовольствие? — и извергаться по много раз за ночь, только теперь в его вздохе проступили нотки, — не превосходства, нет, — нотки мудрой, безрадостной усмешки. Словно выпарились остатки воды, и колышется на доньшке едкая, маслянистая, дымящаяся на воздухе, горло обжигающая кислота — превосходство мудрого бессилия. Все утекает, утекает, утекает, и даже бог-водопроводчик ничем не может помочь...

Тут он проснулся.

Поежился знобко.

Покряхтел на жестком полу.

Пожмурился, удерживая воспоминания.

Папа и мама Абарбарчук уплывали в ночи, за железную дверь: без надежды-возврата, и это его томило.

Не было уже возможности усидеть на месте, тем более — улечься.

Гнала его вперед дурная, безостановочная сила, как подпирал мочевого пузырь, требуя незамедлительных действий.

Но первый шаг был труден. Как всегда, труден был первый шаг...

На площадке, у его изголовья, примостились на подоконнике двое.

Степенные. Аккуратные. Непробиваемо незыблемые. Гордые — сил нет! С непомерным к себе уважением.

Не иначе, слесари-лекальщики, токари-карусельщики, инженеры-проектировщики.

Стояла на подоконнике бутылка. Нарезаны были огурчики. Колбаска кружочками. Две стопочки. Газетка — для очисток. И отрывной календарь незнамо за какой год.

Брали календарь, листали странички, пили понемногу, малыми порциями, чтобы на многих хватило.

Выпьют — и оторвут листочек.

Выпьют — и еще оторвут.

— За семьсотпятидесятилетие со дня рождения Александра Невского!

— За две тысячи четырехсотпятидесятилетие со дня рождения Еврипида!

— За семидесятипятое со дня основания Горловского машиностроительного завода!

— Шли бы вы по домам, — советовали им жильцы. — Там, что ли, нельзя выпить?

— Дома само собой, — отвечали солидно. — Здесь — само собой.

И снова:

— За девяностолетие со дня выхода первого номера журнала "Электричество"!

— За девятьсотпятидесятилетие со дня смерти Абдуль Касим Фирдоуси!

— За четырехсотпятидесятилетие со дня смерти Рафаэля Санти — итальянского живописца и архитектора!..

Но Абарбарчук их не увидел.

Даже запаха не учуял — с прежних времен.

Встал, телом отжал легкие тени, вниз пошел, на улицу. По дороге не утерпел — рванул дверь в квартиру, еще рванул и еще.

Дверь отворилась, как открыли изнутри.

Лежал под ногами забытый половичок.

Коридор уводил в квартирную темноту, где кто-то еще шептал, шевелился, надеялся, не зная, что наступило уже долгожданное завтра, в котором они — вчерашние.

И Абарбарчук прошел коридором, тяжелый, массивный, сегодняшний, заперся в туалете и затих надолго.

И квартира тоже затихла. Как притаилась за дверью до случая-надобности.

А заеда уже докладывал через замочную скважину, прямым проводом из прошлого в будущее:

— Предупреждаю. В квартире. Свито гнездо. Уклонист Розенглас. Приспособленец Усталло. Пораженец Потряскин. Разложенец Груня. Подстрекатель Маня. И две троцкистки — Соня и Броня.

И побежал горохом, по особому заданию: куснуть недокусанного.

Его выдавала педантичная ретивость, несвойственная местному населению, и полное отсутствие половых и национальных признаков.

Только идеологические.

Быть может, они размножились почкованием?

От яблони яблоко, от заеды заеда.

— Я мелких гадостей не делаю, — говорил он обычно и кусал по-крупному.

Эту чудную, патриархальную планетку они выбрали для своих экспериментов.

На этой милой, провинциальной планетке они проверяют на практике свои дурацкие теории, защищают диссертации, получают научные звания и двигают вперед ихнюю науку.

Вся наша история — это опытная модель какого-нибудь плешивого очкарика из глубин Галактики, которому дали побаловаться на Земле несколько тысяч лет.

Потом нас сотрут, как мел с доски, вырастят взамен новую протоплазму и дадут эту планету следующему очкарику для проверки его вонючей теории.

А ты живи себе...

Вдруг что-то грохнуло в коридоре, с мерзким корытным бряканьем забилось на полу.

— Не выходить, — пригрозил парень-вострец, увязывая узлы. — Могут быть хорошие неприятности.

На нем были туфли — загляденье. Курточка — о такой только и мечтать. Брючата со складкой — порезаться можно.

— Я и не выхожу, — сказал Усталло Лев Борисович из глубин туалета. — Чего мне выходить? Тут хоть посидишь в свое удовольствие... Кстати, вам эту курточку пошили или вы своровали ее готовой?

Абарбарчук вышел из туалета и встал на пороге.

Дверь в комнату была открыта.

Занавеска отдернута.

Незабываемый командир Потряскин собирался на войну и складывал в мешок снаряжение с удовольствием.

Еще он разминал мускулы на руках и ногах, чтобы дать отпор зарвавшемуся врагу.

— Мужичок! — сказал он Абарбарчуку. — Имею адресок на прощание. Девочки: что ты, что ты! Уведут — себе не прощу.

Волоокая Груня сидела на постели и капала слезой на пухлые коленки.

— Какие еще девочки? — сказала Груня. — Вам на войну пора.

— Груня! — заревел Потряскин. — Не сбивай мне наводку, Груня!

И поиграл тугими ногами.

Все войны делятся на справедливые и несправедливые.

Справедливые — это когда ты убиваешь.

Несправедливые — это когда тебя.

Для Потряскина это была справедливая война, на которой его несправедливо убили.

— Ништо, — сказал он. — Я им просто так не поддамся. Я их с собой прихвачу, на тот свет, этих сраных Гудерианов!

И полез на прощание из галифе.

Пять минут напоследок как пять жадных затычек.

Так жил и так умирал геройский герой Потряскин, которого не сломить никому.

— Гражданин, — позвала Груня, пододвигаясь. — Угол у меня освобождается. За занавеской. Не желаете ли квартироваться?..

Абарбарчук вошел в комнату.

Стояла у стены железная кровать с сеткой, но без матраца.

Он покачал ее, подергал, лег — кулак подложил под голову.

Свисали со стены обои — клочьями. Паркет вздувался от времени. В углу, у окна, цвела плесень на потолке. Жгуты электрических проводов зарастали пылью на фарфоровых изоляторах.

А на полу лежал долгоносый мальчик в пижаме и стрелял по двери из пулемета.

Был он бледный, вихрастый, с просвечивающими ушами, дышал тяжело, приоткрыв рот, — не иначе, замучили аденоиды.

— Ты чего это по трупам ходишь? — недружелюбно сказал мальчик.

— По каким еще трупам?!

— Да вон. По вражеским.

— Строгий ты, — пожаловался Абарбарчук. — Тебя как звать-то?

— Жухало.

— Как, как?

— Жухало, вот как.

— Почему Жухало? — спросил.

— Потому что жухаю.

— Всегда?

— большей частью.

Абарбарчук понимал уже, что он спит и что мальчик ему только снится, но Жухало этого не знал и жил по-настоящему.

Лишь пулемет был понарошечный.

— А фамилия у тебя какая, Жухало? — спросил Абарбарчук, холодея от предчувствий.

— Фамилия у меня хорошая, — ответил тот. — Не хуже других.

— Ну и ладно, — умилился почему-то. — Иди спать, Жухало. Поздно уже.

— Мне нельзя спать, — сказал тот серьезно. — Мне врач не велел.

— Ну?!

— Ага. Мне и есть нельзя. Хлеб нельзя. Мясо. Картошку. Молоко. Мороженое можно...

Абарбарчук испугался:

— Что же теперь делать?

— Не знаю, — сказал Жухало. — Я в садике кашу вчера поел — уколы делали.

И добавил, подумав:

— А садик у нас сгорел.

— Садик?!

— Садик.

— Перестань...

— Сгорел, сгорел. И игрушки сгорели. И кровати. Все сгорело.

— Ты зачем врешь? — спросил Абарбарчук. — Тебе что, скучно?

— Мне скучно, — согласился Жухало. — Я совру, мне и весело.

Абарбарчук уже догадывался по замечательному носу этого ребенка, что семя его не растратилось без пользы, но проследить дальнейшее передвижение потомков было ему не дано.

— Ты где живешь, Жухало? — спросил он.

— Я дома, — ответил мальчик. — А ты где?

И пострелял по двери из пулемета.

— А я в заброшенном помещении, — сказал Абарбарчук и почему-то заплакал.

— Ты, дядя, домой иди, — посоветовал мальчик. — А то тут скоро потолок обвалится.

— Ладно уж, — посопел Абарбарчук уныло. — Так проживем, без потолка.

Жухало оживился, даже гундосить перестал:

— А без потолка дождь зальет.

— Не зальет, — сказал Абарбарчук. — Я тогда зонтик открою.

Жухало прикинул в уме и радостно сообщил:

— А с зонтиком в туалет не войдешь.

— Зачем мне туалет? — пригорюнился. — Только что оттуда.

Он понимал уже, что скоро проснется, и торопился выяснить подробности.

— А где у тебя папа с мамой?

— Где надо, — ответил мальчик и сам спросил вдруг: — У тебя коленки трещат?

— Еще как.

— Покажи.

Абарбарчук встал с кровати, присел, затрещал коленками.

— И у папы трещат, — сообщил Жухало. — А почему?

— Новые потому что, — объяснил Абарбарчук. — Новые коленки всегда трещат.

Жухало взвизгнул от удовольствия и выпустил по врагу длинную очередь.

— Ты ко мне приходи, — велел. — Вместе врать будем.

— Ладно. Как захочется врать, сразу к тебе.

И спохватился:

— А как же я тебя найду?

— Найдешь, — сказал Жухало. — Визу получишь и найдешь.

И кто-то вздохнул в туалете...

## 6

По ночам кто-то вздыхает в туалете...

Усталло Лев Борисович тоже вздыхает: часто, легко, как на вечном бегу, а этот — безнадежно долго, в безрадостном упоении, будто есть ему о чем вздыхать, а Льву Борисовичу — не о чем. Будто у него — не у Усталло Л.Б. — дочь укатила с внуком в недоступные теперь края. Будто у него — не у Усталло Л.Б. — цепь привязана к ноге — не шагнешь. Будто у него — не у Усталло Л.Б. — жизнь на конус пошла, вот-вот оборвется, и не увидишь тогда внука своего Димочку.

Будто у него — не у Усталло Л.Б.

— Левушка, — говорил ему бывало храбрый командир Потрякин, надраивая хромовые сапоги. — Не надо задумываться, Левушка. Надорвешься. Пошли лучше по бабам. С получки — сам Бог велел.

— Это ваш Бог велел, — отвечал Усталло Лев Борисович. — А я, между прочим, мужской закройщик, товарищ командир Потрякин. Женщины не по моей специальности.

И краснел безо всякой причины.

Он был единственным в своей портняжной мастерской, кто не пил, не курил, в складчинах не участвовал и истово копил деньги для дочки своей Любочки. Потом он стал копить для внука своего Димочки.

Ненавидели его за это страстно, всем портняжным коллективом.

В день получки он вставал первым у кассы. Всегда самым первым. И ждал потом долго, пока откроют.

— Не достанется, что ли? — хихикали сослуживцы.

— Достанется — не достанется, — отвечал Усталло Лев Борисо-

вич, — этого я не знаю. Я получу свое, а там как хотите. Еще деньги кончатся, или их вообще отменят... Нет, нет, рисковать я не могу. Я получу. Я получу, а вы как знаете.

И уносил домой до копеечки.

— Папа, — сказала Любочка однажды. — Давай уже не увиливай. Ты даешь согласие или нет?

Усталло Лев Борисович повел на нее измученным глазом.

Он с вечера еще догадался об этом, когда она шушукалась в углу со своим блондинчиком, и юркнул поскорее в постель.

— Я больной, — сказал он и спрятался под одеялом от нависшей ответственности.

Ночью был приступ. Приезжала неотложка. Делали укол в вену. На столе, в пепельнице, горкой лежали ампулы с обломанными головками.

— Ты не больной, — сказала Любочка. — Ты здоровый. Притворяться будешь перед врачами.

И отдернула одеяло.

— Дай мне умереть, безжалостная! — закричал Усталло Лев Борисович без особой уверенности в голосе. — А потом делай, что хочешь.

— Ты не умрешь, — сказала Любочка. — Тебе еще рано.

Над кроватью, в фигурной рамочке, висел на стене дедушка Усталло — в ермолке, праздничной капоте и с бородой до пояса. Лев Борисович взглянул на него, глазами в глаза, будто посоветовался.

— Любочка, — спросил он жалобно, — кто будут твои дети?

— Люди, папа.

— В паспорте есть графа, Любочка.

— Люди, папа.

— В анкете есть пункт.

— Люди, папа!

— Твой дед был еврей, Любочка.

— Люди, папа, люди!

— Люди, — повторил упрямо Усталло Лев Борисович, — это я понимаю. А какая у людей будет национальность?..

“Лев Борисыч! — написал блондинчик из Иерусалима. — Дорогой! Вам уже нечего беспокоиться. У матери еврейки и ребенок ев-

рей: такие уж тут законы. А я со своей голубой немецко-шведско-литовской кровью вроде бы и ни к чему уже...”

И Лев Борисович улыбнулся на расстоянии.

Он был замечательный закройщик, Усталло Л.Б., и давно бы уж стал заведующим портняжной мастерской, если бы не один серьезный дефект.

Усталло Лев Борисович косил от рождения на сторону и не смотрел поэтому людям в глаза.

А это всегда подозрительно.

Вернее сказать, он смотрел, и только в глаза, но они этого не ощущали и числили за ним всякие козни.

— Лев Борисович, — говорили ему на примерке неусыпные наши “органы”. — Куда это вы смотрите, дорогой?

— На вас, — отвечал Усталло — рот полон иголок.

— На нас... Мы вон они где, а вы куда уставились?

— Да у меня косоглазие, — оправдывался по привычке. — Еще с детства. Один глаз на вас, другой на Кавказ.

— За Кавказ... — поправляли “органы” со смутной усмешкой. — Лечиться надо, Лев Борисович.

— Ладно... Проживу и так.

— Вам ладно — нам не ладно.

— Да оно не лечится! — и иголки чуть не глотал от ужаса. — Оно у меня прогрессирующее!

— А мы принудительно, — отечески шутили “органы” и уходили в свои кабинеты, широкогрудые и крутозадые.

Усталло Лев Борисович пугался всякий раз несказанно и поскуливал потом под одеялом долгую бессонную ночь.

— Товарищ Усталло, — выговаривали ему за это Соня и Броня, подучившись на досуге политграмоте, — разве вы не видите вокруг приметы нового? Разве вы не знаете, что новое пробивает себе дорогу в борьбе со старым?..

Этого он действительно не знал.

Он знал одно в своей жизни, Усталло Л.Б. Семейю свою. Дочку свою Любочку. Внука своего Димочку. И этого еще, блондинчика, которого — хочешь не хочешь — надо теперь терпеть.

А блондинчик был какой-то странный у них, едкий и с подковырками, а когда говорил, очень хотелось ему поверить, хоть и не верилось ему совсем.

— Маму, — рассказывал он при знакомстве, — я почти никогда и не видел. Она была очень занята на работе, и поэтому рожала меня домработница.

Усталло Лев Борисович тут же пугался и жалобно смотрел на дочку свою Любочку.

— Он шутит, — успокаивала Любочка, но утешения это не приносило.

Он не укладывался никак в немудреные усталловские рамки, этот блондинчик, и топорщился там неуминаемо.

Звали его почему-то — Август.

— Наш ренессанс, — говорил Август за чаем, — это муха, которую впустили между двумя стеклами. Раньше она билась о внутреннее стекло, теперь бьется о наружное.

Вот и пойми тут...

Август закончил финансовый институт и в конце года подводил баланс собственной жизни. По всем показателям.

Работал он почему-то в кочегарке.

— В будущем году, — пугал он Любочку, — берем садовый участок. Задача номер один: побольше навоза на квадратный метр.

— Никакого навоза! — отбивалась Любочка. — В будущем году мы будем в Иерусалиме.

— Что?! — вопил долговязый Август. — Ты хочешь сделать из меня пушечное мясо?

— Какое из тебя мясо? — отвечала на это Любочка. — Так, рагу на косточке.

И притиралась к нему под бочок.

— Что они от нас хотят? — говорил Август после очередного вопроса. — Мы разве виноваты, что появились на свет? Мы антитела. Мы во спасение. Организм сам нас вырабатывает, чтобы излечиться от инфекции. Так какие же к нам претензии?

Но у властей был свой резон.

— Август! — умолял Усталло Лев Борисович. — Ну поверь мне! Я знаю эти "органы" как облупленные. Через мои руки прошли все их ЧК, ГПУ, НКВД и КГБ — в натуральном виде. Они тебя не поймут, Август. Это для них сложно. А когда они чего-то не понимают, им это не нравится.

— Лев Борисович, — говорил на это Август. — Дорогой! Я с детства был талантливый ребенок. На папу и на маму не похож...

Перед отъездом Усталло Л.Б. сказал зятю:

— Август, — сказал он, — я знаю, что ты болтун. Но стань один раз серьезным, Август, я тебя очень прошу. Когда будешь писать оттуда, хвали побольше, ври, если надо, — это не помешает, но для меня, только для меня, Август, припиши сбоку: "Лейбеле, это серьезно". И я буду знать тогда, где правда, а где твои глупости.

И пришло письмо из Иерусалима — к радости стариков:

"Мы живем в центре абсорбции (Лейбеле, это серьезно). У нас на троих две комнаты (Лейбеле, это серьезно). Мы учим язык и получаем стипендию, которой хватает на одну только еду, и потому я сторожу по ночам (Извини, Лейбеле, но и это серьезно). Когда я пришел получать наш багаж, чиновник спросил: "А где твое пианино?" "Нету пианино", — сказал я. "Как это нету? — удивился он. — Все русские привозят пианино" (А вот это, Лейбеле, совсем уж серьезно: мы не привезли с собой пианино, а могли бы его тут продать)".

И Усталло Лев Борисович тут же купил по случаю подержанное пианино "Заря" и стал ждать разрешение на выезд.

— Поклонитесь там, — попросил как-то Лазуня Розенглас. — Земле поклонитесь, солнцу и небу. Скажите им: есть, мол, на свете Бобчинский-Добчинский, от которого низкий поклон.

— Кто это Бобчинский? — спросил Усталло Л.Б.

— Есть такой.

Лев Борисович не все понял из сказанного, но переспрашивать не стал.

Этому он научился в "органах".

— Поехали с нами, — искушал он Лазуню. — Чего вам терять?

— А Маню, — говорил тот. — Куда я ее дену?

— И Маню с собой.

— Так я тебе и поехала, — бурчала Маня с лежанки. — У меня тут — гора печали, не сдвинуть. Детки мои тут — по всей земле закопаны...

Потом Лазуня умер, а Льву Борисовичу подарили кота. Большо-го и лохматого. Не иначе, с дворовой помойки.

Это был редкий кот. Замечательный кот. Кот-знамение. Он переходил из семьи в семью безостановочно. Уже не помнили, кто был его первым хозяином. Уже не знали, когда это началось. Знали

только одно: та семья, куда попадал этот кот, тут же получала разрешение на выезд.

Кота передавали дальше. За котом стояла очередь. Из-за кота ссорились. Лев Борисович получил этого кота по блату, после того, как скроил одной даме элегантное пальто, в котором не стыдно прошвырнуться и по Парижу.

Кот сбежал из семьи Усталло сразу же после подачи документов на выезд.

Назад, на помойку.

— Это плохой признак, — сказали умные люди.

И Усталло Лев Борисович получил отказ.

— Ваш выезд, — сказал ему инспектор с паузой, — противоречит.

И зевнул от омерзения.

— Чему? — спросил Усталло Л.Б.

Инспектор удивился вопросу и немного подумал.

— Всему, — сказал он, и тут же закололо в боку.

“Дедушка, — писал ему Димочка. — У нас живет белка. Мы ее купили. Ее зовут Белла Соломоновна, как и нашу бабушку, но она у нас — мальчик. Я ее кормлю орехами, семечками и сухариками. Она уже два раза прокусила папе палец, и он грозит сделать из нее воротник. А вчера она вылезла из клетки и спряталась на полке, в моих штанах. Мы ее искали, не могли найти, и вдруг — штаны летят через всю комнату, с полки на кровать. Приезжай, дедушка, будем ее кормить”.

Лев Борисович прослезился от умиления и пошел специально в парк, где прыгали по дорожкам здешние белки.

Бывало, они ходили туда вместе с Димочкой, рука за руку, и разговаривали на ходу.

Димочка знал тогда уже много слов, не всегда вставлял нужные, но Лев Борисович его понимал.

Белки были совсем ручные. Они садились у их ног, прогрызали аккуратную дырочку в скорлупе и выедали ядро.

Орех белке, орех — Димочке.

На дальней аллее Лев Борисович увидел деловитых мужичков.

Один приманивал орешком доверчивую белку, а другой бил ее железным прутом по спине и переламывал хребет.

Парализованное тельце они кидали в рюкзак и подманивали следующую.

Меха нынче в цене.

И у него снова закололо в боку...

Из Иерусалима писали не часто, и Лев Борисович посылал им по почте гречневую крупу, детские нитяные колготки и папиросы "Беломор" — для зятя.

— Напиши ему! — кричал Август, давясь вечной кашей. — Пусть лучше в Африку пошлет! Голодающим бушменам!

— Сиротка! — кричал он, когда Димочка натягивал блеклые колготки с пузырями на коленках. — За что же тебя так?!

— Караул! — кричал он, закуривая подарочные. — Отдайте их нашим врагам!

— Пусть посылают, — говорила на это Любочка. — Им это нужно — о ком-то заботиться.

Долговязого Августа взяли в армию, и он бегал по горам со своей винтовкой, а рядом бегал его командир, которому было девятнадцать лет, и подгонял его на непонятном языке.

И это было обидно.

В редкие минуты перекуров Август говорил командиру все, что думал о нем, но тот, естественно, не понимал русский язык, хоть и догадывался о многом.

Шутить уже не хотелось, а хотелось спать.

Однажды Август угостил командира "Беломором", и тот стал его остерегаться.

Еще он стоял в оцеплении в арабском городе Рамалла.

Еще — охранял какие-то склады и мыл на кухне посуду.

Тарелок было много — не перемоешь, но голова зато оставалась свободной и хорошо думалось возле раковины.

Он возвышался на кухне головой над всеми, а понизу крутился его напарник, шустрый жучок-солдатик, что неприметно подбрасывал Августу свою порцию грязной посуды.

Был он верткий, тонконогий, прожорливый и смышленный, а работать не хотел — категорически.

Вечно — кофе попить. Кусочек ухватить. Поспать в холодке.

Грузовик разгружать — его нету.

Еду накладывать — он тут.

Стоит — распоряжается.

Был он психованный какой-то, этот солдатик, сразу срывался на крик, если его задевали, и ему даже не выдавали оружие.

Пришел старшина базы в красном берете десантника, углядел непорядок, пропесочил солдата со вкусом.

— Ты что?! — закричал тот в понарошечной истерике. — На своих?! На черных?!..

— Это ты черный, — свысока ответил ему старшина, темнолицый и кучерявый. — А я белый.

Был он роста немалого, широк и устойчив, и обитал в тех же верхах, что и долговязый Август.

— Что такое? — говорил Август Любочке. — Почему это я должен вас защищать и мыть вашу посуду? Это ваша историческая родина, а не моя.

— Молчи, — отвечала Любочка. — Тебя взяли в выездную семью, и скажи за это спасибо.

В обычное время Август работал в банке, по старой своей специальности, и с грустью вспоминал кочегарку, допросы в "органах" и бодрящий озноб вечной неизвестности.

"Лев Борисыч, — писал он в Москву. — Дорогой! наших тут очень много, но своих — недостаточно. Лично мы с Любочкой решили родить еще десять детей и приступили к осуществлению проекта. Вот тогда уж я смогу не работать, а жить на пособие для многодетных".

Усталло Лев Борисович очень возбудился на такое известие и побежал на прием к инспектору.

— Нежелательно, — сказал тот. — Несвоевременно. Нецелесообразно.

— Придумайте что-нибудь поновее! — закричал Лев Борисович, пугаясь собственной храбрости.

— А зачем? — удивился инспектор.

И у него снова закололо в боку, и кололо уже до самой смерти...

Его схоронили быстро, почти мгновенно, по строго отмеренному графику перегруженного крематория.

Поиграли на органе, прикрыли крышкой, торжественно опустили в преисподнюю.

Только и запомнилось растерянно удивленное выражение на лице, да непривычные, без очков, опавшие внутрь веки.

Теперь он уже не косил, наверно, а глядел прямо в глаза: одному тому, на кого и следовало глядеть...

В Иерусалиме, в тот же вечер, его дочка Любочка заказала раз-

говор с Москвой, с мамой, и проплакала у телефона все считанные минутки.

Рядом стоял строгий мальчик.

Замечательный ребенок.

Глядел. Слушал. Запоминал. Хмурил брови.

— Их надо судить, — сказал Август, белея от гнева. — За одно только за это их надо судить... Пусть наслаждаются своей властью. Пусть безобразничают по материкам. Но чтобы дочка не могла поехать на похороны отца?.. За одно за это их надо судить!

Через неделю бабушка Усталло Белла Соломоновна пошла в то самое учреждение и попросила разрешение на выезд.

Теперь уже без мужа своего, который чересчур много знал.

Но ей тоже отказали...

## 7

Вот он сбежал ото всех — в леса, за болота, на благостную природу, чтобы утихнуть душой и расслабиться: раз и навсегда.

Завел дом с садом, завел кур с гусями, — а вокруг тишина такая, такое вокруг благословение Божие, хоть садись на приступочку, обмякай сердцем, облегчайся легкими слезами...

Гуси забрались в сени и сглотали в один присест два килограмма мелких гвоздей. Сглотали — и подошли в мучениях.

Тогда он завел поросенка, скормил ему мешок картошки — не толстеет. Скормил другой — еще хуже. Поросенок был тощий, костлявый, на длинных ногах, оброс, как собака, густой щетиной, в холода отморозил задние ноги и ходил потому на двух передних.

Пришлось прирезать с убытком.

Купил другого поросенка, пошил ему ватный жилет на молнии, а тот застрял теплым жилетом в колючей проволоке и ночью замерз.

Но он не сдался и купил по знакомству заморского петуха. Для породы. Куры его невзлюбили, ночами устраивали "темную", а днем бегали к плебею Петьке, и цыплята вырастали мелкие, драчливые и невыгодные.

Тогда он подсобрал деньжат и купил корову.

На рынке она доилась — дома перестала.

Корова есть — молока нет.

— Ничего, — сказал сосед слева. — Нашлись деньги на корову, найдутся и на молоко.

— Охо-хо, — сказал сосед справа. — Аббарбарчукам тоже несладко. И ему снова захотелось бежать: куда-то и от кого-то...

Была ночь.

Он проснулся на кровати.

Лицом к сетке, носом — в одну из ее ячеек.

Было ему душно. Было погано. Тяжко и неукладисто на ржавых переплетениях.

Кто-то трогал его за плечо, не грубо еще, но уже настойчиво, и свет от фонарика зайчиком скакал по стенам.

— Вставай, — приказали.

— А зачем?

— Вставай, а то хуже будет.

Он перевернулся на спину и ладонью прикрыл глаза.

— Ишь ты, — сказали сверху. — Ну и носяра!

Это была милиция. Скорее всего, двое.

— Ты кто?

— Аббарбарчук.

Подумали:

— Это чего? Фамилия или должность?

— Фамилия.

— А по паспорту?

— И по паспорту.

— Пошли в отделение.

Встал с кровати, возвысился над ними, и они даже назад шагнули в изумлении.

Их, и правда, было двое.

— Не баловать, — пригрозил один. — Если не хочешь.

— Не хочу, — сказал Аббарбарчук.

Спала на лежанке вечная вдова Маня.

Сидел за столом Лазуня Розенглас, альбом был раскрыт на самой на последней на странице.

Там было написано, посередке:

Кто любить более тебя,

Пусть пишет далее меня.

А в самом низу, на краю листа, другим почерком:

Я пишу далее,  
А люблю более...

Лазуня записывал:

“Мы не подлецы. Мы не предатели. За каждым из нас не найдется и одной крупной подлости. Обвините нас в этом, и мы справедливо обидимся. Осудите нас — и мы оправдаемся. Наша крупная подлость, наше предательство рассредоточены во времени, разбиты на тысячи мелких и микроскопических. И в этом — наше спасение. И в этом — нет нам оправдания...”

— Иди уже, — приказал милиционер и подтолкнул с опаской в коридор.

Волоокая безобразница Груня провожала на смерть пуленепробиваемого Потряскина.

Две старушки без зубов спрашивали на прощание:

— Товарищ Потряскин! Чем все-таки отличается обычный коммунизм от военного?

— Катились бы вы, мамыши, — отвечал он с тоскою, натягивая галифе, и они тут же его простили.

Соня и Броня с радостью прощали всех на свете, но им не прощал никто.

Прошел коридором Соломон Розенглас, молодой и дерзновенный, ладонью отбросил со лба легкую прядь.

— Члены общества, — бормотал, — разделяются на повелевающих и повинующихся... Сие существует и существовать должно...

— Побежишь, — пообещал милиционер, — буду стрелять.

И они вышли на лестницу.

По лестнице — неровной вереницей — спускались жильцы со своими пожитками.

Одни уходили в эвакуацию.

Другие в эмиграцию.

Третьих выселяли из-за ремонта.

Бьющееся переложили мягким.

Сыпучее увязали в наволочки.

Текучее поставили стоймя.

Кровати — боком. Шкафы — волоком. Матрацы — рулонами. Кошек — под мышку. Собак — на поводке. Птиц — в клетках. Рыб — в банках. Детей — за руку.

Сволокли по лестнице.

Покидали в емкие кузова.

Поломали при упаковке.

Побили при перевозке.

Доломали при разгрузке.

Три переезда — как один пожар...

— Ты куда? — перепугался милиционер.

— Вещи у меня наверху.

— А не врешь?..

Наверху он переоделся, упрятал лишнее в сумку, встал напоследок.

В свете фонарика можно было уже разглядеть дверь на чердак, такую массивную, такую надежную, — отлично можно отсидеться от любой напасти.

— Как же вы меня нашли? — спросил Абарбарчук с удивлением. — Я ведь и света не зажигал, и огня не разводил.

— Заложили тебя, парень, — сказал милиционер. — Сигнал по телефону. А кто заложил — нам неизвестно.

— Я и заложил, — сказал заеда у самого плеча. — Кому же еще?

И клацнул сточенными корешками.

— Старый человек, — повздыхала Усталло Белла Соломоновна, — а гадите где попало.

И пошагала опухшими своими ногами вслед за гробом...

Уходили Макароны.

Уходили Сорокеры.

Рыбкины уходили и Талалаи.

Куда-то и от кого-то...

— Отдайте мне этот дом, — попросил. — Я в нем музей сделаю. Тем, кто уехал.

— А ты кто таков?

— Оставшийся представитель выехавшей народности.

— Пошли, — приказал милиционер.

Вздыхнул:

— Ну пошли...

И шаг сделал через силу.

И дверь внизу притворил за собой...

Остались в подъезде двое. Степенные и непробиваемые.

Они уже выкушали положенную на сегодня бутылочку, припря-

тали до случая календарь и спорили теперь неспеша, культурненько, что же означает собой слово — тщетно.

Один уверял, что тщетно — это быстро.

А другой божился, что тщетно — это резко.

И некому было их рассудить...

## 8

По ночам кто-то вздыхает в туалете...

*Иерусалим,  
сентябрь-ноябрь 1985 года*



*Анатолий Марченко с женой Парисой Богораз, В. Слепком и Н. Воронель четырнадцать лет назад в Москве.*

*В начале декабря этого года Анатолий умер в Чистопольской тюрьме после многомесячной голодовки. Официальное сообщение о причине смерти — “от сердечной недостаточности” — не согласуется с обстоятельствами дела и отрывочными показаниями врачей. Тело его не было выдано для погребения жене и сыну.*

*Память об этом героическом и несгибаемом человеке останется в наших сердцах.*

СТИХИ

Судьбой печальною гоним  
Для непосредственных страданий  
Попал я в этот милуим  
Чтобы меня готовить к брани

Садятся мухи на плечо  
И на конечности иные  
Мене от солнца горячо  
Кошмарные тут вижу сны я

Я вижу малера вдали  
Шагает каску нахлобучив  
С ним Дранкер с Гаммером в пыли  
За ними Вайс темнее тучи

Несут тяжелый пулемет  
Заряженный большою пулей  
Один из них бежит вперед  
Другой остался в карауле

Они торопятся, спешат  
Они к военной рвутся цели  
Они судьбу страны вершат  
Хотя не пили и не ели

И я не в силах перенести  
Такого жуткого виденья  
Пишу рифмованно в их честь  
В честь молодого поколенья.

\* \* \*

В военной засаде лежу я один  
Детишкам отец и стране гражданин

Сжимаю гранату держу пулемет  
Слежу за врагами враждебных пород

Они окопались за той высотой  
Убить нас является ихней мечтой

Но жизнью своей дорожил я всегда  
И кровь в организме моем не вода

Я сделаю все чтоб меня не убить  
И чтоб под плитою могильной не быть

Чтоб детям не плакать чтоб Родина-мать  
Не стала о смерти моей горевать

И чтобы моя молодая жена  
Меня не лишилась печали полна

Поэтому зорко смотрю я вперед  
Где кроется мерзкий арабский народ

Готов я стрелять и гранату бросать  
Туда где сидит мусульманская рать

Хочу я чтоб в панике вражая сила  
Пощады скорее у нас попросила

Я их подниму с запыленных колен  
Отныне удел их — унынье и плен

А сам — по-солдатски суров и красив  
Вернусь триумфально в родной Тель-Авив.

\* \* \*

Мы в ливанском походе в холодных снегах  
Воевали с арабскою силой  
И на самых смертельно опасных местах  
Появлялся Чапаев красиво

Он стремился вперед на своем скакуне  
Вдохновляя отвагой своею  
Уподобился он на ливанской войне  
человеку герою еврею

И когда проходили мы речку Литань  
Когда мы ее переплывали  
Убегала от нас мусульманская срань  
А мы их пополам разрубали

И Василий Иванович одною рукой  
Призывая на брань и невзгоды  
На весу и скаку он рукою другой  
Полковые держал две колоды

Мы бы взяли заебанный Богом Бейрут  
Где в мечетях муллы завывают  
Но мы знали — в Америке нас обосрут  
И в Европе говном закидают

И тогда повернули мы наших коней  
Злые слезы в глазах закипали  
И товарищ Чапаев герой и еврей  
Нас просил чтоб мы не горевали

Только сам наш товарищ Чапаев не мог  
Пережить что случилась осечка  
И когда мы пришли на родимый порог  
Он сгорел и растаял как свечка

Посреди Тель-Авива есть старый погост  
Где лежат все отцы сионизма

Там схоронен Чапаев спокоен и прост  
Жертва мнения капитализма

Но гремит ежегодно почетный салют  
Из почетных и толстых орудий  
Про Василий Ивановича песни поют  
На еврейском наречии люди

И пока проживает еврейский народ  
Свою древнюю родину строя  
Не забудет Чапаева славный поход  
И геройскую гибель героя.

\* \* \*

На кровати двухэтажной  
Сняв рубаху и штаны  
Я лежу солдат отважный  
Отдыхаю от войны

Мы закончили в Ливане  
Все военные труды  
Разбежались мусульмане  
В огороды и сады

Я лежу и жду приказа  
Я хочу к себе домой  
В этом месяце ни разу  
Не видался я с женой

Может быть в порыве неги  
Одинокая жена  
Невоенному коллеге  
В Тель-Авиве отдана

Трудно женщине красивой  
На постели прозябать  
И неистовую силой  
Ее кто-то может взять

Если видеть через призму  
Изменения жены  
То не надо сионизму  
И не надо мне войны

Я отдам Ливан задаром  
Иудею и Голан  
Хоть арабам хоть татарам  
Хоть гибридам обезьян.

\* \* \*

Руки тонки ноги слабы  
В животе ужасный страх  
Вот ползут ко мне арабы  
Держат ножики в зубах

Держат пулю и гранату  
Пушку тащут на спине  
Как еврею и солдату  
Неприятно мне вдвойне

Но во имя идеала  
Должен громко я стрелять  
Чтоб рука врага устала  
Нам невзгоды направлять

Пусть в итоге нападения  
Буду ранен на убой  
Чтоб молодые поколенья  
Жили новою судьбой.

\* \* \*

Судьба меня опять забросила в Шомрон  
Где скачут на ослах немирные арабы  
Их лица отвратительны как жабы  
Они хотят нам нанести урон

Араб араб пошто стремишься к смуте  
Тебе природой определено  
Ебать козу в семейственном уюте  
Пасти овец и нюхать их говно

Араб трудись араб побойся Бога  
И покорись еврейскому уму  
А если нет — тебя накажут строго  
Тебя посадят в мрачную тюрьму

Пройдут года изменится природа  
Араб разлюбит нежную козу  
Смягчится сионистская порода  
И выпустит соленую слезу

И день придет придет конец ошибке  
И на просторах Родины моей  
Соединятся в радостной улыбке  
Простой феллах и родственный еврей.

\* \* \*

С душой бессмертной данной свыше  
И с сердцем преданным людям  
Стою с винтовкою на крыше  
Подвержен ночи и дождям

Внизу сидят враги свободы  
Исчадья темных мусульман  
Они стремили нам невзгоды  
Но мы поставили капкан

Во имя счастья и покоя  
На процветающих местах  
Своей недрогнувшей рукою  
в Арабов я вселяю страх

Хотя без ласки и сортира  
Страдаю в ветреной ночи  
Зато для будущего мира  
Куем мы счастья ключи.

\* \* \*

Все погубло безвозвратно  
Не вернется никогда  
То что было мне приятно  
Все исчезло без следа

Я пошел на уговоры  
Сионистского врага  
И покинул я просторы  
Где росла моя нога

Где ступал я безвозмездно  
Где дышала вольно грудь  
Я покинул путь полезный  
И ступил на скользкий путь

В мире злого капитала  
Я потерян и забыт  
Без культурного накала  
Протекает скучный быт

Обнаженные рекламы  
Развращают дочерей  
И ебущиеся дамы  
В освещеньи фонарей

Я не против ласки нежной  
Платонической любви  
Но разврата я конечно  
Не терплю в своей крови

За окном гуляют стаи  
Черножопых марокан  
Потому и не спроста я  
Одинок как таракан

Не от жиру и капризу  
Возникает новый план  
Я себе достану визу  
И уеду в Нью-Зелан.

## ZESZYTY LITERACKIE

Nr 15 (LATO 1986)

**W numerze 15 (LATO 1986): PROZA I POEZJA:** LESZEK KOŁAKOWSKI, Ogólna teoria nie-uprawiania ogrodu; JULIA HARTWIG, Wiersze; JAN I BRONISŁAW ŚWIDERSCY, Autobiografie; ADAM ZAGAJEWSKI, Nowe wiersze; TOMASZ GRUSZKOWSKI, Pieśń wroga; TOMASZ ŁUBIEŃSKI, \* \* \*; KRYSZYNA MIŁOBĘDZKA, Wiersze. **EUROPA ŚRODKA:** JOSIF BRODSKI, Ucieczka z Bizancjum. **LISTY Z PARYŻA:** WOJCIECH KARPIŃSKI, Tomasz Mann — rozmowa i milczenia. **PREZENTACJE:** OSKAR MIŁOSZ, Zmarli są wszyscy pijani; KONSTANTY A. JELEŃSKI, Makaroniczny eksperyment; CZESŁAW MIŁOSZ, Dziecię Europy. **SPOJRZENIA:** MARCIN KRÓL, Polska polityka i polski duch. **ŚWIADECTWA:** JAN STANISŁAW WITKIEWICZ, Listy Jerzego Stempowskiego do Marii Dąbrowskiej; JERZY STEMPOWSKI, Listy do Marii Dąbrowskiej. **INTERPRETACJE:** MAREK NOWAKOWSKI, Fdłwark zwierzęcy Gogola. **O KSIĄŻKACH:** STANISŁAW BARAŃCZAK, Rym i czas; MAŁGORZATA DZIEWULSKA, Wesoły grabarz; MAREK TOMASZEWSKI, Pisarz i kat. **WSPOMNIENIA:** ARTUR MIĘDZYRZECKI, Antoni Słonimski. **NOTATKI. LISTY DO REDAKCJI. NOWE PUBLIKACJE. NOTY O AUTORACH.**

Numer 15 Zeszytów Literackich ukazał się w lipcu 1986.  
Do nabycia w redakcji (CAHIERS LITTÉRAIRES, 44, rue Tiquetonne  
75002 PARIS).

## ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

*Оскар Минц*

### ИЗРАИЛЬСКИЕ ОЧЕРКИ

*(из книги, подготавливаемой к печати издательством  
"Библиотека Алия")*

#### Откуда у цветов ноги растут

В любой израильской газете можно найти уголок цветовода-любителя.

Правда, в глаза он не бросается. Не то что полицейская хроника, которая подается с таким энтузиазмом, будто ее составители мечтали ставить вестерны, но не пробились в кинематограф. Уголок цветовода сух по содержанию, мал по газетной площади и относится к явлению, которое за ним кроется, как свеча к лесному пожару.

Для разговоров о цветах, возможно, следовало бы пригласить ученого ботаника или цветовода-практика. Благо, ботаников и цветоводов в Израиле, кажется, больше, чем людей. Поскольку такого быть не может, приходится думать, что в этой стране не обязательно хоть сколько-нибудь смыслить в растениях, чтобы держать их у себя и тем более рассуждать о них.

Все это можно себе позволить благодаря растениеводческому сервису. В Израиле он доведен до того же уровня, что и автомобильный. На Западе, как известно, чтобы успешно ездить на машине, вам не обязательно знать, где у нее мотор — спереди или сзади. Этим вопросом ведают могучий авторемонтный бизнес. Могучий садоводческий бизнес ведают в Израиле вопросом о том, откуда "ноги растут" у цветов.

Есть обычные цветочные магазины. В полном соответствии со своим профилем они предлагают цветы и рассаду. Но польститься на их предложение может только простак или мот, который денег

не считает. Назвать же типового израильского потребителя мотом и тем более простаком — значит оскорбить его по гроб потребительской жизни.

Типовой израильский покупатель искушен, как черт. Он себе на уме и точно знает, что в любом хорошем магазине не столько берут за товар, сколько дерут за витрину. Поэтому, собравшись вечером в гости, куда не принято ходить без букета, он спокойно газует мимо ста красивых цветочных витрин и держит курс на некий яркий объект на обочине шоссе, радостное освещение которого, с точки зрения нашего брата, репатрианта из Союза, сильно смахивает на иллюминацию крейсера "Аврора".

Наш брат тоже подъезжает к обочине и видит вместо мачт шесты, на которых пестрят лампочки, а на земле под шестами — цветы в кувшинах. Никаких дополнительных расходов на торговое оборудование. Посреди живой радуги из роз, гвоздик, гладиолусов и более загадочных произведений природы бойко шурует хозяин. Этот летучий голландец еврейской или арабской национальности возникает из ниоткуда со своими шестами, лампочками и кувшинами на пять-шесть часов бойкой вечерней торговли, после чего проваливается в никуда. Зазывная иллюминация его собратьев по цеху подстерегает клиента на въездах в города и прямо посреди потемок междугородных шоссе. Искушенный, как черт, израильский потребитель платит здесь не меньше, чем в хорошем магазине, а иногда и больше — зато с преприятнейшим чувством, что он не мот и, упаси Боже, не простака.

Но ни цветочные магазины, ни тем более летучие голландцы не принадлежат к настоящим китам растениеводческого сервиса. Настоящий кит — это отдельный большой рассказ.

В один прекрасный день на пустыре у оживленного шоссеино-го перекрестка близ Тель-Авива выгрузили высоченные пальмы. Назавтра эта живая реклама уже осеяла небо, словно годами тут произрастала, а под нею возник каркас ангара из металлических труб. На третий день каркас покрыли виниловой пленкой. Начали ставить второй ангар. Затем ангараы начинили ящиками с рассадой. На задах этого хозяйства ревели самосвалы, ссыпая тонны компоста, похоже, для цветочных горшков всего Ближнего Востока.

Месяца через два число ангаров достигло пяти. В них торгова-

ли: комнатными и садовыми растениями, разными сортами газонной травы, декоративным кустарником, декоративными и плодовыми деревьями, а также удобрениями — химическими и органическими, чистыми и в сложных смесях, в больших мешках и маленьких узелках. Торговали еще и цветочной посудой, гончарной, пластмассовой и стеклянной. Для школы, для дома, для семьи. Торговали еще и всевозможными цветочными подставками, а также крюками в таком количестве, что на них можно было бы повесить не только торговцев-единоличников, но и все торговые коллективы.

На этом этапе появившийся на свет кит полностью вошел в тело, но еще не исчерпал своих возможностей. Через полгода он ускорил бег к миллионным оборотам, загребая деньги двумя новыми плавниками: плетеной мебелью и декоративным камнем.

Через год, на следующем перекрестке, в двух километрах от первого, у кита появился двойник.

Надо заметить, что в полукилометре от каждого из китов, еще до них резвился кит поменьше, назовем его дельфином.

Теперь, я думаю, ясно, что у нас не обязательно быть цветоводом, чтобы увить свое жилье всем, что способно виться. Подъехав к каким-нибудь очередным ангарам и погуляв по их ботаническим садам, вы тычете пальцем в понравившееся вам растение, не спрашивая его названия. Кувшин или горшок, отобранный под него, вам тут же наполняют некоей сложной земляной композицией и пересаживают в нее вашу покупку. Завертывают некую химию, которой полагается удобрять и опрыскивать растение — продали бы и воду для полива, да жаль, у вас у самого свой кран.

Но есть еще и магазины хозяйственных товаров. Они снабжают вас (за деньги, и немалые) садовым инвентарем — от первобытной лопаты до компьютерной сети автоматического полива. Не забудем и о книжных лавках, которые предлагают всевозможные руководства для цветовода-любителя. Мэрии и муниципальные советы держат специальные садовые отделы, чтобы как-то ввести в берега эту растениеводческую стихию.

Вот что кроется за уголком любителя-цветовода на задворках израильской газеты.

Стоит спросить, чем объясняется этот ажиотаж вокруг цветочных горшков и кадок. Вокруг личных садов и садиков.

Говорят — мода. Говорят — обуржуазились: слишком много денег у слишком большого количества людей.

Так-то оно так, но, поездив по арабскому западному берегу Иордана, я стал смотреть другими глазами на газон под окнами израильтянина и на культ цветочного горшка в его квартире.

Так я увидел нагой, некультуренный с библейских времен материк и с пафосом, надеюсь, простительным для новичка, записал по свежим впечатлениям:

“Километры без малейших признаков жизни. Ни капли воды. Небо и камень. Раскаленные надолбы синих скал. Россыпи белого вулканического шлака. Над петляющей по обрывам дорогой хранят зыбкое равновесие вулканические бомбы, как судьба, которая с равной вероятностью может помиловать или казнить.

Какое-то грандиозное кладбище, где истлели все завоеватели. Только и осталось, что белые каменные кости, синие скальные надгробия, да рыжие заросли живой колючей проволоки.

С непривычки становится не по себе. Хочется назад, в долину, к морю. Возвращаешься, как в райский сад — да это и есть райский сад: цветы, как тропические птицы, и птицы, как тропические цветы.

Но под ногами у тебя все тот же мертвый материк. И при мысли о тысячелетнем кладбище, спрятанном под растениями, зябко становится на тридцатиградусной жаре.

И, хотя тут почти ничто уже не напоминает о пустыне, хочется придавить ее последние следы тяжелым зеленым щитом, чтобы снова не выглянула на поверхность. Или завести, по крайней мере, свой личный зеленый талисман от праха вечности”.

Сейчас, спустя много лет, мне крайне неловко за напыщенные излияния нового репатрианта. Однако и много лет спустя я по-прежнему думаю, что бизнес, кроющийся за газетным уголком цветовода, процветает не только благодаря брюшку израильского общества, но и благодаря здоровому инстинкту его души.

## “Колботек”

В средние века жуликам отрубали руку на городской площади. Этот несколько топорный метод лечения нравов был отшлифован в новейшие времена, когда за один моток народных ниток давали десять лет Ивана Денисовича.

Потом долго и упорно сажали артельщиков, пока не догадались зарубить сами артели. Потом на подмогу ОБХСС в штатском насадили такой контрольно-ревизионный механизм, что на смазку всех его колес уходит полприбыли от “левого” товара.

Гнилая буржуазная демократия, вроде израильской, как известно, не брала на себя обязательств досрочно завершить план по излечению человеческих нравов. Тем более — с помощью топора. Ее суды, полиция и инспекция отличаются не тем, что лучше искореняют зло, а тем, что не слишком его умножают. Это удивляет свежего выходца из системы расстрелов за экономическую контрреволюцию. Выходец возмущен открывающимся его взору безбрежным либерализмом. Он начинает тосковать по скорому суду на площади и совершенно не понимает местного безмятежного спокойствия, воплощенного, например, в улыбающемся дикторе израильского телевидения, который ведет еженедельную передачу о всяких родимых пятнах — бытовых, торговых и т. д. и т. п.

Он ведет, в сущности, израильский “Фитиль”, только не в кино, а на телевидении. Но где же советская заставка, тот ящик с порохом и мощный взрыв, уготованный проходимцами? Да и название какое-то беззубое — “Колботек”. Что-то вроде “Всякой всячины” в вольном переводе. Ни тебе кровью не пахнет, ни даже доброй крокодильской сатирой на злодеев, разве что ведущий иронически поднимет брови. Никаких фельетонно-игровых приемов и прочих украшательства. Студия, стол, за которым по ходу действия меняются участники передачи, и сам ведущий, удобно расположившийся на своем неудобном стуле. Пять-шесть тем за тридцать минут телевизионного времени, “пишите нам о замеченных недостатках”, и — прости-прощай, до очередного выпуска “Всякой всячины”.

И все же в Израиле эти тридцать минут приковывают к себе

не меньше болельщиков, чем, скажем, международный баскетбольный матч с участием национальной гордости — тель-авивской команды "Маккаби".

Почему? Возьмем, к примеру, тему одной из передач. Ведущий коротко сообщает, что речь пойдет о случае, в котором замешаны большие деньги, и предлагает посмотреть сюжет, заснятый репортером. В кадр въезжают огромные сверкающие лимузины, оборудованные под такси. Штук двадцать умопомрачительных машин. Нужны, в самом деле, большие деньги, чтобы купить одну такую красавицу, и куда более огромные, чтобы держать фирму, которая их импортирует.

Поэтому волосы встают дыбом, когда таксисты, купившие эти машины, по очереди рассказывают репортеру, сколько горя они хлебнули со своим приобретением.

У всей партии с иголки новые и безумно дорогих автомобилей летят головки двигателей. Отказывают тормоза. Крошатся подшипники. Вместо того, чтобы возвращать вложенный капитал, таксомоторы возвращаются на ремонт в мастерские фирмы, и там... владельцам заявляют, что они не умеют обращаться с техникой. Репортер спрашивает одного такого злополучного таксиста о его водительском стаже. Тот говорит, что он старый шофер, к тому же тракторист, а по армейской специальности — водитель танка.

Тут бы остановить ленту и идти громить фирму, но репортер продолжает опрос. На глазах у публики он развивает свое журналистское расследование, которое ведется с подчеркнутой сдержанностью, без всякой пены у рта. Вам показывают не обвинительное заключение, а житейское злоключение, и еще неизвестно, чем оно обернется и как закончится.

Так разбирается любая, даже самая мелкая тема. Пришла жалоба, допустим, на недовес в пакетах с мукой какой-нибудь расфасовочной фабрики. В студию из ближайшего магазина приносят пять-шесть таких пакетов. Ведущий распечатывает их на глазах у публики и, слегка вымазавшись содержимым, взвешивает муку на аптекарских весах. Израиль внимательно следит за колебаниями чашечек: на весах микродетектив и его развязка.

Конечно, изобличить неодушевленный пакет с мукой фокус несложный, как и небольшой труд расспросить воодушевленно-

го жалобщика. Но совсем не так просто справиться с ответчиками: на репортеров телевизионного журнала возложена общественная миссия, и никакими милицейскими или партийными полномочиями они не наделены. Никто не обязан держать перед ним ответ, даже в форме беседы, и тем более разрешать снимать себя на пленку. Репортеров иногда просто в дом не пускают. Тогда они показывают зрителю пленку на которой заснято, как их не пускают. Зритель учит этот факт. Учит он и то, что противники играют на равных. Редакции журнала не позволены никакие голословные утверждения: говоришь — докажи, а доказать значит показать. На автостраде из Тель-Авива в Хайфу автобусы повадились превышать скорость и делать опасные обгоны. Оператор садится в машину и снимает автобус через ветровое стекло. Но так, чтобы зритель одновременно видел и приборную доску мчащегося за автобусом автомобиля телестудии: на спидометре 110, нет — уже все 120 километров в час! Опасные обгоны? Вот вам, пожалуйста, и обгон заснят.

Кто-то из таксистов, пострадавших от импортной фирмы, мельком замечает, что, в довершение ко всем бедам, его еще и оштрафовала полиция за копать в выхлопе. Сказал — докажи. Репортер выстраивает машины в ряд, просит завести моторы и снимает результат — облака дыма. Но и этого мало. Автомобили отъезжают, камера фиксирует на светлых бетонных плитах копать, как от старта межконтинентальной ракеты.

Теперь можно остановить ленту и вернуться в студию.

Брови ведущего невозмутимы: зритель выслушал только одну сторону, так что делать выводы и выносить приговоры рано. Ведущий сообщает, что телевидение по своему обыкновению, пригласило на студию директора фирмы, чтобы выслушать его объяснения. За столом сидит и репортер. Его присутствие обязательно: он должен публично защищать свой материал. Затем показывают место, приготовленное для директора фирмы. Наезд камеры. На экране пустой стул.

Надо сказать, такие случаи бывают редко. Даже в самых проигрышных ситуациях ответчики являются на студию и спорят, хоть и не повышая голоса, но отчаянно. В итоге не раз оказывается, что бесспорный вроде бы факт раскрывается с неожидан-

ной стороны и дело принимает совсем иной оборот. Так что стул на телестудии вовсе не обязательно служит скамьей подсудимых.

То, что фирма не прислала представителя, конечно, дурной знак, но не более того. Вместо человека фирма прислала бумагу, и это обязывает разобраться в ней.

Что пишут? Ответ не только зачитывается вслух, но и предъявляется зрителю крупным планом. Фирма в высшей степени сожалеет. Фирма беспрекословно ремонтирует. Бесплатно. Фирма просит обратить внимание: некоторые туристические агентства приобрели ее автомобили той же марки. Остались довольны. А мы уже видели, что брак ремонтируют отнюдь не беспрекословно и отнюдь не бесплатно. Но утверждение фирмы относительно туристических агентств — это новость.

Ведущий протягивает руку за какими-то письмами, лежащими на столе. Оказывается, телевизионщики разыскали эти самые туристические агентства, запросили их мнение, и те прислали свои ответы.

Ответы слово в слово сходятся с жалобами таксистов.

Но, оказывается, есть еще одна бумага. Есть еще сам изготовитель злополучных лимузинов, к которому фирме и следовало при первой же жалобе обратиться. Но она этого не сделала, явно рассчитывая на свою неуязвимость. Что ж, за нее это сделало телевидение, отправив запрос в Америку.

Дело в том, что вышеописанный брачок выпустил не какой-нибудь райпромкомбинат, а сама великая “Дженерал моторс”. Именно на ее заводах был допущен грубейший брак при выпуске новой модели роскошных “Олдсмобилей”.

Вы будете смеяться, но, оказывается, бывает и такое.

“Дженерал моторс” ответила молниеносно, не письмом — телеграммой: “Тысяча извинений наш афинский представитель срочно вылетает Тель-Авив разобраться исправить”.

Вот теперь можно перейти к выводам. В студию приглашено еще одно лицо — представитель израильского Министерства транспорта. Ведущий спрашивает, собирается ли министерство что-нибудь предпринять по поводу всей этой истории.

Министерство уже предприняло: сообщило фирме, что не пролонгирует разрешение на импорт ее продукции.

И зритель понимает, что при всем своем реноме и капитале

фирма уже может заказывать похоронную музыку. Ее песенка спета. Дело даже не в том, приняты против нее меры или нет: кто после такой передачи рискнет купить у нее машину?

Вот почему ответчики, как правило, в студию приходят, как миленькие, и на глазах у зрителя сражаются не на жизнь, а на смерть. Не докажешь зрителю своей правоты — тебе обеспечено банкротство.

Так что возможен, оказывается, и другой вид лечения нравов. Без членовредительства, без сгорающих со зловещим треском фитилей, без судей в штатском и палачей в мундирах.

### Немецкие дворники

...На днях у знакомых встретил чету, прилетевшую из Западного Берлина устраивать какие-то свои дела в Израиле.

Бывшие советские евреи, они девять лет прожили в Израиле, а затем эмигрировали в Германию, объявив приятелям, что едут добиваться немецкой пенсии на старость.

Отсюда следовало, что отъезд лишь временный. Однако до пенсии чете оставались еще целых десять лет. Для знакомых, как обычно, все это было крайне неожиданно. Никто не задавал вопросов, как не задают вопросов людям, у которых внезапно обнаружилась нехорошая болезнь. Наоборот, всем было бы удобней, если б помолчала и чета. Но та не унималась и твердила про пенсию, да еще каким-то воспаленным шепотом, оглядываясь по сторонам. Собеседникам ничего другого не оставалось, как кивать и поддакивать с понимающим видом, пряча при этом глаза, как это всегда бывает, когда вас против воли делают соучастником чужого обмана.

Чета, кстати, никому ничего не обязана была объяснять. Юридически еврей в Израиле так же свободен ехать на все четыре стороны, как француз во Франции или американец в Америке. Будь у него на то, как у любого человека в свободном мире, миллиард причин или ни единой. Но если француз или американцу в голову не придет извиняться за свой поступок, а его друзьям и знакомым — видеть в этом поступке нечто предосудительное, то нет, я думаю, такого бывшего галутного еврея — и

сабры тоже! — который, решившись эмигрировать из Израиля, обошелся бы без маленькой или большой лжи.

Иногда это совершенно детские враки. До того беспомощные, что нельзя их объяснить иначе, чем стыдом, настолько режущим глаза, что любая басня хороша, лишь бы оправдать свой поступок перед людьми. Одна очень умная дама увезла двух своих сыновей от военной службы в Израиле под тем предлогом, что ее бабушка неожиданно получила в Германии наследство и нуждается в провожатых. Дама прекрасно понимала, что в эту бабушкину сказку даже дети не могут поверить, и все-таки самозабвенно врала всем знакомым и незнакомым. Года через три я случайно столкнулся с этой нынешней жительницей Германии в конторе тель-авивского адвоката. С места в карьер, как будто видела меня вчера, она выпалила: “Тут у вас болтают, будто я — йоредка! Называть меня йоредкой я никому не позволю!” — и глаза ее возмущенно сверкнули.

Наезжая в Израиль, эмигранты видят в бывших согражданах, особенно знакомых, своих судей и переходят в оборону, хотя на них никто и не собирается нападать.

Кстати, нужно объяснить, что такое “йоредка”. Отглагольное существительное “йоред”, как и его антоним — отглагольное существительное “оле”, имеют свою историю.

Достаточно раскрыть Библию в любом месте, где рассказывается о переселении евреев из Эрец-Исраэль в какую-нибудь другую древнюю страну, чтобы заметить одну особенность. Эмиграция еврея из своего отечестве повсюду обозначена одним и тем же глаголом: “Ярад”. Дословно — “сошел”, “спустился”. В Библии, надо заметить, этот глагол лишен какой бы то ни было оценочной категории. Сообщается топографический факт: перемещение из страны, расположенной на определенной высоте над уровнем моря, в страны, расположенные ниже. Библия вообще излагает события, не давая оценок. Даже когда речь заходит о злодейском убийстве, оно описывается бесстрастным языком протокола. Библия не требует судить эмигрантов как изменников родины. Даже не настаивает на том, что родина — самое возвышенное место на земле. Просто всякий раз, когда человек покидает родину, сказано “йоред”. А когда он возвращается, сказано “оле”.

И все же в иврите, как и в других языках, "подняться" и "спуститься" связаны не только с топографией.

Библия переведена на все языки мира, но этой особенности двух глаголов вы не найдете ни в одном переводе. "Отцы наши перешли в Египет", — значит, например, в каноническом русском переводе 15-ой строфы в главе 20 Книги Чисел. И действительно, не скажешь ведь по-русски: "спустились" из своего отечества. А на библейском иврите только так: "Ярду".

Так разве не поразительно, что много тысячелетий спустя далекие потомки, не помнящие своего языка, не ведающие его образных ассоциаций, бросая родину, которую они едва успели обрести, ощущают свой поступок в категориях, которые заложены в глаголах Вечной Книги?..

Вот ведь, сидя с той самой четой из Берлина, старались же мы избегать малейшего прикосновения к теме "йоредов" и "йоредок". Но как ни старайся не дразнить дьявола, он сам выскочит. Разговаривали про радикулит и повышенную кислотность, а гостья вдруг вызывающе посмотрела на всех и сказала очень громко:

— Какая все-таки ужасная грязь в Тель-Авиве!

Все опешили, но тут кто-то уж не выдержал и слегка съязвил, что это, мол, даже очень верно: еврейский дворник, конечно, не может идти ни в какое сравнение с немецким.

Что тут началось! "Не тычьте мне немецкими дворниками! Чего вам от меня надо?!" — закричала гостья в каком-то радостном бешенстве.

Ничего. Можете мне поверить.

Вышел в свет № 12 журнала "ТАЙНОВЕДЕНИЕ"; стоимость 7 долл. При заказе комплекта из двенадцати книг журнала цена каждого номера — 5 долл., включая почтовые расходы.

Имеется в продаже книга М. Генделя "Космогоническая концепция" — основополагающий труд по эзотеризму; объем книги 375 страниц, стоимость, включая пересылку, 20 долл., в Израиле — 17 долл.

Готовится к изданию сборник "Лекции по эзотеризму", объем 400 стр., стоимость подписки — 22 долл.

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Тайноведение", п/я 32, Зихрон-Яков 30900, Израиль.

## ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

*Публикацией воспоминаний Д. Мааяна мы продолжаем цикл материалов по истории и нынешнему положению еврейского движения в СССР. Это не значит, что значение цикла ограничивается лишь сохранением памяти и фиксацией отдельных этапов истории. Нам кажется, что борьба еврейского движения за свои цели неотделима от борьбы за чистоту средств достижения этих целей. Вот почему в воспоминаниях такое место занимает проблема нравственности поведения и этичности методов, всегда сопровождающая любое общественное движение. Обсуждение этой проблемы не означает, однако, будто мы хотим умалить чей-либо вклад в еврейское движение или бросить тень на чью-либо репутацию. Мы не судьи, а лишь участники и свидетели истории.*

*Давид Мааян (Черноглаз)*

### ПУТИ И СУДЬБЫ ЛЕНИНГРАДСКИХ СИОНИСТОВ

(Интервью для журнала "22")

— Ты был одним из руководителей ленинградской сионистской организации в конце 60-х годов. Я знаю, что ваша организация сыграла большую роль в становлении массового еврейского движения в СССР в 70-х годах. Сейчас, воссоздавая историю этого движения, мне хотелось бы представить читателю и твои воспоминания. Но прежде чем начать разговор о сионистском движении в Ленинграде, хотелось бы понять "личный фон": семья, воспитание, созревание, приход к еврейским и сионистским идеям...

— Боюсь, если мы начнем издавать, то выберемся не скоро. Ну, что ж... Семья, в которой я родился и рос, была средней, стандартной советской семьей. Но при этом она сохраняла определенный еврейский элемент — еврейский дух, еврейские сантименты и еврейскую мораль. Так что, без сомнения, семья заложила во мне некий глубокий, до времени латентный, скрытый, но очень основательный еврейский слой.

Это одна сторона дела. Вторая сторона — общее отвращение к лжи, лицемерию и вообще аморальности советской жизни. Эта жизнь попросту выталкивала из себя человека с каким бы то ни было моральным чувством. Я это почувствовал в четырнадцать-пятнадцать лет, когда средний подросток обычно начинает ощущать себя, как

личность. Тогда и начались мои поиски альтернатив. Какая же может быть альтернатива? Ну, опуская некоторые преходящие обстоятельства, скажу, что эту альтернативу я нашел в своем еврействе..

В семнадцать лет, ко времени окончания школы, я был в плане выбора своего пути, в плане идеологии человеком вполне зрелым. Другое дело, что сама эта идеология не была зрелой, она была весьма наивной, умозрительной, но, во всяком случае, никаких вопросов о том, кто я, где мои симпатии и даже где мое будущее, у меня уже не было. Для моего формирования, как человека, как личности, это "еврейское становление" дало очень многое. Я, в сущности, впервые почувствовал себя человеком...

Практический вывод из этого был достаточно быстрый и естественный: поскольку мне известно нечто такое, что неизвестно другим, я должен им это открыть. Мой долг — поделиться этим.

*— Итак, ты ощутил себя в некотором роде "носителем истины", которую нужно передать другим. И ты начал — что? Щупать вокруг себя, как муравей сязжками, — где единомышленники?*

— Почти сразу.

— И нашел?

— И долго не находил. Несколько лет. Ленинград с точки зрения еврейской жизни в те годы (конец 50-х—начало 60-х) был огромной пустыней. Даже не кладбище, а просто пустое место. Были какие-то люди, евреи по происхождению, иногда — с чувством принадлежности к еврейству, но это были, в лучшем случае, осколки прежней традиции, без всякого выхода в настоящее и тем более в будущее. Поэтому поиски единомышленников — вполне естественные, я бы сказал, — были долгое время совершенно бесплодными.

Я пытался и, так сказать, "миссионерствовать" среди своих еврейских знакомых и даже не без некоторого успеха. Употребляя нынешние термины, я создал некий кружок — отчасти, кружок единомышленников, отчасти кружок самообразования. Мы периодически собирались и что-то читали, что-то обсуждали, даже пытались что-то и написать, во всяком случае — прокомментировать какую-нибудь советскую антиизраильскую книжку и распространить это наше творчество в трех экземплярах. Кончилось это полуарестом. Почему полуарестом? Потому что фактиче-

ски это был арест, но мне формально не было предъявлено обвинение. Несмотря на известную испуганность и смущенность самим фактом ареста, я все же догадался тогда спросить: а каков, собственно, мой юридический статус? — на что получил однозначный ответ, что со мной “беседуют как с гражданином”. В дальнейшем мне объяснили, что это “профилактическая беседа”. То был 60-й год — сравнительно короткий период разгула либерализма в Советском Союзе, когда вообще никого по политическим делам не сажали. Для меня эта история кончилась исключением с четвертого курса института и тремя годами службы в армии...

Ну, теперь, пожалуй, можно перейти к собственно “сионистским делам”. Потому что они начались как раз после моего возвращения из армии, в середине 60-х годов.

— *У меня такой вопрос: что в действительности преобладало в этих “делах” — сионистские интересы или просто еврейские? Судя по воспоминаниям В. Богуславского, идеи отъезда в Израиль еще не было совсем...*

— Это не так. У меня лично принципиальное решение, что мое место в Израиле, созрело задолго до этого. Но одно дело — умозрительное, принципиальное решение, другое дело — практические шаги для его осуществления. И — что еще, быть может, более важно, что предшествует практическим шагам — внутреннее ощущение, ну, скажем, “голос судьбы”, что ты здесь уже жить не можешь...

— *К этому времени ты уже состоял в сионистской организации?*

— Да.

— *Как же это произошло?*

— Установка на создание организации появилась у меня опять же как-то естественно. Ведь все мы воспитывались, так сказать, на истории КПСС, на истории революционного движения. Требовалось время, чтобы от этого раскрепоститься и понять, что существует какая-то другая шкала отсчета, какие-то другие концепции. Наверно, поэтому в 50-е и вплоть до начала 60-х годов все оппозиционные движения в СССР строились на основе критики марксизма. На марксистской базе, но с поправкой на внутреннюю критику “искажений”, на поиски “истинного марксизма” или “истинного коммунизма”. Как, скажем, в средние века оппозиционное движение непременно должно было иметь форму религиозной ереси в пределах господствующего, “единственно правильного” идеологического учения — тогда христианства.

И хотя в 60-е годы все мы, или почти все, были уже идеологически свободны от марксизма, мы не были свободны от его организационной концепции. Необходимым инструментом всякого оппозиционного движения считалась какая-то конспиративная организация. И целенаправленное функционирование в рамках этой организации.

Почему это не могло не быть "функционированием в рамках организации" (против которого так возражает В. Богуславский)? Потому что даже если в обществе существует некая потенция (а в советском еврействе она несомненно была), должен возникнуть также первоначальный "толчок", который преодолел бы инерцию неподвижного "стояния". Надо помнить, что этим годам предшествовал многолетний период жесточайшего террора, этому предшествовал еще более длительный период искоренения всего еврейского, мы имели дело уже со вторым поколением, которое не имело никакого еврейского воспитания. Жизнь еврея в СССР постоянно ставила мучительные вопросы, но готовых ответов на них не было. Казалось очевидным, что в таких условиях, во-первых, нужен некий толчок, а во-вторых, такой толчок может быть дан только некой целенаправленной деятельностью, иначе он не будет эффективен.

Теперь — почему конспиративно? Да просто потому, что в то время открытое выступление было бы воспринято любым непосвященным как провокация. И реакция была бы соответствующей. На тот же путь конспирации нас толкали и антиеврейские судебные процессы — над Тинной Бродецкой, Борисом Подольским, Давидом Хавкиным, группой Гедалии Печерского, над Натаном Цирульниковым, Семеном Дольником, Борисом Кочубиевским, — прошедшие незадолго до того. К сожалению в Израиле широкая публика об этих процессах почти не знает...

*— Итак, у тебя сложилась четкая установка на создание такой конспиративной группы? И как я понимаю, с ее помощью ты хотел раскачать еврейскую массу. Зачем?*

— Зачем я хотел ее раскачать?.. Я полагал, что еврейский народ, как некая национальная общность, никакой перспективы в России не имеет. Во-первых, потому что евреи вообще не имеют перспективы в галуте, а во-вторых — в особенности в таком специфически омерзительном галуте, как Советский Союз. Далее — я считал, что евреи достойны лучшей участи, чем ассимиляция.

И наконец — такова историческая перспектива; так должно быть, следовательно — надо действовать в этом направлении. Доказательства тому я находил в истории еврейского народа, которой интересовался глубоко и серьезно.

Из всего этого следовала определенная концепция — сначала умозрительная, а потом уже и более отработанная практически: поскольку никакой реальной возможности для выезда в то время не было и даже на горизонте не виднелось, то индивидуально проблему выезда каждый из нас решить не может; проблема индивидуального выезда для каждого из нас может быть решена только на основе массовой или, во всяком случае, какой-то масштабной группы. И если сегодня такой группы нет, то следует содействовать ее формированию — пропагандой идей репатриации, пробуждением еврейского самосознания и интереса к Израилю.

*— Но к тому времени уже существовала, хотя и тоненькой струйкой, эмиграция через Прибалтику. Казалось бы, человек, который так четко все сознает, должен был попросту собрать манатки и пробираться в Израиль через Ригу или Вильнюс. К чему такой сложный путь “пробуждения масс”? Я могу принять, скорее, то, что было сказано раньше: никто из вас внутренне еще не был готов к отъезду...*

— Это тоже объяснение. Но было и другое. В 1965—1966 годах мне уже удалось сколотить небольшую группу единомышленников. Когда прошел слух о выезде евреев из Прибалтики, один из нас — Аркадий (Арон) Шпильберг — поехал в Ригу узнать, что происходит. Он привез довольно надежную информацию. Сводилась она к тому, что — да, уезжают, но в очень небольшом количестве, как правило — одинокие люди, имеющие близких родственников в Израиле, к тому же очень специфические люди — старики, инвалиды, без высшего образования и так далее. Это были характеристики, под которые мы не подходили. Но поездка Арона не была совсем бесплодной. Он привез из Риги некоторые идеи, которые в дальнейшем оказались весьма плодотворными — в частности, идею отмечать еврейские праздники. Кроме того он установил контакты с группой Марика Блюма (Мордехай Лапид) и Лиды (Леи) Словиной, которые в дальнейшем поддерживались с большой пользой для нашего общего дела. В Риге тогда уже было несколько сионистских групп, и все они как-то “терлись” друг о друга углами.

*— Значит, были сразу две линии: одна на себя — при случае уехать, и*

*другая — в ожидании “случая” заниматься “пробуждением еврейского самосознания”?*

— Примерно так. Эта наша концепция удовлетворительно описывала ситуацию и давала осмысленную базу и перспективу для дальнейшей деятельности. Ведь сплошь и рядом, когда приходилось разговаривать — с пропагандистскими целями — с каким-нибудь еврейским парнем, он на определенной стадии разговора обязательно спрашивал: ну, хорошо, предположим, я с тобой согласен, но как это поможет мне уехать в Израиль? И на это нужно было иметь какой-то ответ. И для других, и для себя. Ответ этот был такой: можно не просто перебиваться в ожидании лучших времен, но можно с успехом функционировать и быть полезным этой идее и в то же время готовить лично для себя возможность для выезда в будущем. Это был удовлетворительный ответ.

*— Итак, в середине 60-х годов у вас уже была группа...*

— Да, из четырех человек. Кроме меня и уже названного Арона Шпильберга в нее входили Владик Могилевер и Бенцион Товбин. Плюс к тому, как водится, была некая “периферия”, человек десять сочувствующих. Но концепция, о которой я говорил, вываривалась именно в нашем “кругу четырех”. Эти четверо были “посвященные”. А спустя какое-то время мы установили контакт с другой ленинградской сионистской группой, которую создал и возглавлял Гилель Бутман. Идеологическая, а точнее концептуальная база этой группы была несколько иная. Мне это различие кажется крайне важным, потому что тут, в некоторой степени, скрыт ответ на узловую вопрос поднятой журналом дискуссии — о конспирации или неконспирации, а если конспирации, то какой. Если В. Богуславский (по крайней мере, сейчас) выступает против любой конспирации, то Бутман, “идеолог” второй группы, был конспиратором до мозга костей...

*— Ты сказал, что в группе Бутмана была иная концепция...*

— Да, именно поэтому там концепция была другая. Познакомились мы с ними в середине 1966 года, а формально договорились об объединении осенью того же года, и тогда я их лучше узнал. Эти люди были постарше нас, несколько иного жизненного пути, но тоже с некоторым опытом “дел” с КГБ: примерно в том же 1960 году у них было свое столкновение с гебешниками. Но у

них дело не зашло так далеко: хотя Бутмана, тогда лейтенанта милиции, выкинули со службы, но, например, Дрейзнеру даже дали спокойно закончить институт. В моей первой группе, в том же 1960 году, из институтов исключили всех.

Когда мы познакомились, то прежде всего обнаружили, что в главном — насчет Израиля и алии — мы все сходимся, разногласий у нас нет. Но основная практическая идея Бутмана, его способ “пробуждения” массовой алии, принципиально отличалась от нашей. Он считал, что нужно предпринять некий одноразовый, впечатляющий шаг, жест, фейерверк, в результате которого нас либо выбросят за пределы Союза, либо посадят, но эффективно, и вот это-то и разбудит еврейское общественное сознание. Под влиянием этой концепции в группе Бутмана сложилась установка, что какая бы то ни было деятельность, кроме такого одноразового эффективного шага, бесполезна, ни к чему положительному вести не может, а неминуемо и быстро приведет только к провалу и напрасной гибели. Никого растолкать и разбудить “просветительским способом” невозможно, так как КГБ вездесущ и всемогущ, а народ еврейский пассивен и боязлив.

Вскоре нам была предложена и сама “акция”. Выяснилось, что в группе Бутмана была уже выношена идея обратиться с неким “письмом” к международной общественности, где будет заявлено, что мы, евреи, хотим уехать в Израиль и требуем нас отпустить. После чего, по мысли авторов, предполагалось, как я уже сказал, что нас либо выпустят, либо с шумом посадят.

И тогда начались длительные, тяжелые и в общем-то бесплодные споры. Мы предлагали свою концепцию действий, они предлагали свою. Мы предлагали кружки самообразования, проведение еврейских праздников, самиздат, поиски контактов и связей, которые в дальнейшем дадут возможность выезда — то есть программу кропотливой, созидательной работы, по мелочам, по крохам, которая должна породить “нечто” и в перспективе дать нам возможность уехать. Но группа Бутмана упорно стояла на своем и нашу программу отвергала.

На чем же мы, в конце концов, сошлись — при таком “несходстве характеров”? Потому что мы все же сошлись — причем каждый остался “при своем”... Бутману нужны были какие-то люди, так он говорил, которые дадут “обеспечение” его плану. Где-

то нужно было хранить "письмо", кто-то должен был передать его для публикации, кто-то нужен был для передачи информации, для чисто "технической" работы и так далее. Тут я должен заметить, что по-своему Бутман сделал большое открытие, предложив идею "письма". Другое дело, что, сделавши это открытие, он его сам не поспешил осуществить. Четырех лет, вплоть до ареста, ему не хватило, чтобы на это решиться. Для сравнения напомним, что примерно в это же время Яша Казаков (Кедми), молодой парень, студент, в отличие от Бутмана человек смелый и решительный, выступил с открытым требованием отпустить его в Израиль и после двух лет отчаянной борьбы добился своей цели. (Кстати, это объясняет, почему я в дальнейшем, уже имея опыт общения с Бутманом, был уверен, что он и на захват самолета не решится)...

В общем, группе Бутмана нужны были "люди", поэтому они не хотели окончательно рвать с нами. Что же было нужно нам? Я уже говорил, что в то время в Ленинграде встретить единомышленника, человека твоего примерно возраста, твоего круга, было все равно, что клад найти. Это была такая радость, такой восторг. Каждый человек был настолько ценен, что не очень-то смотрели, какой человек. Ну, конечно, чтобы не болтун, конечно, чтобы идеологически "свой", но смотреть — какие у него особенности характера, умный он или глупый и еще что-то там такое — да Господи, кому это было нужно?! Мы хотели расширяться. Нас было всего четверо. "Вербовка" шла очень туго. А тут — еще четыре человека! Убежденные, готовые! В общем, мы тоже за них держались...

— *Значит, вся ваша деятельность сводилась поначалу к встречам и разговорам. О чем же вы на этих встречах говорили, кроме "письма"?*

— Поначалу, как я уже сказал, ни о чем другом и не говорили. Бутман нам всем душу измотал. Мне эти первые встречи конца 66-го года до сих пор вспоминаются как что-то душевное и бестолковое. Но в конце концов, мы все-таки пришли к некоему компромиссу. Просто так разбежаться мы не могли — ни мы, ни они. Поэтому компромисс заключался в том, что мы решили сотрудничать и поддерживать отношения. Но на другой организационной основе. Вместо громоздкого "общего собрания" из восьми человек, будут образованы локальные, автономные группы, которые пошлют по одному представителю в координационный ор-

ган — “комитет”. Но о Комитете чуть позже. Потому что созданию Комитета предшествовал первый серьезный кризис в организации. Связан он был с распространением (либо — нераспространением) литературы. Нам казалось: какая же пропаганда без литературы?! Но “противная сторона” была категорически против — деконспирация! По их мнению литературу не следовало распространять — ни в коем случае! Ну, максимум (поскольку было наше давление), — забрасывать ее в почтовые ящики. Чтобы не было никаких “следов”. Не надо долго объяснять, что каждый еврей расценил бы это, как провокацию. Скорее всего, отнес бы ее в КГБ. Или сжег.

И надо же — как раз тут на нас буквально “свалилась” литература — целый чемодан! Дело было так. У нас к тому времени были хорошие деловые контакты с Ригой. Известно, что Рига — “мать городов русских” в плане возрождения сионистского движения, и некоторое время мы шли за ними следом. Им удалось сделать довольно большой самиздатский тираж нескольких вещей — статей В. Жаботинского, “Эксодуса”, стихов Х.-Н. Бялика. Это были сотни экземпляров, может, и тысячи. Было договорено, что Ленинград получит по сотне штук всех названий. (Своими силами мы могли изготовить не больше пятнадцати копий.) Возникла задача получения чемодана с этой литературой. И тогда Бутман настоял, чтобы разработка этой “операции” была поручена ему. В результате он мобилизовал на это пустяковое дело чуть не все наличные силы обеих наших групп. Если бы что-нибудь сорвалось, мы провалились бы разом, все до единого. Главное же в плане Бутмана состояло в том, что везти чемодан должен был не член нашей организации. Почему? Потому что если будет провал, пусть провалится посторонний человек. Причем человеку этому даже не говорилось, что он везет и зачем... надо же такое вообразить!

Ну, в общем, привезли чемодан. Теперь нужно эту литературу распространять. И тут наши братцы становятся на дыбы: ни в коем случае! Мы эти книжки положим в такое тайное, хорошее, роскошное место, где они будут в полной безопасности, а вот когда “мы” пошлем “письмо” — или сделаем что-то в этом роде, — вот тогда “вы” начнете распространять... А пока “мы” этого не сделали, никто литературу распространять не будет!

Ну, я думал, что вот сейчас эта организация и кончится, на

этом деле. Но что оказалось? Я оказался человеком наивным, а вот Арон Шпильберг был человек практичный. Арон отвел меня в сторону и объяснил, что он уже “позаботился” — чемодан находится в месте, доступном ему, Шпильбергу, а не кому-либо другому. Так что литература у нас. Будем с этой литературой делать то, что сочтем нужным мы. А не они.

Надо сказать, что это было в мае 67-го года. Нет, даже в апреле. Пару месяцев мы все-таки выжидали, поскольку надеялись уломать “противную сторону”. А тут грянула Шестидневная война, перелом в настроениях евреев — и так эти книжки ко двору пришлись! и так у нас эти триста экземпляров разошлись! — мы сами ахнули! И запросили мы еще тираж, и он тоже разошелся, и к нашей дрянненькой пишущей машинке мы добавили еще одну, а со временем — Богуславский лучше знает, это был его участок работы — у нас уже было несколько машинок, и все время что-то печаталось, и что-то переводилось, и распространялось, и куда оно уходило — неизвестно, но то, что эти экземпляры исчезали, был хороший признак. Конечно, какая-то часть у кого-то оседала, какая-то пропадала, но мы видели, что литература расходуется, что есть круг интересующихся, есть потребность, есть читатели — и не только в Ленинграде, поскольку книжка, пройдя несколько рук, из Ленинграда исчезала. Значит, она уходила куда-то в пространство, и это было хорошо, это и была наша цель. В общем, со временем все члены организации так или иначе распространяли самиздат, включая и тех, кто вначале был “против”. Даже и Бутман...

Здесь что надо сказать? Бутман — он ведь тоже не железный человек. Он ведь тоже человек эмоциональный. Отсюда — вспышки, споры, борьба в организации. Но он тоже еврей, сионист, и побуждения у него, что ни говори, были добрые. Это со временем некоторые несчастные черты его характера: тщеславие, помноженное на несколько ограниченный интеллект, — дали весьма скверные результаты, но в принципе намерения у него были добрые и хорошие, и он готов был тратить свое время в ущерб семье, карьере и прочему, подвергая себя опасности... Поэтому когда он увидел, как поворачиваются дела, он тоже начал постепенно менять свою позицию.

Как я уже сказал, в 67-м году мы разделились на автономные

группы во главе с Комитетом. Поначалу образовались три группы — одна бутмановская, вторая моя, а третья состояла из ребят существенно моложе нас, студентов, которых к тому времени организовал Арон Шпильберг. Они послали в Комитет своим представителем Толю Гольдфельда, ныне — доктора наук в Безр-Шевском университете. (Сам Арон, женившись на рижанке, переехал в Ригу и окончательно погрузился в рижские сионистские дела, за которые и сел со временем, "паровозом" по Рижскому процессу 1971 года.)

— Кто же вошел в Комитет?

— Вошел, как я уже сказал, Толя Гольдфельд, от нашей группы вошел я, а от третьей группы — почему-то не Бутман, ее признанный глава, а Семен (Соломон) Дрейзнер, что вызвало у нас у всех некоторое удивление. Но объяснений мы не получили. Думаю, и тут все дело было в "конспирации". Бутман появился в Комитете лишь спустя два года, в 1969-м, за несколько месяцев до нашего ареста.

И вот началось у нас очень продуктивное время. Мы стали набирать обороты. Если в начале этого периода вся наша деятельность была подобна улитке, перемещение которой и за год не заметишь, то в конце мы уже напоминали курьерский поезд на полном ходу. И главное тут состояло в том, что мы начали создавать все новые и новые группы, все новые и новые формы работы, так что круг наш — особенно на "периферии" — стал быстро расширяться.

У нас установился порядок, что при появлении каждой новой группы она посылала в Комитет своего представителя. По прошествии какого-то времени наша группа разделилась, и от дочерней группы в Комитет вошел Владик Могилевер. В перспективе была еще одна группа, Льва Львовича Коренблита, — это были люди средних лет, в основном — с сионистским прошлым; группа-филиал появилась в Кишиневе...

— И эти группы занимались — чем? Какой работой?

— Пожалуй, перечислю... Уже с 1967 года появились у нас улпаны. До этого, чуть раньше, в нашей группе был то ли кружок самообразования, то ли микродискуссионный клуб, а проще — периодические встречи на заранее обусловленные темы, иногда с докладами, иногда без них; идея и исполнение — Льва Ягмана

(Агмона). Вот из этого кружка и выросли ульпаны. Они появились уже осенью 1967 года.

Ульпаном мы называли кружок из семи-десяти человек с постоянным преподавателем и систематически организованными занятиями по заранее намеченной программе. Основными предметами в ульпанах были иврит и еврейская история, дополнительными — география Израиля, иногда — еврейская песня (вел Саша Бланк), элементы иудаизма и прочее.

Кто были учителя? В моей группе первыми учителями были Владик Могилевер (иврит) и я (еврейская история). Владик, человек одаренный, службой и карьерой занимавшийся мало, очень много сил посвятил преподаванию иврита. Он разработал неплохую методику и очень серьезно, основательно преподавал. (Тут я должен поправить В. Богуславского: иврит не выучили лишь те, кто не так уж хотел выучить; кто хотел — выучил!) Для окончательной шлифовки иврита у хорошо продвигающихся учеников привлекался Авраам Моисеевич Белов (Элинсон), замечательный человек, писатель, прекрасный знаток иврита и популяризатор ивритской литературы в СССР. Он и своим сыновьям дал еврейское воспитание; один из них — Илюша Элинсон — стал членом нашей организации.

Конечно, уровень ульпанов был разный. Могилевер, на мой взгляд, оставался лучшим преподавателем; фактически, он первый создал школу преподавания иврита в Ленинграде, его ученики и ученики его учеников сами стали преподавателями, и эту преемственность можно проследить до наших дней. Я стремился создать школу преподавания еврейской истории, и несколько моих учеников тоже стали преподавателями, но насколько я могу судить, эта традиция пресеклась в 1970—1971 годах с арестом одних и поспешным выездом других.

Поначалу у нас было всего два ульпана. Под занавес — в 1970 году — этих ульпанов было... мы попробовали подсчитать, насчитали двенадцать и больше ста учеников и — сбились со счета.

Ульпаны были нашей основной базой: мы искали там активных людей, там распространялась наша литература и, естественно, наша идеология. Как позднее было написано в обвинительном заключении на нашем судебном процессе: "Обвиняемые под ви-

дом преподавания еврейского языка и истории разжигали эмиграционные настроения...” Что в значительной степени было верно.

Второй формой деятельности была литература. Искали, переводили, печатали, что можно было, большие тиражи приходили из Риги, с ульпанами было связано изготовление учебников — фотоспособом или иначе. Через наши руки прошли и “ушли в народ” сотни, а может, — тысячи экземпляров самиздата. Затем было еще празднование еврейских праздников — форма деятельности, которая охватывала еще более широкий круг людей, чем ульпаны... тут уже можно было почти случайных людей приглашать. Еще одна интересная форма агитации — “еврейское кино”. У нас были цветные слайды с видами Израиля (идея и исполнение Иосифа Шнайдера, старого бейтариста и зэка). Мы показывали эти слайды и сопровождали их лекциями об Израиле. Впечатление было неизменно сильным. Эти лекции прослушали сотни людей, наверно...

*— Я не понимаю, как весь этот размах вашей деятельности, в сущности — почти “открытой”, согласовывался с позицией “конspirаторов” в организации — того же Бутмана и его сторонников?*

— А вот это очень интересно, чисто психологически. Нам действительно нужно было сломить сопротивление “конspirаторов” во главе с Бутманом. И тут помогло то, что Бутман человек амбициозный. Ему обязательно нужно было нечто, возвышающее его в глазах окружающих. И его собственных. Это, я думаю, его острая внутренняя потребность. Поначалу, в период наших пустых разговоров, его идея “письма” звучала очень эффектно, она удовлетворяла эти его амбиции, он был в центре событий. Но в дальнейшем, когда помимо него начали развиваться другие формы работы, он оказался вытесненным из числа “лидеров”. И тогда он с невообразимой энергией, — а человек он энергичный и деятельный, — бросился... на организацию ульпанов. И организовал не один ульпан, и действовал очень результативно — по крайней мере, по числу учеников. И опять оказался “при деле”. Он опять хорошо смотрелся. Он приносил пользу, он был доволен, и им были довольны. И литературу он распространял, и привлек несколько новых членов в организацию. Так что сопротивление “конspirаторов” было недолгим...

В общем дела наши разворачивались. И тут я должен подчерк-

нуть очень важное обстоятельство. Шестидневная война на все наши усилия наложилась необычайно кстати. Но еще точнее было бы сказать, что это мы вовремя и очень кстати подготовили некую инфраструктуру. Мы сами уже были готовы к такому повороту событий. И когда еврейская масса, молодежь, и не только молодежь, жадно открыла рты, глаза и уши, нам было что вложить в них...

— Мне трудно представить это практически. На такую работу должно было уходить, по меньшей мере, два рабочих дня каждый день. Как вы совмещали это с работой, с личной жизнью?

— Каждый крутился, как мог... Я, например, в то время учился в заочной аспирантуре. Когда меня в 60-м году выкинули из института, я отслужил армию, вернулся, кончил институт, начал работать, покрутился, ну, куда идти простому еврею? — ясно, в аспирантуру, куда еще деваться? У меня были хорошие отношения с шефом, я работал в полунучной лаборатории, и шеф предложил мне вместо очной аспирантуры заочную, — просто не хотел терять работника, — а взамен обещал мне определенные послабления на работе. Я согласился — и не прогадал. У меня был свободный библиотечный день, у меня был месячный отпуск, отношения с шефом позволяли порой не приходить на работу, — вот я и отдавал все свободное время организации и ее делам. Аспирантуру, понятно, запустил. Пару статей написал, кандидатский минимум сдал, а писать? — зачем я буду писать диссертацию, я в Израиль собирался!

Значит, я решал проблему времени так; как решали ее другие, я не знаю... Все, в общем, где-то работали, служили, ну, может, уже не с такой отдачей, спустя рукава... Бутман, например, институт кончал, ему было тяжело, тем не менее он успел кончить, получил второй диплом...

Теперь — о главном, из-за чего весь огород городился, — а как же с выездом? А с выездом вот как. Опять та же Рига. В конце 1968 — начале 1969 годов из Риги пошел довольно заметный выезд, несколько сот человек. Впрочем, власти быстро это дело прикрыли, этот выезд продолжался всего несколько месяцев, но, по-моему, имел судьбоносное влияние. Мы впервые увидели, что есть реальная возможность уехать. Мы начали в этом плане быстро созреть. Поначалу о выезде не думали просто

потому, что не было выезда. А как только появился реальный шанс, начали созревать. У кого это заняло два-три месяца, у кого год-два, но в общем-то все дружно шли в этом направлении. В Ленинграде цепь подач началась с весны 68-го года. Впрочем, Лассаль Каминский имел отказ еще с 1967 года, а в 68-м году подал Гриша Вертлиб, первый из нашей компании. Причем — как это выглядело! Я помню, Гриша позвонил, попросил о встрече, сказал, что завтра идет подавать документы и просит “позаботиться о семье”... Ну, просто садиться шел человек! Потому что ведь никто не знал, как это делается и что из этого может выйти...

В течение 69-го — начала 70-го годов довольно многие люди из нашего круга уже подали, другие уже собирали документы. Я сам подал на выезд осенью 69-го. В начале года запросил вызов, в июле получил его, то да се, жена была беременная, рассчитали, — вот она уходит с работы, и мы подаем. В декабре 69-го я уже имел отказ.

— *Значит, вас была целая группа и все вы получили отказ?*

— Ну, это не была организованная группа, организация не решала так, что, мол, сегодня ты подаешь, а через месяц — он. Но все это обсуждалось в Комитете, и общая атмосфера в организации и вокруг нее была такая, что, мол, — пора! При этом каждый отдавал себе отчет, что практически наши шансы на выезд близки к нулю. Но мы ощущали, что пришло время начать о т к р ы т ы ю борьбу за алию. И первым шагом была подача заявления на выезд и выход из подполья.

Фактически, деконспирация нашей организации началась уже раньше. Уже улыпаны были, по существу, открытой формой. А подача документов стала прямо-таки свехоткрытой. Как только в Ленинграде набралось несколько человек с отказами, следующим этапом — что должно было стать? Письма протеста. И действительно, в начале января 70-го года из Ленинграда ушло первое такое коллективное письмо, его подписали девять-десять человек, почти все — члены нашей организации. За этим первым письмом пошли еще несколько, причем число подписантов росло от письма к письму.

Параллельно этому мы продолжали нашу работу. До сих пор я рассказывал о сионистских делах в Ленинграде, упомянул Ригу.

А что было в других местах? В середине 1969 года мы установили контакты с москвичами — одновременно через рижан и через Юру Меклера, ленинградца, члена нашей организации, знакомого с некоторыми из москвичей по лагерю. Интересно, что примерно в это время лидирующее положение в сионистских делах стало переходить от Риги к Москве. В Риге произошел временный спад активности в результате выезда наиболее активных сионистов. А Москва была и географическим центром России, и центром связи с внешним миром, через Москву шел и выезд. Там во главе дела были “битые” люди, с лагерным опытом, которые догадались организационно разделить на два слоя — открытый и закрытый (конспиративный), “алеф” и “бет”, — то, что мы в Ленинграде только думали сделать — и не сделали, поскольку в это время были уже заняты возней вокруг нового конфликта — из-за “Свадьбы”...

В Москве мы связались с ведущей группой, которую Давид Хавкин называл “мерказ”. Их было, в общем-то, немного. И насколько я понимаю, в плане организационном и в плане активности они отставали от нас. Но в отношении кругозора, масштаба, оценки ситуации, связей они были выше нас, существенно выше. В то время на главной роли в Москве был Давид Хавкин. Уезжая осенью 1969 года, он сдал дела Виле Свечинскому. Конспиративную сторону вели Меир Гельфонд, Тина Бродецкая — все бывшие лагерники.

Если улыпаны были ленинградским “изобретением”, а празднование еврейских праздников — рижским, то отправка писем протеста и других материалов за границу была идеей московской. Непростую эту работу вел, главным образом, Виля Свечинский. Позднее, сидя в одной камере Владимирской тюрьмы с Володией Буковским и вспоминая общих знакомых, я узнал от него некоторые подробности этой работы. Оказалось, что на первых порах “демократы” в Москве существенно помогали сионистам, делавшим тогда первые шаги на “международной арене”...

Траурные церемонии по погибшим евреям? Нет, первыми здесь были не киевляне, а опять же ребята из Риги. Но в Киеве тоже возникла сионистская группа — Толя Геренрот, Амик Диамант, Алик (Эльханан) Фельдман. Были активные сионисты и в других городах — в Минске (Исаак Житницкий, Гриша Рошаль), в Виль-

нюсе (Яша Файтельсон), в Одессе (Авраам Шифрин, Галя Ладыженская), в Ростове (Лазарь Любарский), — список, разумеется, далеко не полный. Ну, а в Кишиневе был, как я уже говорил, попросту наш "филиал". Это были мальчишки Толи Гольдфельда, кишиневцы, учившиеся прежде в Ленинграде. Они закончили свои институты и вернулись домой с дипломами инженеров и заданием нашей организации. И начали разворачиваться с жуткой энергией, и сделали в Кишиневе большое дело. Помню, я говорил, прощаясь, Саше Гальперину: "Саша, Кишинев — еврейский город, ты там не зарывайся, не занимайся конспирацией, там она не нужна. Конечно, евреи в Молдавии отстали, они живут своей повседневной жизнью. Но при первой возможности Кишинев встанет, он поднимется. В Ленинграде будут по-прежнему одиночки, ну — их будет немного больше, но это будут одиночки, а Кишинев встанет, это еврейский город. Тебе надо быть к этому готовым. Организуй ульпаны, преподавай иврит и историю, будь свой человек среди молодежи, и не зарывайся..." Ну, Саша делал все — и ульпаны, и литературу, и вербовал людей, и агитировал, а под конец даже украл копировальную машину. За что и сел, разумеется. Вместе с Гальпериным работали и другие члены нашей организации — Харик Киржнер, Сема Левит, Алик Женин...

Теперь относительно Грузии. Грузия, как известно, это не Советский Союз. И в еврейских делах это тоже был не Советский Союз. Грузия была совершенно автономна, автохтонна, туземна и очень глубока в своих еврейских корнях. У меня до сих пор сантименты к грузинским евреям. Что было вкладом грузинских евреев? Нет, деньги — это само собой, а вот главным было письмо восемнадцати грузинских евреев в октябре 69-го года. Это было первое коллективное письмо, прозвучавшее так громко, и оно произвело грандиозное впечатление — и в Союзе, и в Израиле. Это сделало эпоху. Текст письма написал большой поэт Борис Гапонов, ныне, увы, покойный...

*— Здесь я хотел бы попросить тебя сделать маленькое отступление. Вы ведь, насколько я знаю, были к тому времени уже не изолированной организацией, — вы состояли в связи с другими? И уже был создан Всесоюзный Координационный Комитет, ВКК, не так ли?*

— Да, это очень существенное обстоятельство. К тому времени сионистское движение в СССР поднялось с уровня мелких групп — неважно, организованных или нет, функционирующих или не

очень — до уровня даже не просто национального, а, я бы сказал, народного движения, в масштабах всего Союза. Я могу точно определить этот момент — вторая половина 69-го года. Мне кажется, что основной характеристикой этой второй стадии является не только очень большой количественный рост, а фактор неуправляемости. Раз этот организм может уже существовать без команды сверху, раз он уже самофункционирует и саморасширяется — значит, дело пошло! Мы считали, что теперь в советском “котле” складывается некая ситуация повышенного давления, и власти вынуждены будут приоткрыть клапан, чтобы стравить лишний пар, иначе произойдет взрыв, с котла сорвет крышку, а что тогда будет с нами, куда выкинет — в Израиль, в лагерь или еще куда-нибудь? — сие от нас не зависит... Но мы полагали, что чем больше будет участников в движении, тем меньше будет вероятность столь соблазнительных для КГБ массовых репрессий — типа арестов и посадок.

Вот в этой обстановке и возник ВКК. Регулярные контакты между сионистами разных городов стали к тому времени насущной необходимостью. Их высшим проявлением были проводы в Москве тех немногих активистов, которые тогда уезжали. Я бы назвал эти проводы нашими стихийными сионистскими конгрессами. На них съезжались десятки людей со всего Союза. Здесь шел обмен информацией и идеями, здесь договаривались о взаимной помощи, здесь завязывались новые знакомства. А кроме того для всех участников это был большой праздник. Уезжающего загружали поручениями до предела. Первая встреча такого рода, в которой я участвовал, была на проводях Иосифа Хорола, рижанина, в февралемарте 1969 года. Кстати, он тогда увез данные для получения вызовов на сотни адресов, с ним же было договорено об отправке по адресам, которые я ему передал, и вещевых посылок. В дальнейшем реализация этих посылок стала основным источником финансирования организации.

В августе 1969 года, на проводях Саши Бланка, ленинградца, первого и единственного члена нашей организации, получившего разрешение на выезд (до арестов), кто-то из участников предложил организовать специальную встречу представителей нескольких городов, в узком составе. Такая встреча состоялась в ноябре того же года, в Риге, в ней участвовали Свечинский от Москвы,

Геренрот от Киева, Гершон Цуциашвили от Тбилиси, Борис Мафцер от Риги. Ленинград представлял я. Следует сказать, что эта встреча была первой и единственной, имевшей практическое значение, поскольку следующая по плану (в феврале 1970 года в Киеве) не состоялась (была обнаружена слежка), а последняя встреча, в Ленинграде, 13–14 июня 70-го года, закончилась за несколько часов до нашего ареста.

Само название "ВКК" — Всесоюзный Координационный Комитет — было придумано в Ленинграде, только там употреблялось и другим участникам вообще не было известно. Разумеется, на следствии КГБ радостно ухватился за орган с таким звучным названием и всесторонне обсасывал его. На деле же никакой единый руководящий орган всего сионистского движения в СССР никогда не существовал — ни в форме "ВКК", ни в какой-либо иной.

*— Понятно. И что же — именно параллельно попыткам создания "ВКК" у вас, в ленинградском Комитете, началась свара?*

— Да, именно в это время, когда дела наши расширялись со скоростью цепной реакции, а борьба за выезд принимала открытые формы, именно тогда наш Гиля Бутман, утративший общественное внимание и алчущий его, изобрел свою идею "захвата самолета". Ну, это, пожалуй, известно достаточно...

*— И все же — как тебе это помнится конкретно? Ты ведь был в центре этих событий...*

— Пожалуй, я лучше расскажу не "как помнится", а "как знается", поскольку многое стало известно позднее. Сама идея бегства из СССР на самолете возникла у Марка Дымшица, ленинградца, в прошлом — военного летчика и пилота гражданской авиации, специалиста высокой квалификации, человека волевого, смелого и решительного. Марк считал, что его шансы на официальный выезд равны нулю и был готов на самый отчаянный шаг ради того, чтобы вырваться в Израиль. План его состоял в том, чтобы захватить в воздухе маленький самолет, из тех, что курсировали в окрестностях Ленинграда. План дерзкий, рискованный, но вполне реальный. Кстати, именно этот план, с небольшими изменениями, и попытались осуществить, в конце концов, Марк Дымшиц, Эдик Кузнецов, Сильва, Израиль и Вульф Залмансоны, Арье Ханох, Йосик Менделевич, Толя Альтман, Борис Пенсон и другие 15 июня 1970 года.

Дымшицу нужна была помощь, и он обратился к Бутману, единственному человеку из "сионистов", с которым был знаком. Бутман подошел к делу "творчески" — он с ходу забраковал план Дымшица, как "немасштабный", и взамен предложил свой собственный — грандиозный: захватить большой воздушный лайнер, человек на сто, с тем, чтобы, по крайней мере, пятьдесят человек из числа пассажиров были "наши люди", якобы собравшиеся на "свадьбу друга"... Сомнения Дымшица, где и как набрать в обстановке абсолютной секретности такое количество надежных людей, Бутман отверг, заявив, что дело Марка чисто техническое — сесть в кресло пилота и довести самолет до Швеции, все же остальное он, Бутман, берет на себя.

Именно этот план, под кодовым названием "Свадьба", и был предложен в конце 69-го года Комитету нашей организации. Надо сказать, что поначалу эта идея произвела на меня очень сильное впечатление. Вот, добиваемся мы тут разрешения на выезд, половина членов организации — в подаче, часть уже имеет отказ, над нами ежедневно висит угроза ареста и лагеря, причем арест куда как вероятнее выезда... Быть может, это и есть мой единственный шанс попасть в Израиль, упусти его сейчас — и всю жизнь ты и твои дети не простите себе этого. Но все это были эмоции, что же говорил разум? Предположим, что удастся нейтрализовать экипаж самолета, предположим, что наш пилот знает свое дело, предположим, что радары не засекут отклонение самолета от курса и не будет дана команда сбить его в воздухе — до сих пор риск велик, но и успех — реален. Но как набрать пятьдесят человек для участия в операции? Переговорить с каждым — и вот уже пятьдесят человек знают "тайну", а если согласится каждый второй из тех, кому предложат — значит, есть уже сто посвященных... А если каждый четвертый? Значит, "тайну" узнают уже сотни людей! И это в условиях, когда большинство организаторов и потенциальных участников, члены фактически деконспирированной к тому времени организации, находятся под пристальным вниманием КГБ, поскольку почти все формы работы — ульпаны, литература, лекции об Израиле, подача документов на выезд и коллективные письма протеста — стали открытыми? Нет, стоп, в этой части план Бутмана уже не работает! Здесь уже речь идет не о степени риска, а просто об отсутствии здравого смысла. И наконец, кто же тот

человек, который организует осуществление этого плана? Не тот ли это Гилель Бутман, который в течение нескольких лет предлагал послать на Запад письмо с требованием выпустить нас в Израиль и... отказался подписать точно такое же письмо, когда его, в конце концов, написали другие? Не тот ли Гилель Бутман, который, опасаясь провала, требовал послать за нашей первой партией самиздата постороннего человека, а саму эту литературу распространять только через почтовые ящики? Наконец, не тот ли Гилель Бутман, который, призывая других к решительным действиям, сам так и не осмелился до сих пор подать документы на выезд?..

Вот с такими мыслями пришел я на заседание Комитета, на котором нам предстояло обсудить идею Бутмана.

Сторонников у нее в Комитете не нашлось. Возражения были разные, но в основном они сводились к тому, что рамки организации, ее идеология и сложившаяся практика не соответствуют насильственным действиям; параллельная подготовка такой операции, даже если мы на нее пойдем, несовместима с пропагандистской работой и открытой борьбой за выезд; а осуществление операции практически невозможно из-за деконспирированности большинства членов организации. Наконец, все присутствовавшие заявили, что никто из них лично на "Свадьбу" Бутмана не пойдет. Казалось бы — следовало закрыть эту тему. Но это означало оставить Бутмана с его обидами. Тоже не хотелось... И тогда Владик Могилеввер, известный наш мастер компромисса, предложил: считать вопрос "недостаточно изученным" и вернуться к нему позже, когда появится "более полная информация". Мне же, в личной беседе в сторонке, Владик сказал примерно следующее: "Ты что, Бутмана не знаешь? Дальше разговоров дело все равно не пойдет. Так дай ему возможность сохранить лицо..."

Можно себе представить, каким было для нас всех ударом, когда спустя полгода, уже на следствии, Бутман, ссылаясь на это заседание, заявил, что Комитет, якобы, одобрил его действия и поручил ему подготовить полный план операции! Ибо это заявление позволило гебистам связать нашу организацию с попыткой захвата самолета, осуществленной рижанами, а в результате — предъявить большинству арестованных обвинение в "измене родине"! Вот почему я придаю этому эпизоду такое

значение. С этого эпизода, в конце 69-го года, за полгода до нашего ареста, начался в нашей организации кризис, из которого она так и не сумела выбраться, начался ее развал, предопределивший и сами аресты в июне 1970 года, и моральный провал некоторых руководителей во время следствия. Комитет оказался тогда надолго, до самого конца, парализованным поисками компромисса с Бутманом. Руководители организации — быть может, впервые за три года ее существования — оказались несостоятельны. В общем, это было начало конца...

Как это происходило? Бутман, убедившись, что в организации у него поддержки нет, плюнул на конспирацию, на дисциплину и наши взаимные обязательства и стал — не имея на то полномочий, вопреки нашему решению — вербовать людей для "Свадьбы". При этом он обманывал вербуемых, давал им ложную информацию, заявлял, что действует от имени организации, а сам тем временем из недели в неделю категорически отказывался вернуться к обсуждению темы "Свадьбы" на Комитете. Короче, он понесся, закусив удила. Людей для своей акции он искал где только мог — в организации и вне ее, в Ленинграде и едва ли не по всему Союзу; исчерпав круг близких знакомых, говорил с людьми едва знакомыми и случайными. Я думаю, он попросту снова ощутил себя верхом на белом коне впереди верного войска; те, кто с ним не соглашался, "путались у него под ногами", по его же словам...

— *А потом появилась идея "запроса в Израиль"?*

— Да, именно в это время и в этой обстановке, где-то в марте-апреле 1970 года. К этому моменту у Бутмана, видимо, стала пропадать охота рисковать своей жизнью в опасной операции. А возможно, он ощутил, что дело это ему явно не по силам. Во всяком случае он явно стал искать способа отступить, "сохранив лицо". И тогда у кого-то в Комитете родилась идея: помочь ему, предложив послать в Израиль "запрос" на разрешение операции. Всем нам, включая Бутмана, было очевидно, что ни одно официальное лицо в Израиле, будь то чиновник или даже министр, не возьмет на себя ответственность дать команду захватить советский самолет. Так что вся эта затея с "запросом" была нужна только для ублажения Бутмана. Я был категорически против этого. Я предложил путь, по-моему, более простой и достойный:

если уж Бутман настолько убежден в своей правоте и преисполнен решимости, пусть выйдет из организации — тогда он будет свободен в своих действиях. Но превратиться из центра общественного внимания в одиночку, а тем более самому идти до конца его, видимо, не устраивало.

Большинство моих товарищей по Комитету готово было принять идею “запроса”. Их можно понять. Нужно представить себе обстановку: организацию лихорадит который месяц, всем это надоело, все от этого устало и всем хочется кончить это миром. Вот, пошлем запрос (в отрицательном ответе никто не сомневался), и все опять будет хорошо. Короче, все участники обсуждения (а их было человек шесть-семь) приняли этот компромисс. Но не я.

Только к тому времени мне стало очевидно, что организация в своей прежней форме себя изжила, что вреда от нее больше, чем пользы, движение вышло на такой уровень, что надо искать другие формы работы, и прежде всего — борьбы за выезд. К тому времени у меня на руках уже был отказ ОВиРа, я отказался от защиты почти готовой диссертации, на работе партсекретарь организовал за мной форменную охоту, меня понизили в должности и отстранили от проведения экспериментов. Дело явно шло к увольнению. Я понимал, что надо менять образ жизни, переходить к тому, что позднее было названо “жизнью в откате” (институт отказничества тогда только складывался). И вот, на том заседании, где обсуждался “запрос”, я заявил, что выхожу из Комитета, сказав товарищам, что отныне мое основное занятие — выездные дела: я буду по-прежнему вести ульпан и распространять литературу, но не стану больше заниматься оргделами.

Ну, вскоре пришел ответ на “запрос” в Израиль” — разумеется, отрицательный. Так что с точки зрения нашей организации (но не КГБ!) вопрос с захватом самолета вроде бы оказался закрытым. Мы не знали, насколько Бутман ухитрился его разгласить. И мы не знали, что в Риге он оставался на повестке дня. С того момента, как Марк Дымшиц познакомился с Эдиком Кузнецовым и Сильвой Залмансон, Бутман, в принципе, уже был им не нужен. У них оказалось достаточно решимости пойти до конца, и в “запросы” они играть не стали. Они вернулись к

первоначальному варианту Марка Дымшица — идее захвата маленького, двенадцатиместного самолета — и были арестованы 15 июня 1970 года на взлетной полосе аэродрома, когда готовились к осуществлению этого плана. Бутман же, заявив им — где-то в середине их подготовки — о своем отказе от операции, тем не менее пытался чуть ли не до конца контролировать действия “самолетчиков”, давать им советы и ставить условия — в тайне от всех нас. Ну, разумеется, они с ним не очень считались...

— *Что, по-твоему, привело к провалу “самолетной” группы? Донос?*

— Я убежден, что ни в организации, ни в “самолетной” группе не было осведомителя. Но вокруг этого дела просто слишком много было людей, находившихся под пристальным наблюдением КГБ. Слишком многие знали об операции “Свадьба”. Достаточно сказать, что на следствии Бутман назвал поименно свыше двадцати пяти человек, которым он в разное время предлагал принять участие в этой операции.

— *Что же дальше?*

— А дальше нас арестовали. Против нашей операции КГБ давно готовил свою, готовил тщательно и широко, в ней были задействованы сотни гебистов. В тот самый день 15 июня, в те же утренние часы, когда были арестованы “самолетчики”, КГБ провел десятки обысков и арестов, и не только в Ленинграде, но и в Москве, Кишиневе, Риге, Одессе. Первую партию посадили пятнадцатого, а потом стали сажать уже поодиночке, кого нужно, — Богуславского, например, кое-кого в Кишиневе, в Риге — и завертелось большое общее дело под номером 15. Виля Свечинский и другие москвичи тоже долго ходили на грани ареста. Но прошло всего несколько недель, и гебисты забились отбой. Они начали все наши дела закруглять и что-то из них выкраивать. Видимо, по каким-то своим соображениям им неудобно оказалось всех сразу — 35 человек! — выпускать на один процесс. Поэтому они выделили отдельно “самолетное дело”, отдельно — дело ленинградской организации, отдельно — дела рижан и кишиневцев. Трех ленинградцев срочно перебросили в Кишинев: Толю Гольдфельда — ну, он, фактически, был их руководителем и организатором еще с ленинградских времен, его еще можно было как-то туда прислонить; затем меня, хотя я с Кишиневом

никаких прямых дел не имел, разве что почти все подсудимые там были моими учениками; и наконец, Гилю Шура, который никого там вообще не знал. Гебисты сделали это, чтобы, с одной стороны “украсить”, сделать более “серьезным” Кишиневский процесс (у тамошних ребят, кроме ульпана, самиздата и украденного множительного аппарата, вообще никакой “уголовщины” не было — даже если кто там согласился участвовать в “Свадьбе”, так и то потом отказался): а с другой стороны, — чтобы разгрузить процесс ленинградский. Может быть, они опасались, что я спутаю им карты в их попытке связать ленинградскую организацию с попыткой захвата самолета (с Бутманом им об этом оказалось сговориться легче); а Шур им и вовсе “картину портил”, потому что в течение всего следствия не дал ни слова показаний. Толя Гольдфельд тоже не оправдал их “надежд”.

— Расскажи об этих первых неделях, до “сортировки”. Богуславский вспоминает, что испытал чувство облегчения, когда, наконец, сел...

— Я его очень хорошо понимаю, но у меня и у большинства было другое положение. У него, у Шура была великая “фора” — их посадили через несколько дней после нас, и они уже видели, как разворачиваются дела. А нас взяли тепленькими. И вот я сидел в одиночке и мучился двумя вопросами. Во-первых, я прикинул туда-сюда и пришел к выводу, что мне должны дать лет двенадцать. Ведь нам, благодаря Бутману, предъявили статью 64-ю, “измена родине”. Максимум по ней мне вроде не полагался, но и минимум тоже. По этой статье грозит либо “вышка”, либо от десяти до пятнадцати лет — значит, двенадцать. Или тринадцать. Многовато... А потом, черт их знает, этих гебистов, вроде бы расстрелять не должны, но, может, и расстреляют все-таки сгоряча?! Да и следовательно временами “намекал” — дескать, есть такая возможность, от вас самого, гражданин Черноглаз, теперь зависит — дадут “вышку” или нет... Вот такие размышления. А вокруг — все, что с ними обычно связано: жена без работы, с грудным ребенком на руках, голодают, наверное, — да что там ей ждать, надо освободить ее от обязательств, надо настраиваться на другой образ жизни. И родители — старики, увидимся ли еще?

А вторая тема для размышлений была, так сказать, “обще-

ственная": неужели все, что мы сделали и чего добились, неужели все это сейчас развалит? Людей посадили много, гебистов с цепи спустили — понятно, что поначалу будет тяжелый шок. Оправятся евреи от шока, не оправятся, совсем разгромят движение или что-то еще останется? А может, нас опять отбросит лет на десять-пятнадцать назад, и потом новому поколению придется все начинать сначала?

Вот, так сказать, две темы для размышлений. Не очень-то они скрашивали время в камере, надо признаться...

— *А время для размышлений было?*

— Ну, допрашивать, действительно, начали с ходу, но времени для размышлений хватало. Все двадцать четыре часа в день ведь не допрашивают: на ночь отпускают, на обед, — есть время подумать... Впрочем, я и не ел вообще первые дни, гебисты даже переполошились, думали — я голодовку объявил. Какая тут, к черту, голодовка — просто кусок в глотку не лезет!

— *И что — сразу было видно, что гебистам известно?*

— Не сразу, но быстро. Они действительно много знали. Например, последнее заседание Комитета, на котором я сдавал дела, у них было записано полностью. То, что они так за нами следили, меня теперь не удивляет: шла операция всесоюзного значения, гебистская "Свадьба", все силы ГБ были задействованы!

— *Ты упомянул о следствии и "моральном провале" руководителей организации. Вот и Богуславский в своем интервью упоминает ряд неприятных моментов на следствии: например, обширные показания Бутмана по поводу операции "Свадьба" и историю со Штильбансом. Бутман в своем письме в журнал эти обвинения опровергает. В своих книгах он вообще всю эту историю представляет иначе. Как в действительности обстояло дело?*

— Ну, что сказать... Правильно говорит Богуславский и, к сожалению, неправильно говорит Бутман. В этой связи я бы мог только добавить к упрекам Богуславского. Взять, например, эпизод со Львом Коренблитом (который, в отличие от Штильбанса, сегодня находится в Израиле — он профессор физики в Беэр-Шевском университете). Эпизод тоже малоприятный. Бутман на следствии показал, что Л. Л. Коренблит советовал ему обзавестись "предметами бытового обихода", которые, де, можно использовать в качестве "орудий нападения" на пилотов самолета. Причем один из этих "предметов" — домашний тостер — он, якобы, лично вручил ему, Бутману. Этими показаниями Бутман не

только дал КГБ сведения, до того гебистам не известные, но и так расставил акценты, что дал материал для обвинения Л. Л. Коренблита в соучастии в подготовке к убийству! В своих мемуарах Бутман объясняет это тем, что его, дескать, "взяли на пушку", то есть обманули. Но в устах бывшего следователя милиции это звучит совершенно неубедительно — тем более, что, имея возможность на суде отказаться от своих показаний, Бутман этого не сделал.

Почему вообще удалось "расколоть" нашу организацию на следствии? Зря, по-моему, В. Богуславский ищет некий мистический "комплекс вины", проистекающий от "нелегальщины". Впрочем, как и от особо, якобы, густой "бесовщины". Ее, этой "бесовщины", как мы теперь видим, хватает и в свободной русской эмиграции, и на сверхсвободном Западе, и в нашем социалистически-демократическом Израиле. Подлинных причин было несколько, но главная, на мой взгляд, вот какая. Все годы своего существования наша организация сознательно исключала из своей деятельности любую "антисоветчину". Не нужна была она для наших сионистских дел. Если кто-то из товарищей и грешил чтением общедемократического самиздата — для собственного удовольствия и просвещения, — ему за это строго выговаривали. Тем не менее ареста мы всегда опасались, более того — ждали его. Неоднократно обсуждали эту тему и прикидывали, чем нам это грозит — в смысле обвинения и срока. Общепринятым мнением было, что мы можем "потянуть" на статью 190-1 ("распространение ложных измышлений..."), а при самых неблагоприятных обстоятельствах руководители могут получить и статью 70-ю ("антисоветская пропаганда"). По статье 190-1 срок до трех лет, по 70-й — до семи. К этому все мы были готовы. И если бы следствие шло в рамках этих статей, от нас добились бы немногого. Понимали это и в КГБ. Разработка агентурных данных давала им весьма скудный "материал". Гебешники — не Бог весть какие мыслители, но профессионально они на уровне, им ясно было, что на "Эксопусе", ульпанах и подачах на выезд красивого и масштабного дела не слепить. Да и партийная власть, надо полагать, санкцию не давала. Поэтому для них сущей находкой оказалась вся наша суета вокруг "Свадьбы" в последние месяцы. Именно эта злосчастная идея Бутмана дала им возможность

предъявить нам статью 64-ю, "измена родине". А срок по ней, как я уже говорил, десять-пятнадцать лет, а то и "вышка". Для нас предъявление этой статьи было ударом обухом по голове. Никто этого не ждал, никто к этому готов не был. Поэтому и начали "колоться". Причем, прошу не забывать, процесс был групповой, да такого размера, какого Советы за последние тридцать лет, со сталинских времен, не знали. Посадили тридцать пять человек, но материал для арестов был, как минимум, человек на сто! В таких обстоятельствах достаточно два-три кирпича вытащить, и все здание разрушится. Что и произошло...

Однако и в таких обстоятельствах "колоться" можно по-разному. Одно дело — подтвердить факт существования организации и своего в ней членства, даже согласиться, в конце концов, на пару эпизодов передачи какой-нибудь книжки из рук в руки. Такие показания и давало большинство обвиняемых ленинградцев. Не буду скрывать — давал их и я. Но совсем другое дело — давать развернутые показания по обстоятельствам, известным следствию лишь по агентурным данным (такие данные юридической силы не имеют) либо не известным вообще (как заявил Бутман на суде: "Если б я этого не говорил, органы следствия об этом никогда бы не узнали..."). Совсем другое дело — давать материал для обвинения своих товарищей и для новых арестов, выворачивать все наизнанку с тем, чтобы заслужить формулу "активного способствования в раскрытии преступления" и этим снизить наказание себе — за счет других. Такого рода показания, увы, давали на ленинградском процессе трое из числа наших "вождей". Все трое — ветераны-учредители, члены Комитета со стажем, активные участники суеты вокруг "Свадьбы". И среди них — Бутман. Но если двое остальных действительно заслужили официальное признание своей "помощи следствию" и при гораздо большем объеме обвинения получили срок существенно меньше, чем у других, то Бутману "не повезло". И хотя он на суде уверял, что и он активно помогал следствию и ему тоже полагается тот же "орден", все это оказалось тщетно. Он не понимал, что в тот момент, когда он дал показания, будто Комитет одобрил операцию "Свадьба" (чего в действительности не было), он своими собственными руками, а точнее — языком, сплел себе сеть, из которой уже не мог выбраться. Ибо именно этими показаниями он дал КГБ же-

ланную возможность связать организацию — с попыткой захвата самолета, а себя — превратить в главную фигуру обвинения по этой попытке. Помиловать главного обвиняемого — провалится весь процесс, все обвинение, построенное на плане "Свадьбы"...

Впрочем, нельзя сказать, что Бутман старался совсем уж напрасно. В конечном счете, он получил минимальное наказание из всех, что предусмотрены предъявленной ему статьей, хотя был главной фигурой обвинения. Это ли не признание "заслуг перед следствием"? На суде он битый час отмежевывался от "реакционных сионистов", распространялся о своей любви к социализму, верности принципам марксизма-ленинизма и почтении к большевистской революции, демонстрируя этим свою идеологическую близость к тем, кто его же и судил. И самое печальное, на мой взгляд, — что Бутман и сегодня, в своих мемуарах, столь же решительно настаивает на своей искренности перед судом и следствием, превращает свои показания чуть ли не в "продуманную тактику" спасения товарищей и даже в "героизм", и делает все это не со стыдом, а с гордостью. А в своем письме в редакцию, о котором ты упоминал, чернит и поносит В. Богуславского, который позволил себе усомниться в нравственности такой позиции.

Личность Богуславского — не тема дискуссии и тем более — этих воспоминаний. Впрочем, как и личность Бутмана. Но если Бутман так уж настаивает... Итак, кого Бутман "заложил" на следствии? Во-первых, Штильбанса. Во-вторых, Льва Коренблита. В-третьих, Петю Шихтмана (история с чемоданом литературы из Риги). В-четвертых, еще десятка два людей — из тех, кого звал на "Свадьбу". Всем им, как минимум, была обеспечена статья "за недоношение" — пустяк, конечно, всего три года, что такое три года чужой жизни, когда свою нужно спасти?! Продолжать список или хватит? А кого же "заложил" В. Богуславский? Да никого! Даже Бутман что-нибудь такое припомнить не может — а ведь Богуславский знал многих и о многом. А вот, поди же, не сказал, и вину свою не признал на суде, вот какой человек нехороший, не искренний...

Если говорить серьезно, все мы должны быть Богуславскому до гроба благодарны, — за то, что он, сам находясь под угрозой ареста, дал немедленно информацию на Запад о наших арестах.

Ибо это смешало властям их карты, срок мы все получили куда меньше, чем планировалось, а евреи в Союзе вскоре оправились от испуга и такое “выдали”, что в наши времена и не снилось... Могут возразить — ну, не Богуславский, так кто-нибудь другой все равно сделал бы эту работу... Скорей всего, что так, но ведь сделал ее все-таки Богуславский! Он же организовал первую помощь женам, детям арестованных. И сел, разумеется — за все это. А следом за ним Гиля Шур — за то же самое. Гебисты так и говорили позже: мы что, мы хотели сажать как можно меньше людей, Богуславский и Шур сами напросились... В постановлении об их аресте так и записано: “Мешали следствию”. Пусть читатель сам расставляет оценки — тем, кто “мешал следствию”, спасая товарищей, и тем, кто “помогал следствию” и был “искренен” на суде. А если уж совсем отойти от той конкретной ситуации и говорить просто в плане частных человеческих отношений, то я не понимаю, как не стыдно Бутману бросать камень в того, кто, защищая его, сам подставил себя под удар...

— *Вернемся к твоей личной истории. Что произошло после того, как тебя перебросили в Кишинев?*

— Ну, доставили меня туда — ничего не скажешь — комфортабельно, самолетом. Через весь Союз, из одной тюрьмы в другую, с одного следствия — на другое. Разве что в Ленинграде я отсидел под следствием всего месяца три, а в Кишиневе пришлось отсидеть около года...

Кишиневская тюрьма, старая и запущенная, была тогда весьма плотно заселена — людьми и тараканами. Режим там был не мягче ленинградского, зато царил куда более привычная для России (а может, — бессарабская?) распущенность, так что зеку жилось чуть вольнее. Уголовничков, своих сосидельцев, я сперва слегка побаивался, но, как выяснилось, совершенно напрасно: это были обычные, среднестатистические советские люди, к политическим они относились с почтением, отчасти — из-за оппозиции к режиму, отчасти — признавая наше интеллектуальное превосходство. Так что за все время, проведенное в Кишиневской тюрьме, у меня с ними не было никаких осложнений.

Попадались там и евреи, что мне, скажу честно, было очень приятно, хоть я и понимал, что часть из них составляли “наседки”, камерные осведомители. Я не смущался даже среди них вести сионистскую пропаганду — именно сионистскую, не “анти-

советскую". Я полагал, что это лучший способ внушить властям, что моя цель — Израиль, а не "русская революция".

Информация по тюрьме циркулировала почти свободно, так что вскоре я уже знал имена всех своих арестованных товарищей-кишиневцев. В Кишиневе аресты начались позже, чем в Ленинграде, и главным образом — на основе материалов, добытых тамошним следствием. Материал обвинения был примерно тот же, что и в Ленинграде, только в более скромном объеме — большинство обвиняемых составляли молодые ребята, как я уже говорил — мои бывшие ученики по ульпану. Поэтому мне, их учителю, была отведена роль главного обвиняемого, и понятно, что все следствие закрутилось по новой. Впрочем, прежнего психологического давления уже не было. Да и я уже был не новичок. Но в Кишиневе была своя специфика. Следователи там работали грубо, примитивно, нахрапом. Они меня встретили словами: "Ну, интеллигент ленинградский, у нас разговоров будет меньше, фактов будете давать больше, мы бумагу на ваши пустые показания изводить не собираемся!"

Мой первый следователь, некто Орлинский, вообще был мерзейшей личностью. Наркоман, пьяница, кулаком по столу стучать пытался. Ну, пришлось его "вводить в рамки"... Наконец, по моему требованию его сменили. Вторым был некто Березовский — он утверждал, что по национальности украинец, но в тюрьме поговаривали, да и мне казалось, что он чистейший еврей: в разговорах со мной он уж слишком как-то живо интересовался жизнью в Израиле, особенно тем, на каких машинах там ездят. Но мы с ним недолго разговаривали — очень уж он своевольничал в введении протокола допроса, пришлось потребовать сменить и его. Наконец, дали мне третьего — этакого рубаху-парня, который мне не слишком докучал и попутно с допросами свои делишки обдeldывал. Вот, скажем, сидит он в кресле, развалясь, и по телефону евреям-завмагам названивает; выяснит, что и как, а в конце разговора обычное: "Ну, будь здоров, Яков Абрамович, жена зайдет к тебе..." А потом, преисполненный гордости, меня поучает: "Вот, Давид Исерович, жить не умеете. На что вы там время тратили? Устраиваться надо. Видите, как мы живем — и евреям с нами неплохо живется... Ну, ничего, посидите — поумнеете".

Наконец, слепили они кое-как свое "дело", вшили в него ле-

нинградские протоколы, что поэффектней, — для солидности; и передали дело в суд. Тут только сняли с меня статью об “измене”, так что мой предполагаемый срок сразу уменьшился наполовину. Стало мне веселей. Но настоящая эйфория — та, о которой говорит Богуславский, — наступила только на суде.

— Почему на суде?

— Смотри, сидел я уже больше года — следствие, общество уголовничков, что на воле делается — неизвестно, а тут, на суде, впервые встречаешь своих подельников, несмотря ни на что оставшихся друзьями; в зале — жена; проходят свидетели. И тут только впервые узнаешь: многих свидетелей нет. Причина: “уехали в Израиль”. Так и объявляют, официально... И часть обвиняемых отказывается от показаний, которые они давали на следствии, а часть свидетелей вообще отказывается давать показания, несколько приходят с израильскими магендавидами на шее, открыто, другие издеваются над судом — один, например, желает говорить только на иврите, — короче, начинаешь понимать, что обстановка за стенами тюрьмы поменялась радикально: евреи не сломились, начался выезд, худшее, чего я опасался после ареста, не произошло...

— Выходит, эта глава твоей жизни закончилась на такой вот высокой ноте?

— Вот именно. Свернули они свой спектакль по-быстрому, и получил я свои пять лет (даже меньше, чем предполагал), а большинство моих подельников получили по два года — сроки вообще смехотворные по советским стандартам, и погнали нас этапом в лагерь, в Мордовию. Тоже, конечно, не сахар, да какой же зек предпочтет тюрьму лагерю?! Но главное — что уходили мы на этап в твердой уверенности, что по окончании срока нас ждет не “Большая зона” СССР, а настоящая свобода, цель нашей жизни — Израиль...

— Последний вопрос: как ты теперь, с позиций всего пережитого, оцениваешь вашу деятельность, весь этот эпизод в истории еврейского движения в России?

— Ну, смотри — люди мы были маленькие, силенки у нас были слабые, было нас мало. Что и как делать, а чего не делать, посоветоваться было не с кем. Израиль и Запад о нас и наших проблемах не знали и знать не очень-то хотели. Но судьба так определила, что эту работу надо было сделать нам. У меня всегда

было такое ощущение, что если я, мы этого не сделаем, то другие не сделают тоже...

И в силу своих возможностей что-то мы положительное сделали, осмелюсь сказать, — немало и вовремя. В общую копилку. Конечно, не одна ленинградская сионистская организация породила еврейское движение и не одна она пробила массовый выезд. Движение породили (возродили!), в первую очередь, те сионисты предшествовавшего нам поколения, которые вышли из сталинских лагерей и продолжили борьбу, а уже брешь пробили те две-три сотни активных молодых сионистов, которые поднялись тогда в Союзе. В том числе — и мы. Конечно, случалось, что мы ошибались, особенно под занавес. Тем не менее, в общем и целом, мы, я думаю, нашли правильную дорогу. Три года эффективного функционирования — вообще редкий случай в советской практике. Только вот эффектный конец не получился, на следствии мы осрамылись, — кто больше, кто меньше. Зато в лагерях все пришли в себя — включая и “помогавших следствию”, “чисто-сердечно раскаявшихся”. Не было в политлагерях 70-х годов более сплоченной и стойкой группы, чем еврей-сионисты, ни один не “перевоспитался”, ни один не состоял в лагерных стукачах, ни один не написал “помиловку”.

Я, с твоего позволения, все-таки хотел бы под конец соотнестись с главной темой дискуссии в журнале — о путях сионистского движения в СССР. Максимально кратко, “стоя на одной ноге”, и потому схематично, упрощенно, а то, смотри, сколько у нас “тема Бутмана” заняла — почти как в самой организации тогда...

Я убежден, что при всей важности общественной и государственной поддержки Израилем и Западом, вопрос о том, быть или не быть новой алие, решат евреи в СССР. Говорят, если бы все евреи один раз выполнили все предписания о святости субботы, Машиах (Мессия) пришел бы немедленно. Я же скажу так: будут в Союзе сто борцов (не три миллиона, а только сто!), равных Иосифу Бегуну и Иде Нудель, а вместо каждого посаженного встанут десять других, как это случилось в 1970 году, — будет и большая алия...

— Спасибо.

*Вел интервью Р. Нудельман*

## ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

*Публикуя в этом номере первую главу задуманной автором работы о творчестве Александра Солженицына, мы хотели бы обратить особое внимание читателя на центральную мысль этой публикации — о роли нравственности (“единой системы координат”) как основы коллективного человеческого существования. Обратить внимание на эту мысль казалось нам важным потому, что, в сущности, в том или ином виде она проходит и сквозь многие другие публикации данного номера, начиная с воспоминания М. Мааяна о судьбах ленинградских сионистов и кончая статьями Э. Чьорана, С. Лема и главами из книги Беръжье и Повеля. Подход к творчеству А. Солженицына с этих позиций представляется нам более плодотворным и способствующим пониманию исторического процесса, чем споры о политических или националистических позициях автора “Красного колеса”.*

*Александр Воронель*

**ЧИТАЯ СОЛЖЕНИЦЫНА**

Неправда, что все на свете меняется. И совсем не все течет. Громадная часть нашей действительности, называемая прошлым, никак не может измениться. И она никуда не утечет, если мы не позволим настоящему исказить ее ради какой-нибудь практической выгоды. С годами этот объем накопленного капитала растет у каждого, и если не отдавать его на волю инфляции, не спекулировать на повседневной бирже, можно почувствовать себя богаче. В известных пределах, конечно.

Этот путь открыт не только отдельному человеку, но и целым народам. Можно ли предвидеть, чему научит прошлый опыт наших бывших соотечественников? Конечно, в первую очередь от этого зависят судьбы России. Но поскольку Россия, в обычно употребляемом смысле слова, давно уже превратилась в СССР — сверхдержаву, держащую в напряжении весь мир, — судьба всего мира зависит от того, что извлечет из своего прошлого следующее поколение русских людей. А ведь это определится, главным образом, тем, что из их прошлого до

них дойдет. В форме ли непрерываемой научной истины или соблазняющего подпольного мифа...

По-видимому, в обеих формах самые яркие споры в ближайшие десятилетия будут происходить вокруг имени А. Солженицына, взявшего на себя лично задачу вместить историческое сознание своего народа.

Для нас, нынешних израильтян и бывших русских евреев, к счастью, нет необходимости принимать взгляды Солженицына или отвергать их. Мы, как и весь остальной мир, кроме России, находимся на периферии его внимания и не составляем существенной части аудитории. Он пишет не для нас. Этот определяющий факт не сразу доходит до русскоязычного читателя на Западе и до потенциального эмигранта в СССР. Однако, в том, что он пишет, содержится много важного и для нас.

Попробуем понять его, не примешивая собственных пристрастий, не сверяясь со своими интересами. Как рекомендуют философы: "Не восторгаться, не негодовать, но — понимать".

#### **"Литература и жизнь". Жанр.**

В соответствии с русским идеалом писателя, от которого ожидают больше, чем литературы, Солженицын в своих последних книгах строит свою собственную историю, социологию и антропологию России XX века. Погруженный с головой в этот грандиозный замысел, он сплошь и рядом перестает быть писателем, и выяснением для себя увлекается больше, чем изложением для читателя. Человек, взявший почитать его роман перед сном, вскоре отложит книгу.

Вопросы, на которых останавливается его испытующий дух, приличествуют скорее титанам, на чьих плечах держатся небеса, чем простым смертным, ищущим как бы избежать личной ответственности прочтением великого писателя: "Извечная проблема, нигде не решенная и сегодня, вечное качание весов: как взять права, не неся обременительных и даже опасных обязанностей, или как заковать в обязанности, не давая прав?"

Если в "Архипелаге ГУЛаг" такая особенность была предважена подзаголовком — "опыт художественного исследования" — в "Августе 14-го" приходится объяснять такое отклонение от

“нормы” уже в самом тексте: “Автор не разрешил бы себе такого грубого излома романной формы, если бы раньше того не была грубо изломана сама история России, вся память ее, и перебиты историки...”

Конечно, русская история семи последних десятилетий дает достаточно веских поводов оправдать любое жанровое отклонение. Но, еще за сто приблизительно лет до Солженицына, и Лев Толстой то и дело прерывал свое повествование, чтобы на десятках страниц высказывать свои взгляды на историю, социологию и природу человека, несмотря на то, что историки тогда еще наслаждались безопасностью, а история России не была, по-видимому, изломана.

Как и Л. Толстому, А. Солженицыну тесны жанровые рамки, и его роман — не совсем роман, а “повествование в отмеренных сроках”, и книги его — не книги, а “узлы”. Можно понять тех, кого это раздражает, но суть дела здесь все же, по-видимому, не в тщеславии выдумать новое слово, а действительно в ином принципе, который делает творчество Солженицына в такой же степени “новым”, как и “архаическим”.

В период, когда становится модным все старомодное, имеет смысл присмотреться внимательнее к писателю, пожелавшему стать старомодным еще в те времена, когда такой моды не было.

Тема художественного исследования “Архипелага ГУЛаг” поддается определению, кажется, легче всего. Исследуется возникновение и развитие величайшей в мире карательной системы, сумевшей за полвека изменить почти до неузнаваемости облик целого народа. Исследуется способность и готовность этого народа, и человека вообще, сопротивляться, терпеть или способствовать собственному угнетению и порабощению.

Почти в начале книги (во всяком случае для меня это было началом) автор задается вопросом, почему советские граждане так рабски спокойно покоряются аресту, почему не кричат, не сопротивляются, не бегут... “Исследование” уже здесь превращается в проповедь и “вопрос” обращается в призыв. Я помню, какое впечатление произвел на меня этот отрывок в самиздате. Это было примерно двенадцать лет назад и к тому времени меня уже не раз арестовывали... Однако этот раз я воспринял иначе.

...Нагоняющий шорох шин у обочины, открытые дверцы чер-

ного автомобиля, пристойно-свирепые лица, поблескивающие золотыми зубами из мягкой черноты. неброские костюмы, обаятельные галстуки, любезность казенных кабинетов: "Присаживайтесь, Александр Владимирович..." — Никогда больше я не соглашусь поддержать этот гнусный оттенок благопристойности! Ни за что больше не приму этого подмигивающего приглашения на казнь, этого подлого взаимопонимания, связывающего "советских людей со своими органами"...

Одним скачком я оказался позади машины и затесался в очередь, ожидавшую троллейбуса. Мотор взревел, и, въехав на тротуар, машина задним ходом врезалась в толпу. Народ брызнул из-под колес. Трое оперативников вцепились и мигом оторвали меня от земли, так что ноги мои не коснулись ее уже до самого места назначения...

Свободная воля, однако, даже и оторванного от почвы человека способна противостоять насилию, придав его телу твердость и форму, несовместимую с дверным проемом служебного автомобиля. Неравномерно сгибаясь и разгибаясь в воздухе, я успешно продолжал препятствовать работе оперативной группы. Правда, края автомобиля, о который бились мои выступающие части, казались мне все жестче, но уже торжествующим боковым зрением я успевал увидеть, как моему соратнику удалось возбудить возмущение толпы, и вот они ведут сюда слабо упирающегося милиционера, "чтобы разобраться"...

Захваты роботов в неразличимых костюмах стали, как будто, ослабевать, и в этот короткий миг я сумел лягнуть в галстук направлявшего их оператора... Это и было моей роковой ошибкой: отсредоточившись от своей главной задачи, я уже не успел помешать им согнуть мое тело под надлежащим углом. В период зрелого социализма такую работу делают знатоки...

Милиционер после первых же слов выяснения проявил понимание и успокоил возбужденную толпу: "Совсем не безобразие. Берут, кого положено. Те, кому надо!" Это заключение я узнал уже со слов своего друга, так как машина с моим телом в то время уже неслась, нарушая уличное движение, по московским улицам к заветному месту возле Гастронома № 18.

Что заставило меня так горячо отозваться на слова Солжени-

цына? Почему я воспринял их как вызов, обращенный лично ко мне?

Как ни странно, ответ на эти вопросы содержится в весьма академической статье С. Аверинцева "Античная литература и Ближневосточная словесность":

"На Ближнем Востоке каждое слово предания говорится всякий раз внутри непосредственно жизненного общения говорящего... с себе подобными. Интеллектуальный фокус внутреннего самодистанцирования, наилучшим образом известный интеллигентному греку со времен Сократа, здесь не в ходу".

Всем своим образованием, кругом знакомств и симпатий склонялся я к иронии и самодистанцированию. Уж мне ли был неизвестен какой-либо из интеллектуальных фокусов, так удобно разделяющих мир на явление и сущность, литературу и жизнь, западников и славянофилов, "мы и они", наконец... В духе всего нашего круга было бы оценить литературные достоинства отрывка и повздыхать о несопоставимости поэтической прозы с прозой жизни. И в КГБ были разочарованы моим поведением. Стыдили: "А еще профессор!" Наводили на мысль о Сократе: "К лицу ли вам..." — и обещали к следующему разу обязательно руки и ноги переломать. Сократ, как известно, не стал дожидаться, пока тогдашние специалисты начнут выламывать ему руки и выпил предназначенную чашу с ядом, не пускаясь в авантюры, сохранив достоинство и дистанцию...

Нет, Сократа из меня не вышло, что и говорить. Но зато я получил ключ к пониманию Солженицына. На этот краткий миг я вошел в круг его истинных читателей.

Что помешало мне принять слова писателя с привычной долей иронии? Ведь не на Ближнем же Востоке воспитывались мы оба? И что тут было первопричиной? Мой статус русского интеллигента ("образованца" по А. Солженицыну) или еврейская натура, чем то все же близкая этому самому Востоку?

Внутри русской литературы всегда существовала тенденция выйти за рамки собственно литературной формы и перейти непосредственно к "содержанию", то есть к жизни. Стремление превратиться в учебник жизни всегда толкало русскую литературу прочь от классических образцов в сторону библейской сумятицы. (Аверинцев называет ее "ближневосточной" лишь в ходе своего

собственного сократовского самодистанцирования от реальности советской цензуры.) Внутриситуативная заинтересованность всегда порождает жанровую неопределенность.

Многие русские писатели незаметно для себя переходили от изложения к изобличению и от повествования к благовестованию. Кастовое сознание русской интеллигенции включает не только всевозможные интеллектуальные фокусы, но также учительство, следование и жертву. Соответственно этому и ее литература (а русская культура — литературная по преимуществу) выполняет не только (а иногда и не столько) эстетическую, но, гораздо чаще, этическую задачу. Отделить Солженицына от этой негреческой традиции невозможно. Его воспримет только тот, кто читает его, как будто к нему это обращено лично. Солженицына прочитывает только тот, кто ждет от него ответа. И сам Солженицын ощущает, верит, что он призван дать ответ.

Продолжим любопытную мысль С. Аверинцева: “Сравнивая греческое и библейское отношение к слову, как образу мира, мы делаем не что иное, как познаем себя. Сравнивать мы должны... памятуя, что мы остаемся европейцами, и следовательно, “греками”... Внутри (греческой) культуры, которая... стала “нормой” для последующих, относительно литературы точно известно, что это есть именно литература (а не, скажем, пророческое вещание) ...и так же обстоит дело с жанровыми разновидностями: при взгляде на любой культурный продукт мы знаем, что он такое и по какой шкале его надлежит оценивать”.

Это — декларация западника. Далеко не все представители русской культуры легко согласились бы присоединиться к этому категорическому “мы”, что “остаемся европейцами, и следовательно, “греками”.” А. Солженицын (как и Л. Толстой с Ф. Достоевским) вызывает интерес всего мира именно в том, в чем он от этого определения отстывает. Шкала, по которой его надлежит оценивать, не разработана.

Для нас, евреев, еще меньше оснований безоглядно отождествляться с “греками”, и мы, быть может, больше других способны понять Солженицына. Однако, то понимание, о котором я говорю сейчас, отличается от бесстрастного “сократовского” понимания, упомянутого мною в самом начале. Такое новое по-

нимание могло бы включить сопереживание и соучастие... Тогда при изменившихся обстоятельствах оно неизбежно включило бы соответственно раздражение и противодействие. Быть может, это есть, по крайней мере, одна из причин, по которой Солженицын такого сочувственного понимания от нас не ждет и не хочет.

Во всяком случае остается верным, что, анализируя солженицынское отношение к миру, мы лучше познаем себя. Потому что дорога, по которой он отходит от европейского классического наследия, ведет его к Библии, источнику классическому для нас.

#### **"Нравственный закон внутри нас". Предмет.**

В "Красном колесе" ("Август 14-го", "Октябрь 16-го") тема исследования расширяется. Автор стремится проследить эволюцию всего российского общества (и отдельного человека в нем) от его "нормального", цивилизованного состояния к нынешнему, советскому. Он к тому же уверен, что такое направление эволюции угрожает всем существующим обществам, и убеждает читателя, что его исследование носит общечеловеческий характер.

Автор ищет в документах ушедшей эпохи, в частных письмах, дневниках, газетных рекламах. Он прослеживает истории отдельных семей и мировых событий. Сотни страниц уходят от сюжета, чтобы обнажить работу над источниками, развернутый комментарий, пересказ политических событий и фактов.

В непрерывающемся потоке истории он тщетно ищет тот критический момент, ту роковую, невидимую развилку, начиная с которой дальше все пошло хуже и хуже по естественным законам разложения, но до которой еще не поздно было повернуть, обуздать, разумно направить...

Его выбор Мировой войны в качестве начала отсчета и утомляющий анализ военных действий вызваны, по-видимому, не столько желанием восстановить последовательность реальных событий и тактических ходов (в основном, поражений), сколько попыткой выявить (для себя самого, быть может?) возможную меру коллективного организованного усилия, меру прочности

организованной человеческой массы по отношению к неблагоприятному стечению обстоятельств.

Он ловит признаки развала, растворения социальной ответственности, улетучивания порядочности буквально на бегу: "За двое суток, что перемальвали их полк, состарились уцелевшие: ...никто не тянулся спешить угодить команде, выполнить ее лучше, выкатить грудь. Ни одного беззаботного лица: ...там, где со смертью они сокоснулись, все обязательства службы стали слупливаться с них. Но не слупились еще настолько, чтоб и всякие команды перестали быть над ними властны. Еще и простого приказа могло достать..."

А вот немного дальше по этому пути: "Взошло солнце. Все так же никто никого не задерживал, не спрашивал. А во всех, кто ехал и шел, было новое, сразу даже не назвать: будто при оружии, при амуниции, по делу или в составе части, будто еще не бегство, еще подчиненная своим командирам армия, а уже не та: не так оборачивались на офицеров и на лица появилось выражение с в о е й озабоченности, не общего дела".

Еще дальше: "Разве только лошадь и не понимается особенность этого вида боя — бегства. Чтобы слать низших в наступление, приходится высшим искать лозунги, доводы, выдвигать награды и угрозы, а то и самим непременно идти впереди. Задача же бегства понимается мгновенно и непротиворечиво сверху донизу всеми, и нижний чин проникается ею несопротивительней корпусного командира. Всем порывом готовно отзывается на нее разбуженный, три дня не евший, разутый, обезноженный, безоружный, больной, раненный, тупоумный, — и только тот безучастен, кого уже нельзя добудиться. В ночь ли, в ненастье, единая эта идея ухватывается всеми, и все готовы на жертвы, не прося наград".

А вот уже и конец: "К вечеру 16-го уже не существовала Вторая армия, а перемешанная, неуправляемая толпа. Утром 16-го донские казаки были верной частью общероссийского воинства, к вечеру самостийно смекнули они, что своя донская рубашка к телу ближе. Дошла до них та непоправимая сдвижка частей и сдвижка в умах, после которой уже не восстанавливается армия..."

Посреди этого развала Солженицыну удается проследить так-

же и конструктивную волю одиночек, вождей, офицеров, силой своей и верностью противостоящих хаосу, разрушению, шкурничеству: "Мы, в повседневной жизни всегда руководствуясь соображениями своей сохранности, оставляем в стороне эту загадку профессиональных военных и других людей долга (как будто не из нас же получаются такие люди при твердом воспитании): как неуклонно они переходят в неестественную готовность умереть и в самую смерть, такую преждевременную и постороннюю им по планам их жизни?.. Всегда во всякой армии есть эти удивительные офицеры, в ком сгущается вся высшая возможная стойкость мужского духа".

Действительно, такие люди есть во всякой армии, и не раз в истории неудачно начатое сражение из поражения обращалось в победу (как недавняя война Йом-Кипур в Израиле, например) благодаря присутствию и самоотверженности таких одиночек.

Однако Солженицын повествует о противоположной ситуации, когда поражение наступило, несмотря на мужество отдельных людей. Его анализ носит общечеловеческий характер, и всякому человеку во всяком обществе должно быть важно знать, а когда же одного героизма не хватит? И до какой степени сам этот героизм есть естественное порождение традиции и образа жизни, предшествовавших войне? Ибо я отнюдь не уверен, что люди долга получают просто от "твердого воспитания", как мимоходом бросает автор. Похоже, и эти люди, и само воспитание зависят от господствующего настроения в стране. От духа, царившего в обществе, из которого ушли на фронт герои и трусы, будущие георгиевские кавалеры и дезертиры.

Автор верит, что в начале войны 1914 года эта основа в России была еще вполне здоровой, а общие понятия неизвращенными. Вот разговор воспитанника интеллигентской, революционной семьи, сбежавшего с позиций и бросившего свой взвод, прапорщика Саши Ленартовича с человеком долга, кадровым полковником Воротынцевым: "...на главное возвращал его Саша:

— Сейчас вы заставляете нести труп (убитого в бою командира. — А. В.), потом прикажете нести этого поручика, наверняка черносотенца...

Саша рассчитывал — полковник рассердится. Нет. Так же отрывисто, и даже будто думая о другом:

— И прикажу. Партийные разногласия, прапорщик, это рябь на воде.

— Партийные — рябь?? — поразился, споткнулся Саша... — А тогда что ж национальные?.. А мы из-за них воюем? А какие ж разногласия существенны тогда?

— Между порядочностью и непорядочностью, прапорщик, — еще отрывистой отдал Воротынцев. И внешней свободной рукой приподнял, расстегнул планшетку, на ходу смотрел то под ноги, то в карту”.

Мир, в котором можно так однозначно взывать к порядочности, нам незнаком. Ибо он основан на едином представлении о порядочности, опирающемся на общие неизменные ценности. Нам не посчастливилось застать ничего подобного.

Ответ Воротынцева обладает замечательным свойством быть одновременно банальным и очень глубоким. Банальность ответа в том, что каждая группа людей имеет тенденцию отгораживаться от неприятных им взглядов и вкусов, объявляя их носителей непорядочными и приписывая именно себе желаемую норму — порядочность.

Постаревший Ленартович, прочитав сегодня роман Солженицына, сказал бы: “Да ведь он едва ли не монархист! А я-то считал его порядочным человеком”. И в его кругу вопрос на этом будет закрыт. Как-то на московской писательской даче за водкой слышал я и противоположное: “Как можно считать Хэмингуэя порядочным человеком? Ведь он чуть ли не республиканцем в Испании сочувствовал!” И тут вопрос сразу закрылся.

Неужели нет никакого пути к пониманию между людьми?

Как профессиональный ученый, я знаю, что такой путь есть. Профессия ученого в значительной мере состоит в том, чтобы достигать взаимного понимания даже в отношении объектов, в принципе, непонятных. Этот путь нелегок.

Во-первых, необходимо хотеть понять своего оппонента. Условие, которое в жизни почти никогда не выполняется. В обычной жизни люди хотят убедить или даже победить, а не понять. В науке это условие тоже дается с трудом. В особенности, если оно сопряжено с ущербом для самолюбия.

Во-вторых, необходимо определить понятия, которыми мы собираемся оперировать, и в дальнейшем не отклоняться от данных вначале определений.

Эта последовательность и составляет главную трудность в обыденной жизни. Ибо в обыденной жизни наши понятия текучи. И неодинаковы для разных людей. Такое "простое" понятие, как порядочность, не только сильно изменило свой смысл с 1914 года, но и перестало быть (а фактически не было и в 1914 году) одним и тем же для различных групп людей.

Если в некие легендарные времена для истинного патриота и монархиста признаком непопорядочности могло бы послужить всякое отклонение от формулы "За Бога, Царя и Отечество!", не намного позже начала складываться и группа, для которой признаком непопорядочности стало всякое, хотя бы частичное, признание этой сакраментальной формулы. Не забудем, что всего через три года после описываемых событий все, что называл бы тогда Воротынцев порядочностью, было открыто провозглашено черным предательством или гнилым либерализмом.

Порядочностью мы называем упорядоченность внешнего поведения, происходящую от стойкой организации внутренней, духовной жизни. В отличие от неупорядоченного, то есть хаотического, энтропийного поведения, которое отражает только хаотичность внешнего мира, не освещенного никаким общим принципом. Такое определение предполагает, что в общественном сознании существуют некие незримые силовые линии, определяющие направления добра и зла (нравственные верх и низ), а отдельный человек имеет свой внутренний компас, чтобы узнать правильное направление, в какую бы ситуацию он ни попал и как бы сильно от желательного направления ни отклонился.

Действительно, даже вися вниз головой, человек прекрасно знает, где на самом деле верх. Другое дело, если убрать от него силу тяжести...

Таким образом необходимы, по крайней мере, два условия: внешнее — существование в обществе линий направления добра и зла, и внутреннее — душа, умеющая отличать стороны в этом пространстве, наш компас. Иммануил Кант сформулировал когда-то, что есть только два заслуживающих внимания чуда на земле: "Звездный мир над нами и нравственный закон внутри нас". По-

хоже, он имел в виду только компас, ибо направление Добра и Зла в окружающем его мире казалось ему столь же универсальным, как и законы мышления.

По мере того, как человечество все глубже проникает в одно из двух чудес, отношение ко второму повсеместно становится все более легкомысленным. Почти уже закономерно возникают сомнения, существует ли оно, это второе чудо. То есть, существует ли нравственный закон? Особенно, если мы в него не верим? Или, по крайней мере, очень слабо верим.

Нет, компас работает! И даже чувствительность его, как будто, не ниже, чем раньше... Несомненно также, что какие-то силовые линии все время пересекают наше сердце. То вдруг, ни с того, ни с сего, уступишь оппоненту, подумав некстати: "Кажется, он прав, собака!" То, ни к селу, ни к городу, врага пожалеешь. Взбредет, например, в голову: "А куда ему, болезному, податься?" Или, вопреки житейской мудрости, положишь живот за други своя... Он же сам над тобой и посмеется. Но все же ты будешь знать, что следовал линии добра.

Однако, душа устает следить за извивами самопересекающихся, петлистых линий, протянутых из разных бесконечно темных глубин в столь же темные, неведомые дали. Стрелка компаса пляшет, как бешеная, и поневоле подумаешь: а не бросить ли ее к чертям, в самом деле? — Только сбивает. Не только не успеваешь соответствовать, но и регулярно от своей немедленной пользы отклоняешься. И уж если за одной какой линией и уследишь, другая непременно протянется тебе наперерез, так что ни пройти, ни объехать ее без моральных потерь...

Похоже, тут не в компасе дело. Спутанно, неоднозначно сегодня все наше нравственное пространство. Неясно, где чьи линии. Какой именно, чей нравственный закон имел в виду кенигсбергский философ?

Какой бы закон он в виду ни имел, он подразумевал, что этот закон — один для всех. Интересно, смог бы нравственный закон его кенигсбергских сограждан сосуществовать с законом, живущим (или прозябающим) в душах современных жителей Калининграда? А ведь нам — приходилось совмещать.

С другой стороны, наш мир наверняка погибнет без единого нравственного закона. Хоть какого ни на есть.

Существование нравственности, как и определение порядочности, возможны только в обществе, в котором есть единая (и, желательно, единственная) сетка нравственных силовых линий, этих незримых координат, по которым могут ориентироваться все. Истинна эта нравственность или ложна, ее главное достоинство совсем в другом — в приемлемости для всех. Ведь земля без людей тоже ни меридианов, ни часовых поясов на себе не несет. Но если мы хотим сговориться и с кем-нибудь встретиться, независимо от того, верим ли мы во вращение земли, нам следует сверить часы и уточнить, по одинаковым ли книгам мы изучали географию. Также и если мы хотим кому-нибудь сделать добро, нам следует предварительно справиться, одинаково ли мы с ним добро и зло понимаем. Или, возможно, творя свое добро, мы разрушаем его систему нравственности. На что он не замедлит ответить, последовательно постаравшись разрушить нашу. Мы останемся оба на разоренной, возвращенной в первобытное, докоординатное состояние земле, и изо всех законов нам останется только закон джунглей.

Вот почему Библия так настойчиво рекомендует нам возлюбить всего лишь своего ближнего. А о дальнем там нет ни слова. И вправду, дальнего лучше оставить пока в покое. А то как бы чего не вышло...

Таким образом, мир потеряет свои очертания и погибнет, если перестанет существовать то, в объективное существование чего мы с трудом верим.

И наоборот, мир, возможно, устоит и спасется, если мы все поверим в то, что, может быть, само по себе и не существует.

Итак, мы сами, каждый для себя, решаем, стоять ли миру или провалиться.

Конечно, мир стоит на вере.

Для всех исторических обществ спокон веков единой координатной сеткой была религиозная традиция. Никакой иной основы для порядочности в истории еще не было придумано. Эта сетка безнадежно запутывалась всякий раз, как традиция разрушалась или почему-либо видоизменялась. И всегда это приводило к кровопролитию и разорению. Конечно, современный человек может и посмеяться над разницей между крещением двуперстием или щепотью, и другими мелочами, которые раскололи русское

общество в XVII веке, но ведь современный человек еще несколько лет назад и над разницей между шиитами и суннитами смеялся... Теперь уже не засмеется.

Религиозные войны не бессмысленны. В сущности, это единственные войны, которые имеют какой бы то ни было смысл. Люди не хотят, чтобы ощущаемые ими линии направления добра и зла пересекались и перепутывались какими-то посторонними влияниями, грозящими взорвать и разрушить простоту и ясность их картины мира и единственность нравственных координат.

Тот вакуум, что образуется на месте бывшего религиозного мировоззрения, заполняется различными идеологиями, и — единое когда-то понятие порядочности грозит расщепиться на столько различных понятий, сколько есть партий в обществе.

Идеология может и воровство оправдать, и убивать заставить. И террористы становятся порядочными в нашем обществе, и воры врастают понемногу, не говоря уж об отставных стукачах.

Общество, в котором одна-единственная порядочность расщепилась на множество разных, недалеко от того, чтобы потерять всякую. И превратиться в общество блатных... Отчасти это уже произошло в СССР.

Ведь вот, поди, угадай, какого типа порядочность есть у соседа... А жена и подскажет; пока ты со своей порядочностью будешь носиться, как дурак с писаной торбой, другие-то все и успеют. Другие-то, ведь они не то, что ты. Они не теряются. Прямо на ходу подошвы рвут.

Ответ Воротынцева прапорщику Ленартовичу означает, как будто, что единая сетка нравственных координат в ядре русского общества к началу нашего века еще существовала. Или что Солженицын очень хотел бы, чтобы она существовала.

Однако, его дальнейший текст убивает эту надежду.

Вот, спустя два года после этой сцены ("Октябрь 16-го") судьба сталкивает Воротынцева в вагоне поезда с писателем Федором Дмитриевичем Ковыневым — бывшим членом Государственной Думы: "У нас воруют и все продают, вот что страшно! На всех станциях воруют. Раньше сахару терялось в пути на вагон пуд, а теперь — тридцать пудов! Тыловое мародерство — вот что самое страшное сейчас... Страсть разбогатеть во время народного бедствия — откуда это? Безгранично бессовестная торговля, пси-

хическая эпидемия. Как будто внутренний неприятель нас разоряет. Тьма спекулянтов развелась, достают все исчезающее, особенно заграничное, — и торгуют... Вот что страшней всего: повальное устройство личных благ! Откуда эта всеобщая бессовестность в нашей стране?..

И Воротынцев почувствовал как холодный ветерок по спине: вот — страшно. Разве такая всеобщая порча — у нас была?"

Да они что, Гоголя, что ли, не читали?

По-видимому, при устойчивости сословной жизни все-таки удавалось русскому человеку в прошлом веке прожить жизнь в таком замкнутом кругу, который не давал ему оснований ощутить универсальную силу гоголевских разоблачений. Уж чего там только сатирики не напишут!

Не тем эта война была страшна, что народ потерял совесть (вряд ли потеряет ее тот, у кого она есть), а тем, что впервые перемешала все слои российского общества так, что каждый узнал каждого во всем неприглядном убожестве его. Не в гостях на даче, не за самоваром. Впервые возникла реальная необходимость прямой (не опосредованной через власти) кооперации разных социальных групп и выявилась их неготовность к этому и фактическое отсутствие солидарности.

Обывательский этот разговор завершается неожиданным по банальности (учитывая состав участников: бывший член Государственной Думы и боевой полковник) выводом: "А у нас — твердой руки нет, — жаловался Федор Дмитрич, — злодейство ненаказуемо, справедливости не восстанавливают твердо.

— О, да! О, да! Твердой-то честной власти и нужно. Твердая власть, а главное — не бездействующая. Ах, как нужна — для спасения страны!"

Вот и сговорились. Вот и подготовлена почва для пришествия Советской Власти. Уж тверже-то советской власти еще не придумано. И нельзя сказать, чтобы она бездействовала, особенно на первых порах, "для спасения страны", так сказать. Злодейство, отчасти воровство, а особенно торговля и страсть разбогатеть были наказаны с избытком, и справедливость была восстановлена повсеместно. В меру понимания наказующих, разумеется. Ну, не надеялся же писатель Ковынев в свои сорок пять лет, что наказывать, да еще и твердо, будут по его пониманию.

Таким образом Солженицын обнаружил внутреннюю подготовленность российского гражданина к будущей тирании задолго до того, как политическая свобода 1917 года увенчала собою фактический разгул социальных сил. В конце Узла второго ("Октябрь 16-го") набросана также картина беспредельного произвола и безнаказанности рабочей массы, не сдерживаемой никакой дисциплиной, никаким чувством ответственности. В известном смысле революция в русском обществе в 16-м году уже произошла. Только не всеми сразу была осознана.

В необязательном этом разговоре Воротынцева с Ковыневым можно видеть, и как поползло, поехало в обществе понятие порядочности, какие разные порядочности оказались у писателя-казака и полковника. Всего два года назад он, не задумываясь, командовал людьми и им в лицо свою порядочность выставлял, а сейчас, бросив свой полк (законный отпуск, конечно, но...), ехал в Петербург с неясным намерением соучаствовать чуть ли не в государственном перевороте.

Да отклоненный от этого намерения бурным романом, всю неделю и провел в будуаре прекрасной Ольды Андозерской, отчасти утешенный за страдания родины.

Оказалось не чуждо и ему "повальное устройство личных благ", хотя еще и не коррупция...

#### **"За Бога, Царя и Отечество!" Империя как объединяющая идея.**

Конечно, для русского патриота и православного человека призыв к порядочности во время войны с Германией много значил. И, разумеется, порядочность, надежность соседа на войне куда важнее, чем партийные и идеологические разногласия. Но вот сам Воротынцев обдумывает, как объяснить солдатам необходимость смертельного риска. Чем задеть их сердца перед боем. Что назвать им как главную, общую ценность, ради которой, быть может, предстоит и умереть:

"...Уж конечно не "честь" — непонятная барская. Уж конечно не "союзные обязательства", их не выговоришь. (И сам Воротынцев не слишком к ним расположен.) А призвать на смертную жертву именем батюшки-царя? — это они понимают, на это одно

откликнутся. Вообще за Царя — непоименованного, безликого, вечного. Но этого царя, сегодняшнего, Воротынцев стыдился — и фальшиво было бы им заклинать.

Тогда — Богом? Имя Бога — еще бы не тронуло их! Но самому Воротынцеву и кощунственно и фальшиво невыносимо было бы произнести сейчас заклинанием Божье имя — как будто Вседержителю очень было важно отстоять немецкий город Найденбург от немцев же. Да и каждому из солдат доступно догадаться, что не избирательно Бог за нас против немцев, зачем же их такими дураками ожидать?

И оставалась — Россия, Отечество. И это была для Воротынцева — правда, он сам так и понимал. Но понимал и то, что они не очень это понимали, недалеко за волость распространялось их отечество, — а потому и его голос надломило бы неуверенностью, неправотой, смешным пафосом — и только бы хуже стало. Итак, Отечества он тоже выговорить не мог”.

Здесь больше высказано о причинах гибели Российской империи, чем вместил бы научный трактат.

Полковник Воротынцев, человек долга, благородного происхождения, надежда России, не может выговорить традиционную формулу, с которой жила Россия в течение столетий. “За Бога, Царя и Отечество!” не произнесут его губы перед солдатским строем. Таким образом прежде, чем разрушатся эти понятия в сознании русских солдат, распалось их сложное единство в умах их офицеров.

В конце концов Воротынцев так и не смог найти со своими солдатами никаких общих понятий, кроме обыкновенного фронтowego товарищества:

“...Приняв “смирно” и отдав “вольно”, стал говорить не звонко, ...не рывкая, а с той же усталостью, ...как они себя чувствовали, как и сам бы еще до конца не решив дела:

— Эстляндцы! вчера и третьего дня досталось вам. Одни из вас отдохнули, другие и нет. Но так смотрите: а третьи... легли. На войне всегда неравно, на то война... — Братцы!.. — Нам до России недалеко, уйти можно — но соседним полкам тогда сплошь погибать. А после — и нас догонят, не уйдем и мы... — надо загородить! надо поддержать до вечера! Больше никому, только вам”.

Ничего не скажешь, идея хороша... Но она способна сплотить и дезертиров. Такая идея не сможет помешать будущему братанию с немцами. А что, собственно, могло бы еще помочь?

В понимании чести он солдатам отказывает, сам пренебрежительно называя ее "барской" и ставя мысленно в кавычки... Может быть, и — зря?!

Но трудно ожидать серьезного отношения к чести от солдат, если уж офицер заключает это слово в кавычки. И барского своего происхождения как бы стесняется. Это значит, что он своего природного права на лидерство не сознает.

Царя, своего царя он стыдится. По-видимому, потому, что знает о нем нечто, о чем народ его не ведает. Но ведь и это — зря. Как монархист, либо должен он знать также и нечто, что делает несущественными царские грехи и несовершенства (как романтически учит профессор Андозерская в "Октябре 16-го"), либо, не будучи в силах ничего изменить, верить судьбе вместе со всем народом (как генерал Нечволодов в "Августе 14-го"). А то ведь народ, рано или поздно, догадается, что у полковника на уме. И уж тогда с ним не сладишь.

"Союзных обязательств" Воротынцев тоже не уважает. Этого почти уже можно было ожидать после того, что говорилось о чести. Но, оказывается, он не верит и в то, что Бог за Россию в той войне. Ведь это, иными словами, значит, он не верит, что их война справедливая...

Возможно ли вести людей на смерть в таком случае? Для профессионала, технаря, хладнокровно делающего свое дело, конечно, возможно. Но Солженицын предварительно убедил нас, что Воротынцев не таков, что у него горячее сердце... Ах, да! Отечество, Россию любит он беспредельно, да — вот беда — они не поймут... "Недалеко за власть распространялось их отечество". То есть Финляндию, Польшу и Среднюю Азию оно не включало.

Где же эти общие для всех координаты? На чем держится его собственная порядочность? Чем так близок он своему народу и отечеству?

Ведь вот и подпевать своим солдатам во время панихиды по любимому командиру и герою, полковнику Кабанову, ему трудновато ("Август 14-го"). Забыл полковник церковную службу... Ну, естественно, он ведь вполне современный человек.

И совсем нерелигиозный... Но тогда, в чем же его принципиальное отличие от рационалиста, головастика Ленартовича? Почему он так уверенно о порядочности говорил и даже на ходу смотрел в карту? Что он там такое видел?

Координаты-то все уж давно безнадежно были перепутаны. При перепутанных координатах и вывернутых понятиях уверенная линия Воротынцева становится не лучше приспособительного рыскания Ленартовича... Как только теряет Воротынцев возможность говорить от имени традиции, теряет он и свое моральное первенство. А следом за ним и авторитет. И внутреннюю уверенность: "Когда все разрушается — как же верно: действовать? не действовать?"

Я не знаю, почему Солженицына обвиняют в монархизме. Никто убедительнее его не показал, как правящая элита в России (и лично Николай II) последовательно разрушили все основания преданности трону у среднего командного звена, от которого и зависело существование Империи. Как неумело и расточительно растратила правящая династия все народные ресурсы, материальные, духовные и людские, как неблагодарно обращалась со своими спасителями (вставная новелла о Столыпине — "Август 14-го"). То, что в описании всего этого Солженицын сохраняет за царем и его семьей человеческую симпатию, только подчеркивает беспощадность его анализа и делает ему честь, как писателю. Все-таки он пишет роман...

Однако, как философ истории, Солженицын думает, что монарх был узловой точкой в единой системе нравственных координат, спланировавших Россию. И если это было действительно так, Николай II не выполнил своей миссии. В романе это может быть прочитано как его вина. Вместе с тем не забудем, что автор — верующий христианин и при всем своем активизме, даже некотором материализме видения, не может думать, что судьба великого царства решилась ошибками одного человека, хотя бы и Государя. Его текст допускает, что и сами эти ошибки были предопределены свыше, и царь выступает тогда скорее как жертвенный агнец Божьего промысла, чем как действующий от себя самодержец: "В чем же тогда цель этого несчастного помазания? Чтобы Россия безвыходно погибла? ... — Вот это нам — не

дано, — почти шепотом ответила Ольда Орестовна. — Поймется со временем. Уже после нас”.

Время понимания, очевидно, не наступило еще и сейчас. Но наступило, по Солженицыну, время опять натянуть общую координатную сеть. Такую, которая сможет объединить весь народ, включая вчерашних смертельных врагов. Такую, чтобы партийные разногласия могли снова казаться “рябью на воде”.

В такой сети нет, конечно, места самодержцу как человеку, но вероятно остается место для многих древних символов. Да и как без исторической мифологии покроешь единой сетью всю ту необъятную историческую общность “от молдаванина до финна”, которая называлась когда-то Россией и действительно связана до известной степени внутренними силами сцепления? Однако “от края и до края” полную также и скрытым внутренним взаимным отталкиванием.

Никто не заподозрит и меня в монархизме, если я скажу, что триединство “Бога, Царя и Отечества” очень дальновидно было задумано.

По отдельности и Бог, и Царь, и Отечество для множества населявших Россию народов означали совершенно разные вещи. Для татарина, скажем, Бог останется иным, чем для русских, даже если с Царем и Отечеством он смирится. Для поляка проблему составляли уже и Бог, и Царь, потому что польский патриот не может признать раздел Польши законным. Для еврея, не говоря о Боге и Царе, даже и Отечество при определенном толковании становится проблематичным.

Слитная формула железным обручем охватывала их всех.

Практическая лояльность Российской Империи требовала принять всю формулу слитно, так что законопослушный гражданин автоматически, не рассуждая, принимал и пиетет по отношению к общим для всей империи ценностям.

Так было заведено еще в Римской Империи и с тех пор во всех последующих. Эта официальная формула, пока она не подвергалась анализу, и соответствующий ей пиетет в России действительно долгое время служили скрепой, меткой для многих поколений, указывающей направление гражданского мира, гарантирующей общественное спокойствие.

Однако, со временем гражданский мир все чаще нарушался. Общественное спокойствие и личная безопасность граждан, принадлежащих к периферийным группам, оказывалась все менее обеспеченной. Во всяком случае несоизмеримой с их возросшими требованиями.

В "Августе 14-го" очень живо рисуется сцена конфликта поколений в еврейской семье Архангородских. Читатель может увидеть, что к началу века не только гражданский мир и общественное спокойствие уже были необратимо нарушены, но даже и примирительная позиция, как таковая, перешла к глухой обороне, похожей больше на безнадежные арьергардные бои:

"— Папа!! — воскликнула дочь с призывом возмущения. — Ты можешь ничего для революции не делать, ...но так говорить о ней — оскорбительно! недостойно!.. Стыдно! Вся интеллигенция — за революцию!

Илья Исакович стал говорить настойчивее:

— ... Это — безответственно! Я вот поставил на юге России две мельницы, паровых и электрических, а если "сильнее грянет буря" — сколько из них останется молот?.. И что жевать будем?

...Соня крикнула с надрывом:

— Оттого ты и манифестировал вместе с раввином свою преданность монархии и градоначальнику, да? Как ты мог? Как тебя хватило?..

Илья Исакович погладил грудь, покрытую салфеткой:

— ... Живя в этой стране, надо для себя решить однажды и уже придерживаться: ты действительно ей принадлежишь душой? Или нет?.. Если нет — можно ее разваливать, можно из нее уехать... Но если да — надо включиться в терпеливый процесс истории: работать, убеждать и понемножечку сдвигать...

...Соня кричала все, что накопилось:

— Живя в этой стране!.. Из той милости, что ты — личный почетный гражданин, а кто к образованию не пробился — пусть гниет в черте оседлости! Назвал дочку Софьей, сына Владимиром, и думаешь, тебя в русские приняли? Смешное, унижительное, рабское положение! — но хотя бы не подчеркивать своего преданного рабства!.. Какую ты Россию поддерживаешь в "беде"? Какую ты Россию собираешься строить? Патриотизм? В этой стране — патри-

отизм? Он сразу становится погромщиной! ...А вы у царского памятника поете “Боже, царя”?

Илья Исакович даже губы закусил, салфетка вывалилась из-под тугого воротника.

— И все равно... и все равно... Надо возвыситься... И уметь видеть в России не только “Союз Русского Народа”, а...

Воздуха не хватало...

— Черная сотня! — кричала Соня... Черной сотне ты кланяться ходил, а не родине! Мне стыдно!”

Здесь сложность не в том, что нервной Соне стыдно. Аргументы Ильи Исаковича вполне убедительны. Сложность в том, что, несмотря на вескость своих аргументов, стыдится сам Илья Исакович и потому не может сохранить спокойствие в споре. В чем же дело?

Почему сколько-то лет назад так все легко обходилось, а тут вдруг стало — невозможно? Ведь раньше и “Боже, царя” пели, и в армии служили, и даже молебны за царя отставали, а тут вдруг — стыд? Отчего бы это?

А от анализа.

Если вдуматься в формулу “За Бога, Царя и Отечество”, обнаружится, что это то же, что “Православие, Самодержавие и Народность”; то есть — за православную церковь, русского царя-законодателя и за общее с Россией, имперское культурное отечество, то есть руссификацию. При у з к о м понимании этой формулы сюда даже православие старообрядцев не входит, как мы видим из сцены отказа солдата-старовера перед смертью от причастия у полкового священника (“Октябрь 16-го”).

Еще менее совместимы с этой формулой различные национализмы. Категорически несовместимы — иные исповедания. Наконец, невозможно представить себе лояльного еврея, который примет для себя эту формулу всерьез.

Вообще, если пытаться п о н и м а т ь эту формулу, неизбежно одни будут понимать ее слишком узко, а другие — слишком широко. Такие формулы создаются не для понимания, а для вдохновения и повинования. Но если уж кого-то эта формула не вдохновляет, а у государства нет больше силы принуждения, лучше оставить его в покое и предоставить собственной судьбе.

Предки Ильи Исаковича свободно могли подпевать “Боже,

царя”, не вникая в смысл, полагая, что по темноте их и низкому общественному положению Бог непременно простит. Но самому просвещенному Илье Исаковичу, хотя уже и без Бога, невозможно в этот смысл не вникнуть и не поежиться, если не за себя, то за других.

В течение столетий Российская Империя (как и Римская в свое время) включала по мере роста не только наивных варваров, которые легко перенимали господствующие представления или просто мирились с фактом. Все больше твердых культурно неразстворимых групп осложняли единство Империи и создавали психологическую основу для будущего разрушительного плюрализма.

Развесив по пространству свои разноцветные координатные сети, создали они пестрый соблазняющий выбор, уловляющий человека, не целиком поглощенного собственной традицией. Сугубо национальная, православно-русская имперская формула превратилась в первую и наиболее легкую мишень для рационалистической критики. И вскоре оказалось возможным существование обширных кругов, порядочность которых уже не включала имперского патриотизма.

Из переписки А. Пушкина с П. Вяземским, например, мы узнаем, что еще в 1830 году можно было сочувствовать польскому восстанию и оставаться в высшей степени порядочным в глазах русского образованного общества. А в 1863-м в иных кругах уже нельзя было и считаться порядочным, не сочувствуя ему. Многие русские интеллигенты уже тогда оказались в положении Ильи Исаковича.

Представления о порядочности не помешали русским писателям романтизировать Шамиля и сопротивление кавказских горцев. А еще через небольшое время порядочность уже почти требовала от них сочувствия евреям в их униженном положении. Еще Николай I понимал, какую грозную духовную опасность имперским ценностям представляют евреи, замкнутые в своем последовательном, отличном от всего окружения, мировоззрении, и задумывал широкую программу их “перевоспитания”. Вместо этого, однако, напротив, произошло перевоспитание русского образованного общества, принявшего к сожалению еврейскую проблему гораздо ближе к сердцу, чем можно было ожидать

(и в положительном, и в отрицательном смысле). Сочувствие евреям превратилось почти в такую же императивную формулу, как "Бог, Царь и Отечество", разделив общество на враждующие лагеря, взаимно третирующие друг друга за непорядочность. Евреи, как раньше поляки и горцы, имели к этой борьбе лишь косвенное отношение, используя в меру своего цинизма существовавшую в обществе тенденцию.

Со всем этим отягощающим грузом в костях Российская Империя вступила в величайшую в истории человечества войну против двух других империй, не озаботившись предварительно навести порядок в собственном доме. Не потрудившись приискать какой-нибудь другой общий интерес и связав существование Империи с русским государственным патриотизмом и православием, правящая элита закономерно поставила под удар и русскую государственность, и русские национальные интересы, и православие, в конце концов.

**"Люблю Отчизну я, но странною любовью". Новая общая сеть?**

"Люблю Отчизну я, но странною любовью!" — наивно написал юноша Лермонтов:

"Ни слава, купленная кровью,  
Ни полный гордого доверия покой,  
Ни темной старины заветные преданья  
Не шевелят во мне отрадного мечтанья".

Не любил он, одним словом, почему-то, ни Империи, ни военно-патриотической мифологии, неизбежно связанной с ее существованием. И сам считал это странным, ибо еще не было это принято в его кругу.

Он, напротив, любил:

"проселочным путем скакать в телеге,  
И взором медленным пронзая ночи тень,  
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,  
Дрожащие огни печальных деревень".

Странно ли это? По правде говоря, совсем наоборот. Если в самом деле любить “ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее, подобные морям”, вряд ли потянет в Польшу, в Среднюю Азию, а там и в Китай. Однако, далеко не всем так кажется.

Как-то, отдыхая в Коктебеле, я выслушал лекцию националистически настроенного писателя (Олега Михайлова) о полководце Суворове. Суворов, оказывается, победил турецкого султана, в результате чего Крымское ханство было разгромлено, и победоносные русские войска заняли Крым. “Вот, благодаря этому замечательному полководцу, мы и имеем теперь возможность наслаждаться красотами Крыма”, — мягко закончил он свою содержательную лекцию.

Наконец-то я понял, что помешало мне наслаждаться также и красотами Швейцарии. Преданный австрийцами Суворов, хотя и по-прежнему победоносный, вынужден был отступить из Швейцарии и вообще из Европы. Однако, замечание Михайлова вовсе не было юмористическим. Он искренне верил в то, что говорил.

Русский национализм, в отличие от других, местных национализмов, содержит в себе непримиримое противоречие, поскольку это национализм имперской нации. Желая непосредственного блага своему народу, он должен был бы стремиться избавиться от непосильного бремени великодержавного участия в мировой политике и опеки над бесчисленными этническими меньшинствами. Естественнее всего беречь прежде всего своих людей и благоустраивать свою землю.

Однако, эстетическая и историческая привлекательность имперского величия толкает писателей и идеологов на фактическое забвение прямых интересов своего народа ради вне его расположенных, зачастую мнимых, но иногда очень реальных целей. Да и кто определил, что прямые интересы — самые насущные?

Для разных групп населения Империи соотношение прямых и косвенных интересов выглядит по-разному. А какая именно группа вернее всех представляет народ? И в чем именно их польза? Не повторять же вслед за Лениным, что русский народ выигрывает от поражения царизма в войнах?

Мне в Москве один офицер так исповедовался: “Посылают меня в Чехословакию. А, думаю, да зачем это мне нужно! Не под-

лец же я, в самом деле. — С другой стороны — двойной оклад, то, се. Быстрое продвижение. Хочется, понимаешь, за границей пожить. Прибарахлиться. Ну, не дурак же я. Такой шанс упустить! Что, на мне одном это все, что ли, держится? Другого они, что ли, на мое место не найдут?”

И этот прибалтийский офицер тоже принадлежит к русскому народу.

Первая мировая война разрушила все три континентальные империи, но если Германия и Австрия остались все же Германией и Австрией, России логикой событий пришлось отчасти перестать быть Россией. СССР в годы своего образования действительно Россией не был. Эта национальная травма не изжита до сих пор. Теперь Россия, как официальная, так и диссидентская, каждая по-своему, берет некий реванш, для будущего страны небезразличный.

Советский Союз в свои первые годы Россией не был, но империей быть не переставал. Логика Империи очень скоро создала и Императора, а за ним и имперский народ, “первый среди равных”. Под модифицированным лозунгом — “За Родину, за Сталина!” — наше бывшее отечество было распространено далеко за волюту. Завоевана, наконец, и Восточная Пруссия и подобно Крыму теперь уж сорок лет заселена русскими людьми. Что же теперь русскому националисту, желать их изгнания?

Русский национализм, в высшей степени естественный после десятилетий унижения, тем не менее не имеет сейчас никакого комфортного выхода вне укрепления Империи. Все народные силы уходят на Империю, ее охрану и управление. Но все блага теперь тоже поступают через нее. Даже и хлеб поступает уже не изнутри России, а снаружи.

За прошедшие десятилетия русский народ в своей значительной части (и по человеческим качествам, может быть, нехудшей) превратился в многомиллионное служилое сословие, пронизавшее все поры Советской Империи. Миллионы русских людей живут теперь в Прибалтике, в Крыму, на Украине, на Кавказе и в Казахстане.

Их общая система координат — государственная служба.

Поневоле станешь тут блатным. С волками, как говорится, жить...

“Что такое государственная служба? Это — самая устойчивая из служб и самое выгодное из занятий, если его правильно понимать. Государственная служба это — осыпавшее нас расположение высших лиц и постепенное наше к ним возвышение. Это — поток лестных наград и еще более приятных денег, иногда и сверх жалованья” (“Август 14-го”).

К этой иронической характеристике государственной службы в царское время следует теперь добавить еще одну немалую деталь: почти никакого больше занятия для советского человека и нету, так что выбор его — между государственной службой выгодной и легкой и государственной службой тяжелой и невыгодной. Завоешь тут по-волчьи.

Отечество их теперь распространяется уже не только на Тамбовскую губернию. Меньше всего, пожалуй, на нее. Ибо в ней почти нет места для службы. А служба идет там, куда пошлют... Что с того, что они заняли место репрессированных, наполовину истребленных народов? Их дети уже родились на этих землях. Вернуться в прежние пределы без кровавых эксцессов новой революции они не могут. А может быть, уже и не хотят.

“Фотографий — нет, и тем горше жаль, что с тех пор сменился состав нашей нации, сменились лица, и уже тех бород доверчивых, тех дружелюбных глаз, тех неторопливых, несебялюбивых выражений уже никогда не найдет объектив”, — ностальгически вздыхает Солженицын. И, хотя бороды в последние годы уже отрасли, доверчивых, дружелюбных и несебялюбивых выражений от новых поколений ожидать не приходится...

Нечто подобное за те же годы произошло и с евреями. Будучи еще радикальнее денационализированы, практически уничтожены, как народ, они превратились в социальную группу, расселенную в больших городах, “прослойку, обслуживающую господствующий класс”. Уж тут “неторопливых, несебялюбивых выражений” не жди. К счастью для евреев их служба, видно, кончается. Империя может обойтись без них. И уже обходится, в значительной степени. )

“Любовь к народу бывает разная и разно нас ведет”, — отмечает Солженицын в своем очерке земского движения (“Август 14-го”). Должны ли мы, исходя из своей любви к еврейскому народу, печалиться, что им нет больше места в Империи? Должен

ли Солженицын радоваться, что для русских молодых людей открываются вакансии? Должен ли он сочувствовать их государственным успехам?

Любовь к своему, родному, побудила когда-то Солженицына написать поэму в прозе "Матренин двор" и повсеместно хвалить писателей-деревенщиков. Однако, эта любовь не сделала "деревенщиком" его самого. Деревенский народ в России давно не составляет большинства и уже не может служить твердыней традиции или носителем моральных ценностей, которые когда-то основывались на их прочной связи с почвой, обладании землей. Отобрали у них землю, вырвали из почвы. Едва ли они не стали более блажными, чем горожане. Свободы-то у них ведь еще меньше, чем в городе.

Притяжение великой универсальной культуры, обаяние исторического величия Империи тянут в сторону от всякого областного патриотизма к общим проблемам. А это значит и к общим бедам: напряженной жизни больших городов, соревнованию честолюбий и коррупции, войне, политике, классовой и этнической розни.

Из двух тысяч опубликованных страниц солженицынского романа не намного больше сотни посвящены деревенским идиллиям. Не больше, чем доля населения, занятая в сельском хозяйстве в современной развитой стране. И не меньше, чем необходимо для националиста-почвенника в его трудном положении.

Нелегко бы пришлось мне, если бы я поставил себе задачу исчерпывающе охарактеризовать своеобразие новой координатной сети, исходящей от пера Солженицына. Ведь не для того же пишет он свои тысячи страниц, чтобы их легко было подытожить в одном абзаце. Не для того и изощряется в языковых поисках, чтобы позволить свести свой труд к двум-трем банальностям, охватывающим его взгляды рациональной формулой. Он стремится разветвить корни своего повествования так широко, чтобы самые отдаленные ветви сегодняшнего российского дерева ощутили свою сродненность через это общее прошлое. И путь этот не закрывает ни для раскольника, ни для сектанта, ни для украинца, ни для еврея, если они испытывают тот же почтительный трепет листа к основному стволу, который кажется ему столь

естественным в России, единой и неделимой. Неделимой не только в пространстве, но и в истории...

Однако, неделимая эта Россия, Родина, Отчизна, Отечество, не только в смысле старой имперской формулы, но и в более широком и благородном смысле, существует сегодня лишь разобщенно и расколото в мыслях разных по характеру и убеждениям людей. Солженицын пытается связать все эти разные в сущности картины во взаимно-дополняющееся, фантастическое по сложности соборное единство.

Ведь новая координатная сеть, по мысли Солженицына, должна вернуть порядочность его народу. Точнее, ввести такое понятие о порядочности, которое вернет народу самоуважение и объединит не только друзей, но и врагов. В том смысле, что предмет своей вражды они будут рассматривать в пределах той же нравственности, на одной морально-географической карте. Тут без противоречий не обойдешься. Противоречивые сочетания часто живут дольше простых. Парадоксальная реальность достовернее, чем умпостигаемая.

Поэту Солженицын не боится компромиссов и логических неувязок. Оставаясь политическим агностиком, он верит, что естественное развитие само определит политические формы без всякого предварительного замысла. Основания для своего оптимизма он черпает из исторического прошлого:

“Кто это смеет возомнить, что способен придумать идеальные учреждения? Только кто считает, что до нас... ничего не было важного... Лучший строй не подлежит нашему самовольному изобретению. Ни даже научному... Не заноситесь, что можно придумать — и по придумке самый этот любимый народ коверкать... Связь поколений, учреждений, традиций, обычаев — это и есть связь струи”.

Хотя это высказывается в 1914 году персонажем, еще не знавшим, что струя в ближайшем будущем прервется, относится это конечно к сегодняшнему дню и обращено к народу, который коверкали уже не раз. Вероятно, будут и впредь. Писателю, безусловно осуждающему историческую заносчивость революционеров, приходится теперь принимать их наследие, как несомненный исторический факт.

Римская Империя достигла величия ценой рассеяния, развраще-

ния и гибели своего народа, превращения его в привилегированное сословие. Советская Империя не прочь повторить этот исторический прецедент. Русское происхождение уже практически превратилось в привилегию во многих отраслях, но у Советской власти нет пока идеологических средств закрепить это положение. Поэтому русский национализм сейчас балансирует на лезвии ножа. Он может превратиться в средство имперской политики, как это ни трудно в многонациональной Империи. Но с равным успехом он может превратиться в средство отступления от этой имперской политики: в оправдание отказа от мировых авантур и вопиющих захватов. Ибо при настоящих советских условиях такой отказ требует оправдания.

Для службиста русский национализм превращается в оправдание его службы.

Для диссидента он становится стимулом к отказу от этой службы.

И тот, и другой не обойдутся теперь без ссылок на Солженицына. Он один пытается натянуть ту общую сеть координат, в которой те и другие, возможно, сумеют понять друг друга. Служители власти, работающие в цеховских кабинетах, штабах и научно-исследовательских институтах, и властители дум, работающие истопниками и дворниками в московских и ленинградских подвалах. Может быть, и наступит час, когда они согласятся считать свои разногласия "рябью на воде", и это будет для Солженицына час победы. Но эта победа так смутно еще различима! Национальное согласие так хрупко и зависит от такого множества тонких деталей, вымученных компромиссов и недоговорок, что один скептический взгляд может разрушить все здание.

Вот почему Солженицын и не зовет за собою никого из тех, кто может с сомнением отнестись ко всей сети, вывязываемой им из исторического прошлого, видимого под очень определенным прагматическим углом. Это относится к нашему брату-еврею в первую очередь, но, быть может, и не только к нему.

Прошлое, которое воссоздает Солженицын в "Красном колесе", пронизано деталями, выстраивающимися в картину, близкую только сердцу сочувственно настроенного патриота, но способную вызвать открытое возмущение скептика.

“Вышел на трибуну тифлисец Зурабов и хужейшим русским языком стал поносить русскую армию в общем виде, изгаляться над ее военными поражениями — что она всегда была бита, будет бита, а воевать прекрасно будет только против народа”.

Грузин Зурабов наверное был бы потрясен, если бы оценил это требование — говорить чистым русским языком. Он жил в пределах Российской Империи не в гостях. Его поношение русской армии могло бы рассматриваться как национальное оскорбление только, если бы грузины не служили в этой армии. Если же они обязаны были служить, его негодование по поводу бесчисленных поражений в малоосмысленных войнах, вроде Русско-Японской, не менее оправдано, чем негодование по тому же поводу, высказанное самим Солженицыным прекрасным русским языком:

“С первого же сражения мелькают русские генеральские знаки как метки непригодности, и чем выше, тем безнадежней, и почти не на ком остановить благодарного взгляда...”

Да Зурабова бы за такую фразу в клочки разорвали! Видно, не в том дело, что сказано, а в том, кто сказал.

Эта картина прошлого призвана донести до современного русского человека благую весть об общей истории, в которой не стыдно ему будет встретиться с бывшим противником. С подлинной симпатией описывает Солженицын рабочего-большевика А. Шляпникова, подчеркивая, что революционерство его связано с его происхождением из раскольников: “А что за вид был у Саньки в семнадцать лет, еще до первой одиночки, ...до Владимирского централа, еще когда совсем не был революционер: в косоворотке провинциальной..., а руки беспокойно просятся в дело... И глаза — к подвигу, к вере.

А вера та была — древле-православная. Она еще гналась тогда, и за нее стеной стояли истинно православные, и, как все, готов и Александр был — умереть.

...Александр пошел в с.-д. Как будто все другое, а гонители, а враги — те же самые...”

Русский, стало быть, на ш, и вера его фанатическая, и заблуждение, и соблазн (“...рад госпоже, что меду на ноже”) — все на ш е.

Но и не наши — тоже люди. И — нет, как будто, правых в ожесточенных людских спорах, а — виноваты все...

“Допустить, что не вся мировая истина захвачена нами одними. Не проклянем никого в “меру его несовершенства”.”

И сегодняшний русский человек, который смертельно устал от марксизма, навязанного ему отцами, должен ощутить, что прошлое его не позорно. Что отцы, хотя и ели кислый виноград, но вечного проклятия на них нет. Дорога назад, в общее лоно, для них свободна...

Было! Было затмение: “Это — смертельная болезнь: помутнение национального духа. Если образованный класс восхищался бомбометателями и ликовал от поражений...? Это уже были не мы, нас подменили, какое-то наслание злого воздуха. Как будто в какой бездне кто-то взвился... и закрутился, и спешит столкнуть Россию в пропасть... Тут есть какой-то мировой процесс. Это — не просто политический поворот, это — космическое завихрение. Эта нечисть, может быть, только начинается с России, а наслана — на весь мир”.

Так, может быть, все же избрана Россия? Этот взволнованный монолог рыцарственного монархиста, генерала Нечволодова, уравнивается, однако, спокойной кроткой вдумчивостью Сани Лаженицына (“Октябрь 16-го”): “В этом проигранном мировом положении — зачем каждое исповедание настаивает на своей исключительности и единственной правоте? И православные, и католики. И вообще христиане?.. Как же можно предположить, чтобы Господь оставил на участь неправовера все дальние раскинутые племена?.. И те народы обречены на вечную тьму лишь потому, что не перенимают превосходную нашу веру? Христианин — разве может так понимать?”

Может, конечно. Вот и еще от Нечволодова: “Вся русская жизнь — в духовном капкане. Три клейма, три заразы подчинили нас всех: спорить с левыми — черносотенство, спорить с молодежью — охранительство, спорить с евреями — антисемитизм...”

Ну, дались им евреям!

Спорить можно только с одним евреем или с еврейской организацией. Спорить с евреями, будто все евреи заодно, — это действительно антисемитизм.

И — с молодежью спорить, конечно, охранительство, хотя и не

всегда им во вред. Но, главное, — как же можно спорить с молодежью огулом, со всеми, — ведь им жить после нас.

Наконец, левые, разве все они одинаковы? Разве между эсерами и социал-демократами не было никакой разницы? И так уж мало от них отличались кадеты? Не политический ли это дальтонизм?

Да. Русская жизнь и впрямь была (и есть) в духовном капкане — капкане поспешных радикальных суждений, неудержимых антипатий, философских общих мест и неоглядной решимости, присущей только людям, никогда не изведавшим реального политического опыта жизни среди равных. Этот капкан многие годы и был их теоретической координатной сетью, как проникновенно показано в замечательном сборнике "Вехи", подытожившем целую эпоху русской жизни и сейчас остающемся актуальным.

Трудно предвидеть, привнесет ли одинокий подвиг Солженицына долгожданную зрелость суждений в русские споры или просто добавит еще один радикальный рецепт. Координатная сеть, которую он натягивает, далека от завершения, но и с первых штрихов видно, что она далека от простоты. Однако, писатель лишь отчасти может направлять внимание и понимание читателя. И сеть, которая натянется в умах миллионов его последователей, вряд ли будет той самой, которую лелеял он в своей душе. Мы можем только пожелать, чтобы и она не превратилась в новые силки для русского духа.

Еще труднее предвидеть, приведет ли эта дорога русских людей к лучшему пониманию и сближению с другими цивилизованными народами или станет новым путем к отчуждению от человечества. Литературная манера и подход Солженицына взламывают непроницаемую корку советского изоляционизма и дают путь к общечеловеческим ценностям. Но и изоляционист найдет у него достаточно оснований для национального обособления и гордыни.

Как это ни странно звучит, я думаю, что израильтянин может найти у Солженицына очень много необычайно важного для себя, если он сумеет преодолеть первый барьер непонимания, связанного с различием исторического опыта. Проблема общих ценностей и основанного на них самоуважения — проблема проблем

в нашем обществе, составленном из десятков групп разной культурной ориентации. Народ наш велик не числом, но многообразием. Пример аналогичной задачи, взятой на себя одним человеком, много дает для понимания наших трудностей. Мне жаль, что нет у нас великого человека, который дерзнул бы взвалить на себя такую ношу. Большинство наших писателей стараются разрушить у нас разные наши предрассудки. Когда выяснится, что общая сумма этих предрассудков составляет почти все, что объединяет нас в народ, может оказаться уже поздно придумывать новые рецепты. Но вместе с тем я рад, что творческую зада-

\* \* \*

Я, конечно, не рассчитывал исчерпать значение для нас Солженицына в одной статье. Я, например, ничего не сказал о тех новых элементах, которые отличают его как от прешествовавшей ему русской литературы, так и от всей западнохристианской и еврейской традиции. Но к этому я надеюсь вернуться в своих следующих статьях.

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**

**ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА**

**АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ**

**"ПО ТУ СТОРОНУ УСПЕХА"**

Новая книга известного ученого и публициста, автора "Трепета иудейских забот", посвящена возрождению еврейского национального сознания в России, встрече с политической действительностью современного Израиля, осмыслению сегодняшних еврейских проблем. Статьи разных лет, собранные в этой книге — от аутентичных самиздатских материалов до последних публикаций в израильской печати, — объединены стремлением понять скрытый смысл еврейского существования и предназначения в истории и дают читателю со вкусом к этим вопросам бесценный материал для раздумий.

300 стр.

16 долларов

## СУДЬБЫ ИДЕЙ

*Всемирно известному польскому фантасту Станиславу Лему исполнилось 65 лет. К этой дате был приурочен специальный выпуск международного журнала "Исследования по научной фантастике", целиком посвященный творчеству Лема. На Западе и в Польше вышли две новые повести Лема "Мир" и "Фиаско", а также сборник его эссе "Библиотека XXI века". Мы предлагаем читателю сокращенный перевод одной из статей этого сборника "Одна минута". Как и предыдущая наша публикация Лема, эссе "Провокация", эта статья написана в жанре "рецензии" на несуществующую, вымышленную Лемом книгу вымышленных авторов. Пользуясь этим приемом, Лем разворачивает собственные замыслы и ставит интересные вопросы.*

—  
Станислав Лем

### ОДНА МИНУТА

(Дж. и С. Джонсоны, "Одна человеческая минута", "Мун паблишерз", Лондон—Маре Имбриум—Нью-Йорк, 1985).

*(публикуется с сокращениями)*

Эта книга рассказывает о том, что все на свете, вместе взятые люди совершают в течение одной минуты. Так говорит предисловие. Поразительно, что такой замысел никому не пришел в голову раньше. После "Трех первых минут Космоса", "Космической секунды" и "Книги рекордов Гиннеса" он напрашивался сам собой — тем более, что все эти книги стали бестселлерами, а ничто так не возбуждает нынче издателей и писателей, как возможность создать книгу, которую совершенно не обязательно читать, но абсолютно обязательно у себя иметь. С появлением этих книг концепция "Одной минуты", в сущности, была готова, она, что называется, валялась на улице и оставалось только ее подобрать...

Известно, что издатели ничего не страшатся так, как необходимости издавать книги: в книгоиздательском деле давно уже в полной мере действует так называемый "Закон Лема": "Никто ничего не читает; а если читает — не понимает; а если понимает — тотчас забывает", — порожденный всеобщим недостатком времени, чрезмерной затоваренностью рынка и сверхсовершенством нынешней рекламы. Поскольку реклама с чудо-

вищной эффективностью приписывает совершенство всему, что рекламирует, то и в отношении книг — любой книги! — человек ощущает себя так, словно его соблазняют двадцать тысяч “Мисс Вселенной” одновременно; и вот, неспособный выбрать ни одну, он пребывает в состоянии неудовлетворенной любовной готовности, как осел между двадцатью тысячами охапок сена... Зачем мне читать, о чем говорят особи разного — а то и одинакового — пола перед тем, как пойдут в кровать, если они ни слова не говорят о тысячах других, быть может, — куда более интересных особях или, на худой конец, таких, которые делают то же самое куда более изобретательно? Следовало, стало быть, написать книгу о том, что делают Все Люди Одновременно, чтобы нас перестало, наконец, томить ощущение, что мы читаем ерунду, меж тем как Нечто Существенное происходит Где-То Там...

Хоть это вроде всем более или менее известно, мы, как правило, не очень задумываемся над тем, что на земном шаре каждую минуту сосуществуют все времена года, все климаты и все часы дня и ночи. Эта банальная истина как-то не вполне нами сознается — может, потому, что мы не знаем, что с этим фактом делать. Понукаемые к тому электроны, стремительно облизывая экраны телевизоров, ежевечерне показывают нам мир, рассеченный на части и втиснутый в “Последние известия”, чтобы оповестить, что произошло в Китае, Шотландии, Италии, на дне морском, в Антарктиде, — и нам кажется, будто мы за четверть часа увидели, что происходит на всем свете. Это конечно не так. Камеры телерепортеров клюют земной шар лишь в немногих местах: там, где Важное Политическое Лицо спускается по самолетному трапу и с фальшивой сердечностью пожимает руку другому Важному Политическому Лицу, или там, где сошел с рельсов поезд, да не просто сошел, а так, чтобы вагоны были скручены в спираль и людей из них вытаскивали по кусочкам. Потому что обычных катастроф уже слишком много, и наша “масс-медия” равнодушна ко всему, кроме родившейся где-нибудь пятерни, государственного переворота — лучше всего сопряженного с порядочной резней, визита папы римского или королевской беременности. Разумеется, гигантский, пятимиллиардный человеческий фон всех этих Происшествий наверняка существует, и каждый, если его спросить, скажет, что конечно — он знает о существовании

других людей и, дав себе труд подумать, сам придет к выводу, что между одним его вдохом и другим сколько-то детей на земном шаре родилось и сколько-то людей умерло. Но это какое-то призрачное знание... Его можно коснуться словом, но его невозможно ощутить. Ощутить можно лишь микроскопическую каплю, извлеченную из океана окружающих нас человеческих судеб... Вот почему задача, которую поставили перед собой авторы "Одной минуты", казалась совершенно неисполнимой. Действительно, если сказать человеку, который этой книги не видел, что в ней очень мало слов и вся она заполнена статистическими таблицами и числовыми сопоставлениями, он наверняка сочтет, что затея провалилась, да и вообще была идиотской. Ибо что за прок от сотен страниц статистики? Если бы эта книга не существовала, если бы она не лежала сейчас на моем столе, я сам счел бы ее замысел пусть и оригинальным, даже поразительным, но неосуществимым — как если бы мне сказали, что телефонный справочник Парижа или Нью-Йорка пригоден для чтения и даже что-то там такое сообщает о жителях этих городов...

Нет никакой возможности узнать обо всем, что происходит на земле даже на протяжении одной-единственной минуты. Перед лицом явлений такого масштаба становится зримо очевидной микроскопическая емкость человеческого сознания, того самого "безграничного разума", которым мы так кичимся, полагая, что он отличает нас от животных, этих умственных калек, способных замечать лишь свое непосредственное окружение... Современный мир на каждом шагу демонстрирует, что наш разум — очень куцее одеяльце: хватит прикрыть кое-что, но не больше — а наши отношения с этим миром горше собачьих, потому что собака не знает, что чего-то не знает, и не понимает, что почти ничего не понимает, мы же, напротив, знаем и то, и другое, а если ведем себя иначе, то лишь по глупости или ради самообмана, чтобы сохранить душевное спокойствие... Что же нам сделать с этим нашим жалким, нерастяжимым сознанием, чтобы оно вместило то, чего не может вместить? Что нужно сделать, чтобы показать одну всечеловеческую минуту?

Прием, который использовали авторы, очень прост. Это метод последовательных приближений. Для пояснения выберем для

начала один раздел из двухсот — посвященный смерти, а точнее — умиранию.

Поскольку человечество насчитывает около пяти миллиардов, понятно, что каждую минуту умирают тысячи, — это не открытие. Но тут нерастяжимость нашего сознания упирается в цифры, как в стену. Это очевидно: ведь фраза “В данный момент на Земле умирает девятнадцать тысяч человек” — не вызывает в нас ни на йоту большего переживания, чем сообщение, что умирает девять тысяч. Да хоть бы и миллион, хоть бы и десять миллионов! Нашей реакцией, всегда одинаковой в этих обстоятельствах, остается лишь слегка испуганное и невнятно озабоченное “Ах!” И вот мы уже в пустыне абстрактных понятий, которые что-то означают, но которые невозможно понять, почувствовать, пережить так, как переживаешь, скажем, инфаркт у собственного дяди. Сообщение о таком инфаркте производит куда большее впечатление.

Но вот этот раздел знакомит тебя с умиранием на протяжении сорока восьми страниц подряд, причем сначала тебе даются суммарные данные, а уже потом — конкретные детали, и получается, что сначала ты видишь всю проблему смерти словно под небольшим увеличением, а потом рассматриваешь все более увеличенные срезы, как будто пользуешься все более сильными линзами. Сначала показаны отдельно естественные агонии и отдельно — те, причиной которых являются другие люди, несчастные случаи, трагические ошибки и так далее. Ты можешь узнать, сколько людей умирает в одну минуту от пыток в полиции, а сколько — по вине убийц, не имеющих никаких официальных полномочий; каково нормальное распределение применяемых к людям методов пытки на каждую из шестидесяти секунд и каково их географическое расположение; какие именно орудия пыток применяются на протяжении этой минуты — опять-таки с распределением по частям света, а затем — по отдельным странам. И тогда ты понимаешь, что в то самое время, когда ты выводишь на прогулку свою собаку, ищешь домашние туфли, разговариваешь с женой, засыпаешь, читаешь газету, в это самое время тысячи других людей воют, извиваясь в смертельной агонии — каждую очередную минуту каждых двадцати четырех часов, днем и ночью, каждую неделю. Нет, ты не услышишь их жутких криков, но отныне ты будешь знать, что этот вой стоит над землей непрерывно —

потому что так свидетельствует статистика. Ты узнаешь, сколько людей гибнет каждую минуту от несчастной ошибки, от того, например, что они выпили яд, приняв его за безвредную жидкость, и опять-таки статистика учтет все разновидности таких отравлений — от гербицидов, от сильных кислот, от щелочей — и покажет далее, сколько среди смертей от трагической ошибки приходится на ошибки шоферов, врачей, матерей, сиделок и так далее. И сколько новорожденных — это уже особая рубрика — погибают от рук матерей сразу же после рождения, по умыслу или по небрежности, потому что есть новорожденные, которых матери душат подушкой, а есть такие, которые проваливаются в канализацию, потому что матери, чувствуя предродовой позыв, думают, что это позыв к дефекации, — то ли по незнанию, то ли по умственной недоразвитости, то ли потому, что находятся под действием наркотиков, когда начинаются роды, — и каждый из этих вариантов разбит на свои многочисленные подрубрики. А на следующей странице идут новорожденные, умершие сами по себе, — неспособные к жизни уроды или погибшие в материнском лоне, на гинекологическом кресле, от перехлеста пуповины, от разрыва матки — разве всех перечислишь? Много места посвящено самоубийцам. Сегодня способов лишения себя жизни куда больше, чем в старину, и петля отошла в статистике на шестое место. Впрочем, сдвиги в распределении новых способов самоубийства по частоте заметно возросли с тех пор, как в разряд бестселлеров вошли книги, подробно инструктирующие, как сделать свою смерть быстрой и надежной — а то и, наоборот, медленной, потому что и на это, оказывается, есть желающие. Терпеливый читатель может даже узнать, какова корреляция между тиражами этих пособий самоубийственного самообслуживания и нормальным распределением эффективности самоубийств: потому что раньше, когда к самоубийству подходили любительски, большее количество самоубийц удавалось спасти.

Затем, понятно, идет умирание от рака, от инфаркта, от врачевания, от почти четырехсот главных видов болезней, и, конечно, от таких случайностей, как столкновение автомашин, падение деревьев, кирпичей, стен, попадание под поезд и так далее, и так далее, вплоть до метеоритов. Не знаю, насколько утешителен тот факт, что от падающих на Землю метеоритов гибнет очень

мало людей, насколько мне помнится, — всего одна десятиллионная человека в минуту. Видно, что Джонсоны проделали солидную работу. Чтобы как можно подробней показать все виды нашей смерти, они использовали, вдобавок к методу сопоставлений, еще и прием так называемых диагональных сечений. Из одних таблиц можно узнать, от какой совокупности причин люди умирают, из других — как они умирают от одной какой-либо причины — скажем, от электрического тока. Этот прием позволяет представить все богатейшее разнообразие наших смертей необычайно выпукло. Чаще всего, оказывается, умирают от прикосновения к плохо заземленным проводам, реже — в ванной, а реже всего — когда пробуют помочиться с пешеходного моста на провода высокого напряжения; число таких жертв за одну минуту составляет весьма малую дробь. Добросовестные Джонсоны указывают в примечании, что умирающих от пыток электрическим током невозможно разделить на убитых нечаянно (поскольку слишком высокое напряжение было использовано без намерения убить) и убитых преднамеренно, с обдуманым желанием смертельного исхода.

Есть здесь также статистика способов, которыми живые отделяются от умерших, начиная с погребений с косметикой, хоралами, цветами и помпезным богослужением и кончая самыми примитивными и дешевыми методами. Этих рубрик много, потому что оказывается, что в развитых странах куда чаще людей отправляют на тот свет в мешках с камнями, или зацементированных ногами в старых ведрах, или обнаженных и расчлененных на куски, утапливаемые в ямах и озерах, и куда больше (это уже отдельная рубрика) завернутых в старые газеты или окровавленные тряпки попросту выбрасывают на свалку, чем это делается в странах Третьего мира. Люди победнее попросту не знают некоторых способов отделаться от трупа. Видно, финансовая помощь развитых стран не принесла с собой соответствующих знаний. Зато в бедных странах куда больше новорожденных съедают крысы.

Как-то не получается и далее притворяться, будто все это — всего лишь куча сухих, ничего не говорящих, скучных цифр. Возникает какое-то жуткое, томящее желание узнать, сколькими еще способами люди умирают в ту самую минуту, когда

мы об этом читаем, и пальцы, листаящие страницы, становятся словно бы немножечко липкими. От пота, разумеется, ведь это же не кровь, в самом деле...

Раздел о смерти от голода снабжен примечанием, сообщающим, что эта таблица (потому что здесь потребовалась отдельная таблица, с распределением по возрастам: больше всего умирает от голода детей) справедлива только на год издания книги, поскольку это число быстро растет — как арифметическая прогрессия. Кстати, смерть от переедания тоже случается, хотя в 119 000 раз реже. Есть в этих данных что-то от эксгибиционизма, но также что-то от шантажа. По правде говоря, я хотел только заглянуть в этот раздел, но потом уже читал его как бы по принуждению — вот так человек порой отдирает бинт от кровоточащей раны, чтобы ее разглядеть, или ковыряет иглой в дупле ноющего зуба. Болит, а перестать невозможно. Эти цифры постепенно просачиваются в мозг, как какой-то жуткий наркотик, без вкуса и запаха. А ведь я почти ни одной из них не назвал, а таких разделов, как смерть от маразма, дряхлости, от покалечений, перерождения органов даже касаться не собираюсь, потому что это значило бы цитировать всю книгу подряд, а ведь я всего лишь хочу написать на нее рецензию.

Но говоря по правде, все эти упорядоченные по рубрикам, расставленные по таблицам данные обо всех существующих на свете видах смерти, все эти мертвые, скорченные в агонии тела миллионов детей, стариков, женщин, новорожденных всех возможных национальностей и рас, такие бестелесные вне числовых колонок, не они — главная сенсация этой книги. Написав эту фразу, я задумался, правдива ли она, и повторяю: нет, не они. Вся эта чудовищная огромность человеческого подыхания чем-то напоминает нашу собственную смерть: вроде бы уже знаешь об этом заранее, так же туманно и расплывчато, как знаешь о неизбежности собственной агонии, хоть и не ведаешь, какой конкретно она будет.

Подлинная громадность жизни во всей ее телесности обнаруживает себя, скорее, с первых страниц. Приводимые там факты попросту неопровержимы. В конце концов, можно ведь и усомниться, насколько точны данные о смертности. Что ни говори, они опираются на средние числа. Трудно поверить, что все разно-

видности и причины смерти могут быть отражены абсолютно точно. Да и сами авторы в своей добросовестности не скрывают возможности статистических отклонений. И ведь некоторые рубрики действительно опираются на косвенные данные, потому что, к примеру, ни государственные полиции, ни обычные убийцы, профессионалы или любители (за исключением идейных), не сообщают ведь данных о результатах своей работы. Тут ошибка в цифрах действительно может быть велика.

Зато статистика первого раздела неуязвима. Она сообщает вам, сколько людей — а тем самым, сколько человеческих тел — существует каждую из 525 600 минут каждого года. Сколько тел — это значит: сколько мышечной ткани, костей, желчи, крови, слюны, спинномозговой жидкости, кала, мочи и так далее. Известно, что когда цифры очень велики, популяризаторы охотно прибегают к образным аналогиям. То же самое делают Джонсоны. Если собрать и спрессовать все человечество в одно целое, оно заняло бы триста миллиардов литров, то есть неполную треть кубического километра. Вроде немало. Но мировой океан содержит миллиард двести восемьдесят миллионов кубических километров воды, стало быть, если все человечество, эти пять миллиардов тел, швырнуть в океан, его уровень не поднялся бы и на одну сотую миллиметра. Один всплеск — и Земля навсегда стала бы безлюдной. Но такие игры с цифрами можно справедливо называть дешевыми. Они как бы наводят на мысль, что мы, которые в размахе наших свершений отравили атмосферу, недра, моря целой планеты, выкорчевали джунгли, истребили миллиарды видов растений и животных, без нас существовавшие сотни миллионов лет, достигли иных планет и даже изменили альбедо своей собственной, тем самым демонстрируя наше присутствие космическим наблюдателям, — эти “мы” могли бы исчезнуть так легко и бесследно. Меня это не поразило — равно как и расчет, согласно которому из человечества можно было бы выкачать 24,9 миллиардов литров крови, что не составило бы не только Красного моря, но даже просто красного озера...

Но далее, под эпиграфом из Эллиота — о том, что существование это “рождение, совокупление и смерть”, — идут другие цифры. Каждую минуту на Земле совокупляются 34,2 миллиона мужчин и женщин. При этом оплодотворение происходит

лишь в 5,7 процента случаев, но суммарный выброс спермы в количестве 45 000 литров в минуту содержит миллиард девятьсот миллионов (плюс-минус миллион) живых сперматозоидов. Именно такое количество женских яйцеклеток могло бы быть оплодотворено — шестьдесят раз в час, считая, как минимум, по одному сперматозоиду на одну яйцеклетку, — и тогда, в этом немыслимом случае, каждую секунду зачинаясь бы три миллиона детей. Однако даже эти данные тоже являются, в конце концов, всего лишь цифровой манипуляцией. Поразительнее другое. Порнография и весь современный образ жизни сделали сексуальную сферу бытия известной чуть не насквозь. Кажется, что о ней уже невозможно сказать — или показать — что-либо такое, что еще могло бы нас потрясти. И все же, показанная сквозь призму статистики, она потрясает. И дело даже не в повторяющейся игре сопоставлений: поток спермы, эти 45 тонн, ежеминутно впрыскиваемых в женские гениталии, имеет суточный объем в 64 800 гектолитров, которые таблица сравнивает с 37 850 гектолитрами кипятка, извергаемыми при каждом взрыве — раз в полтора часа — самым большим в мире гейзером (в парке Йеллоустоун). Гейзер спермы почти вдвое мощнее и бьет не прерываясь ни на минуту. Эта картина действительно потрясает. Человечество перекачивает сердцами 53,4 миллиарда литров крови в минуту, но эта красная река нас не удивляет — она должна течь, чтобы поддерживать жизнь. Но за то же время мужские железы выделяют 45 тонн спермы, и хотя каждая их эякуляция тоже является обычным физиологическим актом, акт этот для каждого отдельного человека интимный, нерегулярный и даже не слишком частый. А ведь есть еще миллионы стариков, детей, добровольных или вынужденных девственников, больных и так далее. И несмотря на все это белый поток течет с тем же постоянством, что красная река. Ибо нерегулярность исчезает, когда статистика охватывает всю планету, и вот это уже потрясает. Люди садятся за стол, роются в мусорных кучах, молятся в соборах, мечетях, костелах, летят самолетами, едут в машинах, плывут в подводных лодках с атомными ракетами на борту, заседают в парламентах, миллиарды спят, погребальные процессии идут по кладбищам, взрываются бомбы, врачи склоняются над операционными столами, тысячи лекторов одновременно поднимаются на

кафедры, взвиваются и падают театральные занавесы, наводнения затопляют дома и поля, идут войны, бульдозеры сталкивают в рвы трупы в рваных мундирах, что-то грохочет, сверкает, наступает день, ночь, рассвет, закат, но что бы ни происходило — оплодотворяющий поток сорока пяти тонн спермы в минуту бьет без усталы и остановки, и закон больших чисел гарантирует, что он так же постоянен, как количество солнечной радиации, падающей на землю. Есть в этом что-то одновременно механическое, невозмутимое — и животное. Непонятно, как смириться с этим образом человечества, так невозмутимо совокупляющегося под грохот и рев всех катаклизмов, — тех, что обрушиваются на него извне, и тех, что оно само себе уготовало.

Вот так-то. Прошу мне поверить: эту книгу, которая низводит дела человеческие до их последнего уровня, то есть до одних лишь цифр (а мы не знаем более далеко идущего способа спрессовать какие бы то ни было явления), нельзя пересказать вкратце. Ведь она сама уже является пересказом, экстрактом, конечным резюме человеческих деяний. В рамках рецензии невозможно перечислить даже самые поразительные из них. Психические болезни: оказывается, сегодня в каждую минуту насчитывается больше безумных, чем составляло все население планеты несколько поколений тому назад. Как если бы все тогдашнее человечество сегодня состояло из одних безумцев. Злокачественные новообразования, которые я некогда, в своей первой медицинской работе, тридцать пять лет назад, назвал “соматическим безумием”, то есть самоубийственным покушением тела на самое себя, являются, конечно исключением из правил жизни, сбоем ее динамики, но обработанные статистически — это огромный всепожирающий Молох, и тогда эта громада новых раковых тканей, пересчитанная на каждую минуту, начинает казаться свидетельством слепоты тех самых процессов, которым мы, как-никак, обязаны жизнью. А рядом, через несколько страниц, вещи еще более мрачные. Разделов, посвященных издевательствам над людьми, насилию, изнасилованиям, убийствам, сексуальным извращениям, странным культам, мафиям, ритуальным союзам, я не коснусь даже намеком. Рассказ о том, что люди делают с другими людьми, чтобы их мучить, унижать, уничтожать, истязать — больных, здоровых, старых, малых, калек, и притом

безустанно, каждую минуту — способен ошеломить даже самого завятого мизантропа, который полагал, что уж он-то знает пределы человеческой низости. Но хватит об этом...

Была ли эта книга нужна? Некий член Французской Академии написал в газете "Монд", что она была неизбежна, что она должна была появиться. Наша цивилизация, говорит он, все измеряющая, исчисляющая, оценивающая, взвешивающая, стремится перешагнуть все запреты и заповеди, она хочет знать все, но будучи все более многолюдной, становится сама для себя все менее прозрачной. А самую большую ее ярость вызывает то, что еще оказывает ей сопротивление. Неудивительно поэтому, что она захотела иметь свой портрет, предельно точный, каких еще не бывало, и столь же предельно объективный — ведь объективность это требование и разума, и моды, — и вот, с помощью технических новшеств, она получила снимок, на который способна только камера фоторепортера — мгновенный и неотретушированный. Пожилой рецензент из "Монд" обошел вопрос о потребности в "Одной минуте" с помощью логического пируэта: она появилась, потому что, как дитя своего времени, не могла не появиться. Вопрос однако остается. Я бы поставил его скромнее: действительно ли эта книга показывает то, что, будучи "суммарным человечеством", в принципе не поддается показу? Статистические таблицы заменяют замочную скважину, а читатель, как прыщавый юнец, подсматривает сквозь нее огромное обнаженное тело человечества, занятого своими повседневными делами. Сквозь замочную скважину нельзя увидеть все сразу. И — что, возможно, важнее — подглядывающий оказывается как бы лицом к лицу не только со всем своим биологическим видом, но и с его судьбой.

В элитарном немецком литературном ежемесячнике мне попалась рецензия на "Одну минуту", написанная каким-то разгневанным гуманистом. Книга изображает человечество чудовищем, говорит он, ибо она создала гору мяса из тел, крови и пота (измерения действительно коснулись не только каловых и менструальных выделений, но также различных видов пота, потому что испуганный, скажем, человек потеет иначе, чем работающий) — предварительно ампутировав этим телам головы. Духовная жизнь не сводится ни к количеству книг и газет, которые люди читают, ни к количеству слов, которые они произносят за минуту (коли-

чество это астрономическое!). Численные сопоставления посещаемости театров с данными об агонии, извержении спермы и т. п. вводят в заблуждение, и заблуждение это весьма чревато. Ни оргазм, ни агония не являются чем-то исключительно или специфически человеческим. Более того, они фактически исчерпываются рамками физиологии. Напротив, специфически человеческое, духовное содержание жизни не только не исчерпывается, но даже не отражается цифрами тиражей газет или философских журналов. С таким же успехом можно было бы измерять температуру тела жаром страсти или под рубрикой "акты" объединять фотографии голых женщин и возвышенные акты веры. И этот понятийный хаос не случаен, ибо авторы в действительности стремились шокировать публику пасквилем, основанным на статистике. Они стремились ошеломить нас водопадом цифр. Быть человеком значит, прежде всего, иметь духовную жизнь, а не анатомию, поддающуюся сложению, делению и умножению. Уже тот факт, что духовную жизнь невозможно измерить и охватить статистикой, опровергает утверждения авторов, будто им удалось создать групповой портрет человечества. В этом бухгалтерском распределении миллиардов людей по функциям и рубрикам ощутима рука патологоанатома, препарирующего труп, — а может, и его злорадство. Ведь среди тысяч понятий в алфавитном указателе даже нет такого, как "человеческое достоинство".

Философского значения книги, о котором речь, коснулся также другой критик. У меня вообще создалось впечатление, замечу кстати, что "Одна минута" вызвала среди интеллектуалов немалое замешательство. Они считали возможным игнорировать такие продукты массовой культуры, как "Книга рекордов" Гиннеса, но "Одна минута" оказалась для них цепкой занозой. Ибо предусмотрительные — или попросту хитрые — Джонсоны подняли свое произведение на солидный уровень, снабдив его научным методологическим предисловием. Они предусмотрели также многие из обвинений, сославшись на ряд современных мыслителей, которые называют правду высшей ценностью культуры. Коль скоро так, то дозволена и даже необходима любая правда, включая самую неприятную. Критик-философ влез на этого высокого коня, пользуясь стремянем, подставленным ему Джонсонами, и для начала похвалил их, а затем изрядно потрепал.

К нам подошли, — писал он в “Энкаунтере”, — почти в точности так, как этого опасался Достоевский в “Записках из подполья”. Достоевский считал, что нам угрожает обоснованный наукой детерминизм, который вышвырнет на свалку суверенность личности, очевидную в ее свободной воле, едва лишь эта наука окажется в состоянии предвидеть любое наше решение и любое чувство, сведенные к нажатию некоего механического клавиша. Достоевский не видел иного пути, иного спасения от жуткой, лишаящей нас свободы, предсказуемости наших чувств и мыслей, кроме безумия. Его человек из подполья готов был сойти с ума, лишь бы его разум, освобожденный безумием, не подчинился торжествующему детерминизму. Так вот, этот детерминизм, ничтожное порождение рационалистов XIX века, рухнул и уже не поднимется, но его место с неожиданной эффектностью заняла теория вероятности со статистикой. Судьбы индивидуумов остались столь же непредсказуемы, как траектории отдельных частиц газа, но благодаря громадному числу тех и других возникают закономерности, справедливые для всех сразу, хотя и не относящиеся ни к одной отдельно взятой молекуле или индивидууму. Таким образом, потерпев крах с детерминизмом, наука совершила обходной маневр и подобралась к человеку из подполья с другой стороны. К сожалению, верно, что в “Одной минуте” нет ни следа духовной жизни человечества. Тщательное замыкание этой жизни внутри, чтобы она не проявлялась вовне иначе, как словами, — это (профессионально понятный) навык литераторов и прочих интеллектуалов, составляющих, однако (как указывает книга), микроскопическую, ибо всего лишь миллионную, часть человечества. А 99,9999 процента обычных людей обнаруживают наличие духовной жизни самым банальным образом и было бы ошибкой из благородства отказывать в психическом содержании жизням психопатов, убийц и сутенеров, коль скоро мы не отказываем в нем водовозам, купцам и ткачихам. Поэтому не о мизантропических склонностях авторов следует говорить, но в крайнем случае — об ограниченности, присущей используемому ими методу. Ибо оригинальность “Одной минуты” состоит в том, что ее статистика не является “итоговой”, то есть дает информацию не об уже совершившихся событиях, как, к примеру, обычный статистический ежегодник, а с и н х р о н н а с человеческим существованием. Как компьютер

того типа, что называется “работающим в реальном времени”, то есть следящим за событиями параллельно их реальному разворачиванию.

Увенчав таким образом авторов, критик из “Энкаунтера” тут же, однако, пощипал тот лавровый венок, которым наградил их в своем вступлении. Принцип абсолютной правдивости, которым орудуют Джонсоны, чтобы защитить “Одну минуту” от обвинений в вызывающей вульгарности, а то и в пасквилянстве, звучит хорошо, но неосуществим на практике. Книга не содержит “всего о человеке”, ибо это невозможно. “Всего” о нем не содержат все библиотеки мира, вместе взятые. Сумма антропологических данных, собранных учеными, уже достигла такого уровня, что давно превышает индивидуальную способность усвоения информации. Разделение труда, включая умственный, начавшееся тридцать тысяч лет назад, в палеолите, стало явлением необратимым, и с этим ничего не поделаешь. Хотим мы того или не хотим, мы отдали наши судьбы в руки экспертов. В конце концов, даже политики — это тоже своего рода эксперты, разве что самозванные. А то, что компетентные эксперты служат или прислуживают политикам с их посредственным интеллектом и ничтожным даром предвидения, не такая уж беда, потому что и среди первоклассных экспертов нет согласия ни по одной из важнейших мировых проблем. Поэтому не известно, была бы логократия препирающихся друг с другом экспертов лучше той власти посредственностей, которую мы терпим. Снижение интеллектуального уровня руководящей политической элиты — это результат растущей сложности мира. И поскольку охватить его целиком не может никто, даже самый мудрый человек, к власти рвутся те, кто этим совершенно не озабочен. Не случайно в “Одной минуте”, в разделе, посвященном умственным способностям, нет данных об уровне интеллекта наших выдающихся государственных руководителей. Даже вездесущим Джонсонам не удалось подвергнуть этих людей тестированию на умственные способности.

Мое мнение об этой книге не столь драматично. О ней можно рассуждать на все лады: об этом свидетельствует предлагаемая выше попытка. Нет здесь, думается мне, злобного пасквилянства, нет и добросовестной правдивости. Ни тебе карикатура, ни зеркало. Асимметрию “Одной минуты”, в которой позорное

человеческое зло представлено шире, чем проявления добра, и жалкая грязь нашего существования — обширнее, чем его великолепие, я не стал бы приписывать ни злым намерениям авторов, ни их методу. Книга может удручить лишь тех, кто еще питал какие-то иллюзии о Человеке. Асимметрию нашего добра и зла можно было бы, наверно, показать даже в численном сопоставлении, до чего Джонсоны почему-то не додумались. Не случайно разделы, посвященные обману, преступлениям, кражам, шантажу, вымогательству, жульничеству, включая его новейшую разновидность, так называемое компьютерное жульничество (речь идет о таком манипулировании этим электронным дополнением умственного труда, которое дает незаконные выгоды программистам...), намного пространнее разделов, посвященным "добродетельным" делам. Авторы не сопоставили соответствующих цифр в одной таблице, а жаль. Это позволило бы воочию показать, насколько зло разнообразнее добра. Помогать ближнему можно меньшим числом способов, чем вредить ему, ибо такова природа вещей, а не особенности статистического метода. Мир наш не находится на полпути между адом и раем, ибо он представляется намного ближе к первому. Не питая однако в этом вопросе никаких иллюзий, и к тому же уже давно, я не был особенно удручен, прочитав эту книгу.

*Сокращенный перевод с польского Р. Нудельмана*

#### НОВЫЕ КНИГИ В ИЗРАИЛЕ

*"Этот юмор раскрывает мириады истин".*

*Рональд Рейган*

Объявляется подписка на книгу Д. Штурман и С. Тиктина "СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ЗЕРКАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНЕКДОТА" (издание второе, исправленное и дополненное). Цена книги 30 шек., для подписчиков — 25 шек., включая доставку заказной корреспонденцией. (Некоторое повышение стоимости книги обусловлено увеличением ее объема, в основном, за счет НОВЫХ анекдотов, богатых событиями 1985—1986 гг.). Чеки посылают по адресу: С. Тиктин, 422/6 Мизрах Тальпиот, Иерусалим 93802 — с любой датой оплаты до 1 марта 1987 г. в один или несколько приемов. Просьба к подписчикам сообщать свой подробный адрес, индекс почтового отделения и номер телефона. Книга выйдет в течение 1987 года.

## РУССКИЙ ВОПРОС

*Статья известного румынского философа Э. Чьорана "Россия и вирус свободы" была написана им в эмиграции, в Париже (где он недавно скончался), в 1957 году — вскоре после подавления Венгерского восстания. Возможно, этим объясняется ее мрачно апокалиптический тон и пессимистические предсказания. Но в той своей части, которая касается анализа "русского феномена" и европейской ситуации, дальних перспектив советской империи и неизбежности внедрения в нее вируса свободы, статья эта остается не только злободневной и верной, но также одной из самых глубоких и пронизательных из всех, посвященных на Западе "русскому вопросу".*

Э. Чьоран

РОССИЯ И ВИРУС СВОБОДЫ

Порой мне бы хотелось, чтобы все страны уподобились Швейцарии и, как она, по уши ушли бы в гигиену, стерильность, обожествление гражданских прав и культ человеческой личности; но в то же время я сознаю, что по-настоящему меня влекут к себе лишь те народы, что не знают угрызений совести ни в мыслях, ни в деяниях; народы хищные и страстные, готовые пожрать других и самих себя, способные переступить все ценности, встающие на пути их величия и триумфа; народы, упрямо отвергающие житейскую мудрость, этот злосчастный удел одряхлевших наций, уставших от самих себя и всего на свете и упивающихся запахом плесени и распада.

Поэтому, как бы ни были мне ненавистны тираны, я не могу не признать, что это именно они движут историю и любая имперская идея с ее победоносным маршем без них была бы немислима. Извращенно великолепные в своем неистовом зверстве, они напоминают мне человека, доведенного до крайности, до пароксизма отваги — или подлости. В сущности, Иван Грозный — если припомнить самого чудовищного из тиранов — исчерпывает собою все тайны человеческой психо-

логии. Он был равно непостижим в безумии, как и в политике. Он превратил свое царствование — а в известной мере, и свою страну — в кошмар наяву, в жуткую смесь Монголии с Византией. Он соединял в себе величественные и отталкивающие черты хана и басилевса. Он был моральным уродом, которого преследовали приступы дьявольского безумия и угрюмой меланхолии. Его равно влекли кровь и покаяние. В его добродушии таился — и торжествовал — сарказм. Он питал подлинную страсть к преступлению. А теперь задумаемся: разве эту страсть не разделяем мы все? В ярости все мы готовы посягнуть на других — или на себя. Разве что в нас эта страсть остается неудовлетворенной, и потому все наши поступки вытекают из этой неспособности к убийству или самоубийству. Мы не очень охотно в этом признаемся; мы предпочитаем не знать скрытых механизмов нашей слабости. Вот почему мое воображение влечет римские императоры: наши общие слабости, скрытые в нас, у них выступают без всякой маскировки. Тем самым они открывают нам нас самих, изобличают и демонстрируют нам наши секреты. При всем своем могуществе тираны, по сути, всегда несчастны: их гложет вечное подозрение, что их подданные недостаточно запуганы. Быть может, они воплощают собой тот таящийся в нас злобный дух, который вечно шептывает нам, что в идеале лучше всего было бы создать вокруг себя абсолютную, безлюдную пустоту? Подобные мысли и желания могут зародиться только в империях; они укрываются в самых темных закоулках нашего сознания, где мы таим свои душевные увечья.

Жажда власти вызревает в этих мрачных, не озаренных светом глубинах, но проявляется она лишь у немногих людей и только в определенные эпохи. У нее нет прямой связи с особенностями породившего такого человека народа: Наполеон меньше отличается от Чингиз-хана, чем от какого-нибудь деятеля Французской республики. Однако глубины, где вызревает эта ненасытная жажда власти, эта имперская идея, тоже могут иссохнуть.

Мысль о создании всемирной империи последовательно искушала Карла Великого, Фридриха II Гогенштауфена, Карла Пятого, Бонапарта и Гитлера, каждого на свой лад. К счастью или несчастью, им не удалось осуществить эту мысль. Сегодня

имперская идея порождает на Западе лишь насмешку или отвращение. Запад стыдится своих былых завоеваний. Но любопытно: именно теперь, когда он замкнулся в себе, его давние идеи ширятся и побеждают. Только сегодня они направлены уже против власти и гегемонии самого Запада и находят отзвук за его пределами. Запад побеждает, погибая. Так некогда Греция победила в сфере духа именно тогда, когда перестала быть государством. Присвоив себе ее философию и искусство, победители тем самым обеспечили распространение ее идей. О творческом характере цивилизации говорит ее способность побуждать к подражанию. Когда она перестает вдохновлять других, она превращается в груды обломков и воспоминаний.

Покинув этот угол планеты, имперская идея нашла благодатный климат в России. Впрочем, она существовала там чуть ли не всегда, во всяком случае — в сфере духа. После краха Византии Москва стала для православного сознания “Третьим Римом”, наследницей “истинного” христианства и “подлинной” веры. То было ее первое мессианское пробуждение. Второго ей пришлось ждать до наших дней. На сей раз она была обязана им падению Запада. Если в пятнадцатом веке она воспользовалась религиозным вакуумом, то сегодня она использует вакуум, создавшийся в политике. И то, и другое — самые исключительные возможности для утверждения страны в сознании ее исторического предназначения.

Когда султан Махмуд II осадил Константинополь, христианский мир — как обычно, расколотый, а еще более удовлетворенный тем, что ему наконец удалось забыть о крестовых походах, — не пришел на помощь единоверцам. Правда, Папа римский обещал поддержку; но он оказал ее слишком поздно. Стоило ли спешить на помощь православным “схизматикам”?! Между тем в тысяче километров к северу от Константинополя, в России, та же православная “схизма” набирала силу. Может быть, Рим предпочитал далекую Москву могущественной Византии? Всегда предпочтительней тот враг, что подальше. В наши времена англосаксы тоже предпочли русскую гегемонию в Европе немецкой, потому что немцы были “слишком близко”...

Претензии России на всеевропейскую гегемонию не были лишены оснований. Действительно, что стало бы с Европой, если

бы Россия не приняла на себя монгольское нашествие? В результате она почти на два столетия была исключена из истории, меж тем как на Западе народы могли позволить себе роскошь взаимного остервенения. Быть может, в ином случае Россия уже в начале Нового времени стала бы государством первого ранга? А Запад? Не был бы он сегодня православным? Но русские еще могут это возместить. Если им удастся реализовать свои намерения, они еще сведут счеты с Папой римским, и не исключено, что одним из важнейших событий нашего века станет исчезновение последнего наместника св. Петра...

Марксизм обожествил Историю, чтобы дискредитировать Бога. Но он лишь сделал Его в результате еще более реальным. В человеке можно убить все — кроме потребности в абсолюте. Эта потребность способна пережить и крах святынь, и даже исчезновение самой религии. Русский народ в основе своей религиозен, и рано или поздно эта его религиозность возьмет верх.

Приняв православие, Россия всего лишь выразила этим свое стремление отделиться от Запада. "Схизма" отражала не столько доктринальные разногласия между церквями, сколько волю к этническому самоопределению. "Схизмы" и "ереси" — это всегда замаскированные национализмы. Но если протестантство было всего лишь "семейной" ссорой, "скандалом" в лоне единой западной семьи, то православие, как я уже сказал, означало решительный разрыв с Западом. Отвергнув католицизм, Россия замедлила свое развитие. Она упустила шанс на быстрое становление цивилизации. Но не выиграла ли она в "исключительности"? Сама ее стагнация превращала ее в "особую", "иную". Не к этому ли она и стремилась?

Сегодня марксизм отдаляет ее от корней, принудительно навязывая ей некий "универсализм". Но чем сильнее она будет становиться, тем более она будет "руссифицироваться" — с выгодой для православия. Ведь она и марксизм в известной мере преобразовала, придав ему свой славянский привкус. Каждый народ, принимая чуждую своим традициям идеологию, преобразует ее соответственно своему национальному духу и предназначению. Народы обладают собственной оптикой, и то, что им кажется "истиной", хоть это и не объективная истина для всех,

является творческим и вдохновляющим для них самих. Эти субъективные истины порождают, в конечном счете, тот калейдоскоп достижений и ошибок, который складывается в уникальный исторический пейзаж национальной судьбы. Увы, любоваться им можно, только находясь "по ту сторону Истины"...

В то время, как Запад расходовал свою силу в войнах за свободу и еще больше — в рамках уже добытой свободы (ибо ничто не изнуряет так, как обладание свободой, тем более — чрезмерной), русский народ накапливал эти силы. Ведь силу можно истратить лишь в ходе истории, а Россия была лишена участия в истории и принуждена нести ярмо деспотической власти. Но именно это убогое, растительное существование позволило русскому народу извлечь максимальную биологическую пользу из собственного рабства. В этом ему помогло православие, но не официальное, направлявшее власть к имперским целям, а народное, отлично приспособленное к тому, чтобы удерживать людей вне хода событий. Такова двойственность православной церкви: с одной стороны, она усыпляет массы, с другой, поддерживая царей, побуждает их к громадным завоеваниям во имя равнодушного народа. Это равнодушие было для России благословенным — оно обеспечило ей ее нынешнее превосходство. Сегодня все усилия Европы сосредоточиваются на России — на противостоянии ей или заигрыванию с нею. Тем самым Запад фактически признает, что, в сущности, Россия уже доминирует над ним. Тем самым реализуется одно из самых давних русских стремлений. Успех этот тем парадоксальней, что достигнут под знаменами чуждой русскому народу идеологии. Впрочем, в конечном итоге, куда важнее, что режим по-прежнему остается русским и целиком вмещается в русские традиции. Разве Революция, вытекавшая вначале из теорий "западников", не склоняется сегодня к идеям славянофилов? В конце концов, любой народ — это не просто сумма идей и теорий, а сумма навязчивых страстей. А страсти у большинства русских людей, независимо от их убеждений, если и не идентичны, то по крайней мере родственны. Чаадаев, который не признавал за своим народом никаких достоинств, и Гоголь, который этот народ ядовито высмеивал, были привязаны к своему народу ничуть не меньше, чем Достоевский;

народ был предметом фанатичной любви самого отчаянного из нигилистов, Нечаева, равно как и самого реакционного из политиков, Победоносцева. Только эти страсти и идут в счет, в конце концов; все прочее — лишь поза.

Чтобы стать "либеральной", России пришлось бы сейчас утратить напор и глубоко денационализироваться. Возможно ли это при нерастраченных запасах тысячелетних сил и многовековых традициях автократии? Совершив такой переход одним скачком, она попросту распалась бы. Даже Франция вступила на путь демократии лишь после того, как ее имперская воля стала ослабевать: она пришла к демократии от Первой Империи. Да и позже, уже "выбрав свободу", она мучительно привыкала к ней в нескончаемых конвульсиях; это происходило совсем иначе, чем в Англии, которая освоилась со свободой как бы "со стороны", без потрясений и риска; но здесь это оказалось возможным, вероятно, благодаря "просвещенной тупости" англичан. Не случайно Англия не дала миру, насколько известно, ни одного великого бунтовщика или анархиста.

Выходит, что в дальней перспективе история благоволит к народам, долгое время живущим под ярмом неволи, собирающим силы и копящим надежды. В самом деле, на что еще надеяться, если уже обладаешь свободой? Порой кажется, что демократия — это чудо, которое уже ничего не может предложить, что это рай и одновременно могила для народного духа. Да, только она придает жизни смысл, — но ей самой недостает жизни. Ее сиюминутное счастье говорит о ее хрупкости.

Россия не знает этих проблем; абсолютная власть, как заметил уже Карамзин, всегда составляла "основу ее существования". Россия вечно стремится к свободе, никогда ее не достигая, между тем как Запад — увы! — давно ее достиг. Вдобавок, Россия в отличие от Запада вовсе не стыдится своей имперской идеи. Напротив, она только и мечтает о том, чтобы расширить свои пределы. При этом она использует не только провалы, но и достижения других народов. Все успехи Петра Великого, как и успехи Революции, — не что иное, как история гениального паразитизма. Да что там! — Россия ухитрилась повернуть себе на пользу даже чудовищное татарское иго!

В меру своей способности имитировать Запад, она сумела об-

мануть и увлечь многие западные умы. Энциклопедисты так же восхищались деяниями Петра и Екатерины, как нынешние "левые" упивались достижениями Ленина и Сталина. Этот факт говорит, скорее в пользу России, чем в пользу этих изощренных и терзаемых муками совести западных интеллектуалов, которые ищут "прогресс" где угодно, только не в собственной истории. Как ни странно, в этом они оказались порой ближе к героям Достоевского, чем сами русские. Впрочем, западным интеллектуалам недостает того безумного воображения и той мужской ярости, что составляет силу этих героев; они напоминают, скорее, таких рахитичных "бесов", изъеденных умствованиями и осторожностью, преследуемых угрызениями совести и мучительными сомнениями. Это мученики желания, раздавленные своей импотентностью.

Каждая цивилизация убеждена, что только ее образ жизни хорош и сам собою понятен. Поэтому "нужно" обратиться к другим и навязать его миру. Империи не возникают по капризу: другие народы покоряют затем, чтобы они подражали и следовали им, нашим образцам и обычаям. Затем возникает извращенное желание обратиться к ним в рабов, чтобы запечатлеть в них похвальный — или карикатурный — образ нас самих. Согласен, существует качественная разница: монголы и римляне покоряли народы не ради одинаковых целей, и их завоевания имели неодинаковый результат. Тем не менее остается фактом, что они были одинаково искусны в деле обезличивания покоренных и сведения их к своему уровню.

Россия никогда не удовлетворялась заурядными унижениями. Поэтому так должно быть и дальше. Утверждая, что Россия призвана спасти мир, славянофилы лукавили: чтобы "спасти" мир, нужно сначала его покорить. Народ находит свою историческую цель в себе самом — или нигде; поэтому никакой иной народ не может его "спасти". Но Россия по-прежнему считает, что ее миссией является "спасение человечества" и прежде всего — Запада, к которому она, по существу, всегда питала одно лишь отвращение, смешанное с завистью (тоже смесью тайного влечения и нарочитого, показного презрения). В отличие от Запада, русский народ отвергает всякие четкие определения и не принимает никаких ограничений; он культивирует двусмысленность не только в политике и этике, но и того хуже — в географии; он лишен

той наивности, что свойственна “цивилизованным” народам, ослепленным чрезмерностью своего рационализма; он утончен многовековым опытом хитрости и обмана. Быть может, исторически он и является еще ребенком, но психологически он им не является ни в коей мере. Отсюда его сложность человека с детскими инстинктами и взрослыми тайнами. Отсюда его доходящая до гротеска противоречивость. Когда он стремится быть глубоким (что дается ему без труда), он способен извратить самый ничтожный факт, самую банальную мысль. Можно сказать, что его влечет к монументальной карикатуре. Он остается неисправимым дилетантом утопии, этого стремления сочетать счастье с движением (которое неминуемо возвращает высокую мечту к тому самому цинизму, что мечта хотела преодолеть).

Вполне возможно, что Россия окажется способной осуществить свою мечту о всемирной империи, хотя поручиться за это нельзя. Но что несомненно — это ее потенциальная способность подчинить себе Европу. Она ведь уже и не такое свершала! А тут — всего лишь кусок континента! Что еще может убедительней доказать умеренность и скромность ее притязаний? Пока же она взирает на Запад тем же взглядом, каким монголы взирали на Китай, а турки — на Византию, с той разницей, что она уже присвоила себе многие западные ценности, тогда как татарские и турецкие орды имели над своей будущей жертвой один лишь материальный перевес. Как жаль, что Россия не прошла через Ренессанс! Впрочем, при ее способности перепрыгивать через целые исторические периоды, она может через каких-нибудь сто лет стать такой же рафинированной и чувствительной к ударам, как сегодняшний Запад. Она тоже может достичь того уровня цивилизации, который уже нельзя превзойти, не опускаясь. Сегодня Россия, стоя на более низком уровне, чем Запад, может только подниматься. Я мог бы сказать, что история обрекает ее двигаться в гору. Но нет ли в этом риска, что, поднимаясь, она утратит равновесие и рухнет? Ее душа, сформированная сектантством и степями, производит странное впечатление шири и замкнутости одновременно, простора — и духоты. Это Север, беременный сном и надеждой, это ночь, чреватая взрывом, порождающая рассвет, который невозможно будет забыть. У этих полярных жителей нет ни грана средиземноморской ясности. Их история, равно как и на-

стоящее, принадлежат, порою кажется, какому-то иному миру, иной длительности... Глядя на хрупкий и утонченный Запад, Россия испытывает комплекс замешательства; но это следствие ее позднего пробуждения и нерастраченного темперамента, это комплекс неполноценности более сильного человека. Но этот комплекс она еще изживет. Поэтому единственной светлой точкой нашего будущего может оказаться судорожная русская тоска по утонченному миру с его победоносным очарованием. Если Россия овладеет этим миром — а таков, кажется, очевидный смысл ее судьбы, — то, быть может, она заразится от него вирусом свободы...

Чем гуманнее становится империя, тем сильнее в ней противоречия, от которых она, в конце концов, погибает. Плюрализм и гетерогенность (которых не знает органическое единство народа) приводят к тому, что для выживания приходится навязывать однородность с помощью террора. Готова ли Россия к терпимости? Нет, ибо терпимость уничтожила бы ее единство и силу. Ведь терпимость не только синоним свободы. Это сам ее дух. Это то орудие, которым насмешливое провидение наносит империям смертельный удар.

Если попытаться — при всей произвольности такой попытки — выделить в Европе области еще не изжитой жизненной силы, то окажется, что инстинкты усиливаются с продвижением на восток и ослабляются с движением на запад. Русские вовсе не монополисты в этом качестве; но интересно, что другие, подобные им народы в той или иной мере принадлежат к сфере их влияния. Эти народы тоже еще не сказали своего последнего слова. Одни из них, как Польша или Венгрия, уже играли в истории немаловажную роль; другие, как Югославия, Болгария или Румыния, оставались в тени, переживая лишь кошмары без пробуждений. Каково бы ни было их прошлое и достигнутый ими уровень цивилизации, все они еще располагают биологическим капиталом, который тщетно было бы искать на Западе. Ввергнутые в анонимное мученичество, сотрясаемые то бунтом, то отчаянием, они еще дождутся, быть может, награды за все свои испытания, унижения, даже за ничтожность. Силу инстинкта нельзя оценить извне; чтобы ощутить его возможности, необходимо разгадать тайну этих народов — единственных в мире, которые

в своем прекрасном ослеплении еще делают ставку на Запад. Вообразим себе европейский континент, окончательно поглощенный Российской империей; представим себе далее, как эта чересчур большая империя деморализуется и гибнет, уступая место эмансипации покоренных ею народов. Какой из них возьмет верх и даст Европе ту прививку нетерпения и силы, без которой она обречена на неизлечимое вырождение? У меня нет сомнений, что это будет один из народов, о которых я говорил. Мое утверждение может показаться смешным, если вспомнить их репутацию; кое-кто еще согласится, быть может, на Центральную Европу, но Балканы?! Не буду их защищать, но не могу умолчать об их достоинствах. Неужели впустую эта жажда самоуничтожения, эти внутренние конвульсии, весь этот мир, подобный пылающему публичному дому, это влечение к минувшим и грядущим катаклизмам, все это богатое и безумное наследие варварских веков?! Дикие и отчаявшиеся, эти народы хотели бы увенчать себя славой, жажда которой нерасторжима в них с волей самоутверждения и влечением к стремительному концу. Если их речь чудовищна, а жесты несдержанны и временами вульгарны, то лишь потому, что по тысяче причин им приходилось кричать громче, чем тем цивилизованным народам, у которых крик замирает на устах. Эти "последние варвары" Европы дадут ей, быть может, в далеком будущем тот новый импульс, который она не замедлит объявить своим ужаснейшим унижением. Но если с юго-востока грядет один лишь ужас, то почему же, приближаясь к западной оконечности континента, испытываешь ощущение, будто падаешь — хоть и красиво падаешь — в пустоту?!

Глубинная, тайная жизнь народов, имеющих то огромное преимущество, что они до сих пор не участвовали в истории и сумели накопить капитал иллюзий, эта скрытая жизнь, обреченная на катастрофу и трагедию возрождения, начинается за Веной, этим крайним географическим пунктом западного кризиса. Австрия, выхолощенность которой граничит с комизмом, представляет собой прообраз всей немецкой судьбы. Немцам уже не испытать масштабного безумия, у них уже нет никакой миссии или исторической лихорадки, ничего такого, что могло бы привлечь или оттолкнуть других. Варвары по предназначению, они уничто-

жили Римскую империю, чтобы смогла возникнуть Европа; и им надлежало, в свою очередь, уничтожить возникшее. Теперь, обреченная на ту же неуверенность, что немцы, Европа переживает последствия их бессилия. Возможно, в немецком народе и сохранился еще какой-то динамизм. Но ему недостает того, что кроется за подлинной жизненной силой и оправдывает ее. Приговоренные к заурядности, навсегда утратившие свойственную им некогда неумеренность, униженные до пережевывания своих былых достоинств и свершений, живущие лишь надеждой стать “такими, как все”, немцы — эти будущие швейцарцы — уже недостойны ужаса, который еще способны внушать. Верить в них или их опасаться значит оказывать им честь, которой они не заслуживают. Их поражение было судьбоносным для России. Если бы они добились своего, она была бы отстранена от великой цели еще, по крайней мере, на столетие. Но немцы не могли добиться своего, потому что вершины своего материального могущества они достигли именно в тот момент, когда уже ничего не могли предложить. Они были могущественны — и пусты. Час пробил для других. “Не являются ли славяне в отношении к уходящему миру тем же, чем некогда были германцы?” — вопрошал еще в середине минувшего века Герцен, этот самый пронизательный и самый противоречивый из русских либералов, пророк, испытывавший отвращение к своей стране и разочарование в Западе. Но если верить другому русскому человеку, Владимиру Соловьеву, то народы — это не то, что они сами думают о себе, а то, что думает о них в своей вечности Бог. Я не знаю, что думает Бог о немцах и славянах, но знаю, что Он выделил этих последних, и ни мне благодарить Его за это, ни осуждать.

Выходит, что сегодня решается вопрос, который не раз задавали себе русские люди в минувшем веке: “Неужели этот гигант создан впустую?” Гигант оказался со смыслом, да еще с каким! Идеологическая карта мира показала бы нам, что он уже простирается далеко за свои географические границы и утверждает там, где хочет. Это его всеприсутствие заставляет думать не столько о кризисе, сколько об эпидемии — временами спасительной, зачастую опасной и всегда стремительно расширяющейся.

Римская империя была порождением одного города; Англия создала империю, чтобы преодолеть тесноту островов; немцы

пытались создать империю, чтобы не задохнуться в перенаселенном пространстве. Россия, явление ни с чем несравнимое, призвана была оправдать громадность своих экспансионистских целей громадностью своих пространств. “Если мне этого достаточно, почему бы не иметь еще больше?” — такой парадокс заключен в ее высказываниях и умолчаниях. Преобразовав бесконечность в политическую категорию, Россия вывернула наизнанку классические понятия и традиционные рамки империализма и заронила в душу человечества надежду, которая слишком громадна, чтобы не выродиться в хаос.

России, с ее десятью веками террора, мрака и обещаний, легче, чем кому-либо, примириться с мрачной стороной исторической эпохи, в которую мы живем. Апокалипсис ей прекрасно подходит, она свыклась с ним, она питает к нему влечение, она погружена в него сегодня больше, чем когда-либо, ибо сегодня она явственно изменила свой ритм. “Куда несешься, Русь?” — спрашивал Гоголь, угадав безумие за кажущейся неподвижностью. Сегодня мы знаем, куда она несется, знаем, что подобно всем народам с имперским предназначением она торопится решать проблемы других раньше, чем свои. Это все равно, что сказать: судьба нашей эпохи зависит сегодня от того, что предпримет Россия. Наше будущее — в ее руках. Наше счастье — или несчастье? — что она не утратила своего духа. Впрочем, можно ли вообразить нечто никогда не утрачиваемое? Кто знает? Остается фактом, что в нынешнем положении вещей достойны внимания лишь вопросы политические — и метафизические. Те, которые приковывают нас к истории, и те, которые нас над нею поднимают. Сиюминутность и Абсолют, Газета — и Евангелие... Я предвижу день, когда всю нашу духовную пищу будут составлять только последние известия и молитвы. Но достойно внимания, что чем больше нас поглощают заботы дня, тем сильнее наша потребность противостать им и подняться над ними, так что мы как бы одновременно живем в мире — и над ним. Видимо, в часы, когда Империя выходит на марш, простым людям не остается ничего, кроме поиска блаженной середины между гримасой боли и спокойствием духа.

1957 год.

## ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

*Книга французских исследователей Бержье и Повеля "Утра магов", посвященная анализу мистических и оккультных течений современности, впервые вышла во Франции в 1960 году и сразу стала бестселлером. Отрывок из этой книги, повествующий о тайных связях нацистской расовой доктрины с мистикой, оккультизмом и магическими верованиями, вскоре появился в советском Самиздате и имел в нем широкое хождение. Мы предлагаем читателям новый перевод соответствующих глав "Утра магов", полагая, что это прольет дополнительный — и неожиданный — свет на природу все еще загадочного во многом нацистского феномена и приблизит к его пониманию, перекликающемуся с трактовкой С. Лема и Ш. Шохамы (см. №№ 42—44 нашего журнала).*

*Жак Бержье, Луи Повель*

### УТРО МАГОВ

(главы из книги)

"...Земля — это полость в космической тверди. Мы живем на ее внутренней поверхности. Вселенная — лишь призрачный сгусток газа в центре этой полости..."

"...Планеты — куски льда. Несколько таких кусков (Лун) уже упали на Землю в отдаленном прошлом. Всякий раз это меняло ход истории. Вся история человечества — это череда катастрофических столкновений льда с огнем..."

"...Люди могут вступить в союз с Повелителем Мира, который правит городом, затерянным где-то на Востоке. Те, кто заключат подобный союз, изменят лицо Земли. Они вдохнут новый смысл в человеческое существование..."

Что это — фразы из фантастических романов? сказки? суеверия? Нет, таковы были некоторые из "научных" теорий и "религиозных представлений", на которых базировался нацизм. Таковы были представления о мире и истории, в которые всерьез верили Гитлер и его приближенные. И мы полагаем, что эти представления в значительной степени определили социальные и политические тенденции недавней истории.

Мы понимаем, что такое утверждение может показаться

экстравагантным. Любое, даже частичное, объяснение нацизма, утверждающее его тесную связь с подобными фантастическими идеями, может только оттолкнуть читателя. В нашем представлении нацизм — это реальная, хотя и бесчеловечная политика: расовая доктрина, завоевание Европы, лагеря уничтожения... Кто поверит, что все это было на самом деле следствием иной, нечеловеческой концепции мира, пришедшей из глубокой древности, оккультных книг и магических заклинаний? Но так-ва, в действительности, истина. А на наш взгляд, познание истины превыше всего.

Широко известно, что нацизм был открыто, даже вызывающе антиинтеллектуален. Нацисты сжигали книги и объявляли ученых своими "иудео-марксистскими" врагами. Менее известны причины, по которым они отвергали официальную западную науку. Эти причины были связаны с теми фундаментальными концепциями, из которых исходил нацизм — во всяком случае, его лидеры. То были отнюдь не упомянутые политические или расовые концепции, но нечто куда более страшное — недоступная нашему сознанию, но по-своему целостная система иррационально-мистических представлений о мире, его прошлом и будущем. Поняв эти представления, мы поймем, что минувшая война была не вполне обычной. Она была, прежде всего, великим духовным конфликтом — Разума с Иррационализмом. Дух средневековья столкнулся в ней с современной историей.

Гитлер любил повторять: "Нас обвиняют во враждебности духу и разуму; что ж, мы действительно враждебны им и даже значительно глубже, чем это представляет буржуазная наука..." И добавлял: "Но существуют нордический дух и нордическая наука, противоположная науке иудео-либеральной". По его мнению, "иудео-либеральная наука", вместе с иудео-христианской религией, из которой она выросла, должны быть сокрушены. Ибо они представляют собой "заговор против человечества", направленный на то, чтобы оторвать его от древних корней и лишить "героического будущего", то есть, в конечном счете, воспрепятствовать тому "необыкновенному предназначению", которое он, Гитлер, призван осуществить.

Великий австрийский романист Музиль, которого сравнивают с Джойсом и Прустом, дал блестящий анализ состояния умов,

царившего в Германии в те времена, когда ефрейтор Шикльгрубер еще только мечтал о “возрождении” немецкого народа и его “необыкновенном предназначении”: “Интеллектуалы не были удовлетворены. Их образу мира не хватало стабильности, потому что они никак не могли справиться с тем неустранимым остатком в природе вещей, который нельзя было свести к окончательному разумному порядку. И потому, в конце концов, они пришли к заключению, что времена, в которые они живут, обречены на духовное бесплодие, и возрождение может явиться только в образе какого-то небывалого, исключительного события или столь же исключительной личности”.

Эта концепция “возрождения” стала модной в так называемых “интеллектуальных кругах”. Там возникла вера, что мир придет к концу, если вскоре не явится Мессия. А под покровом этой “интеллектуальной веры” в неизбежность такого прихода вызревала другая, более земная, банальная и жестокая — в необходимость “сильного человека”, то есть опять-таки Мессии, но такого, который силой наведет порядок — и не только в области духа...

В конечном счете, этот “Мессия” действительно появился. Но он пришел не один. Целая группа самозванных “спасителей человечества” провозгласила Гитлера своим вождем, призванным повести “избранную расу” к “светлому будущему”. Сам Гитлер, в его постоянном состоянии мистического транса, был уверен, что на него возложена миссия это будущее осуществить. Вот почему его амбиции простирались на самом деле далеко за пределы обычной политики и даже чисто национальной истории. Он признавался: “Я поощряю национальные чувства только из необходимости; но я уверен, что идея нации преходяща — наступит день, когда даже в Германии национализм исчезнет и его место займет универсальное общество Властителей Мира...”

Что же за общество рисовалось Гитлеру в его смутных мечтах? Нет, не просто еще одна всемирная тоталитарная империя, как это часто думают по наивности. Нацистская утопия не имела ничего общего с обычной социальной системой. Она не имела ничего общего даже с обычным миром вообще. Но чтобы понять это, нужно вернуться в далекое прошлое, когда эта утопия зарождалась и складывалась.

Осенью 1923 года в Мюнхене умер от фронтального отравления горчичным газом весьма примечательный человек — поэт, драматург и журналист по имени Дитрих Эккарт. Свою предсмертную молитву он обратил к черному метеоритному камню, который называл “своей Меккой”. Перед смертью он отправил своему другу, Карлу Хаусхоферу, о котором нам еще предстоит говорить, пространную рукопись. В ней он заявлял, что основанное им “Общество Туле” должно продолжать свою деятельность, чтобы со временем “изменить мир”.

В 1920 году Эккарт и другой основатель “Общества Туле” Альфред Розенберг познакомились с Адольфом Гитлером. В течение последующих трех лет они были почти неразлучны. Один из биографов Гитлера писал, что Эккарт был его духовным наставником. В 1923 году Эккарт стал одним из семи основателей национал-социалистической партии (семь, сакральное число...). А незадолго до смерти он завещал друзьям: “Следуйте за Гитлером, мы наделили его способностью общаться с “Иными”...”

Легенда о Туле столь же стара, как сама германская раса, в мифологии которой она возникла. Подобно Атлантиде, остров Туле считался центром исчезнувшей в древности великой цивилизации. Эккарт и его друзья были глубоко убеждены, что не все магические секреты, которыми владели Повелители Туле, исчезли вместе с ними. Они верили, что с помощью неких медиумов, посредников между обычными людьми и “Иными”, то есть скрывающимися где-то “Повелителями”, можно овладеть этими секретами, которые дадут Германии власть над миром и сделают ее колыбелью будущей расы Властителей Земли.

Мы вступаем в область мистической мифологии и оккультной магии. Нам трудно поверить, что современные, цивилизованные люди способны всерьез принимать такие мифы. Тем не менее именно на таких представлениях Эккарт и Розенберг основывали свою “арийскую доктрину”. Именно эти идеи они вложили в путаное, фантастическое сознание Гитлера, увидев в этом странном человеке своего искомого медиума. Это им вторил Гитлер, когда говорил — загадочно и невнятно для непосвященных: “Наша революция приближается к той стадии, когда она отменит всю прежнюю историю. Мои товарищи по партии не понимают, какие

грандиозные основы мы закладываем. Это будет больше, чем возникновение новой религии...”

“Общество Туле”, формировавшее нацистские представления о мире, не было чем-то единичным. Доктор Вилли Лей, крупнейший специалист по ракетостроению, бежавший из Германии в 1933 году, рассказал, что в Берлине, накануне прихода нацистов к власти, существовало другое тайное общество, которое называлось “Сверкающей ложей” и было основано на идеях романа английского писателя Бульвер-Литтона “Грядущая раса”. Этот роман описывает человеческую расу, психическое развитие которой намного превышает обычный уровень. Ее возможности поистине равны возможностям богов. До поры до времени эта раса скрывается в пещерах в центре Земли. Но скоро она выйдет на поверхность, чтобы властвовать над людьми.

“Сверкающая ложа” имела и другое название — “Общество Врил”. Слово “Врил”, впервые введенное в обращение автором приключенческих романов французом Жаколио, означало скрытую психическую энергию Вселенной, источник потенциальной божественности человека. Обычные люди способны, по Жаколио, использовать лишь ничтожную частицу этой энергии. Тот, кто подчинит себе “Врил”, будет повелевать собой, другими и всем миром. Это и должно быть нашим единственным стремлением, считали члены “Сверкающей ложи”; все остальное, провозглашаемое официальной наукой, религией, моралью, не имеет никакого значения. “Миру предстоит измениться. Повелители придут из центра Земли. Если мы не заключим с ними союз, нам угрожает превратиться в их рабов...”

Может быть, теперь станут понятнее загадочные признания Гитлера в беседах с Раушнинггом, тогдашним губернатором Данцига: “Новый человек уже живет среди нас. Он здесь! Я видел его. Он жесток и непобедим. Он страшен...”

Рассказывая об этих признаниях, Раушнинг пишет: “Гитлер говорил так, будто находился в мистическом экстазе”.

Возможно, кое-кому бессвязные восклицания Гитлера покажутся недостаточно убедительным свидетельством мрачного мистицизма устремлений, руководивших его действиями. Обратимся тогда к реальной практике нацизма. На нюрнбергском трибунале была вскрыта деятельность еще одной важной группы,

которая оказала не менее глубокое и, возможно, наиболее явное воздействие на умы нацистских лидеров. Речь идет о группе "Анерэрбе", иначе именовавшей себя "Обществом по изучению древнего наследия". Члены ее провозглашали, что родиной арийской (индо-германской) расы является древний Тибет. Там, по их убеждению, арийская раса некогда достигла вершин тайного знания и реального могущества. В своей практике члены общества стремились возродить ставшие им известными в откровениях ритуалы и обряды тех времен. Один из руководителей "Анерэрбе", эсэсовский палач Сиверс, выслушав решение Нюрнбергского трибунала, приговаривавшее его к смертной казни, попросил разрешения совершить "магический ритуал своего Ордена" перед тем, как его пошлют на виселицу. Друг Сиверса писал о нем в своем дневнике: "Я уверен, что он принадлежит к какой-то новой, тайной церкви, которая отбросила прежние религиозные догмы. Он рассказывал мне о празднествах почитаемого им "языческого пантеона", включавшего неведомых мне богов". А далее следовал вывод: "После разговора с Сиверсом я пришел к мысли, что точно так же, как девятнадцатый век был веком разума, двадцатый стал веком новых культов и мифов. Насколько мне известно, Гитлер всецело погружен в них. Люди прежнего, либерального склада ума просто не понимают, с чем они имеют дело..."

"Новая церковь", каковой в действительности было общество "Анерэрбе", ставила своей задачей "духовное и биологическое преобразование человечества", понимая под этим возрождение арийской расы в качестве расы полубогов, какой она некогда была. Началом такого превращения должно было стать создание особого мистического, полумонашеского "Черного Ордена". Этим новым "Орденом" были отряды СС. Гитлер говорил тому же Раушнингу, на сей раз уже совсем недвусмысленно: "Я открою вам секрет — я хочу основать новый Орден. Он будет ступенью ко второй стадии — стадии человекобога, который станет предметом поклонения всего остального человечества. Будут и следующие стадии, но мне не дозволено о них говорить..."

Не случайно именно руководитель СС Генрих Гиммлер стал главным покровителем "Общества Анерэрбе". В 1935 году оно было ассоциировано с СС и превращено в официальную нацист-

скую организацию, целью которой объявлялись "исследования, направленные на локализацию места возникновения, установление особенностей и выяснение достижений древней индо-германской расы". В январе 1939 года "Анерэрбе" было полностью включено в состав СС и его руководители получили должности в штате Гиммлера. К тому времени "Общество" уже имело пятьдесят отделений; их деятельность простиралась от изучения древних магических текстов до оккультной практики, от вивисекции, проводимой на узниках концлагерей, до шпионажа в пользу тайных мистических групп. Общество вступило в переговоры с гитлеровским супершпионом Отто Скорпени с тем, чтобы с его помощью найти и похитить "Священный Грааль", этот источник вечной жизни согласно германской мифологии. В рамках "Анерэрбе", при Гиммлере, был создан особый "отдел по исследованию сверхъестественного"; специальные эмиссары общества были направлены в Тибет для приобретения там "арийских артефактов"; другие, под руководством Сиверса, действовали в лагерях уничтожения, проводя там зверские и мучительные "исследования" представителей низших рас, в частности — добывая еврейские скелеты. Тайной мечтой Гиммлера, на которую он направлял всю деятельность специалистов из "Анерэрбе", было создание (на территории Люксембурга, Бургундии и Швейцарии, как он открыто заявил в 1943 году) первого в истории "Государства СС" — этого "Черного Ордена", который, по мысли Гитлера и Гиммлера, должен был стать колыбелью будущей расы человекобогов, призванных, с помощью черной магии, преобразовать мир и повелевать этим миром. Этому дальнему, всемирно-историческому плану подчинялись многие реальные, политические и военные замыслы нацистских лидеров. Порабощение целых народов и лагеря уничтожения рассматривались в этом плане как необходимые инструменты Великого Преобразования. Газовые печи? Что ж, — еще один магический ритуал...

Это не были отдельные, разрозненные очаги иррационального безумия, достойные снисходительной усмешки. Тайные мистические общества и группы были объединены личными связями, общими взглядами и единой целью — создать новую картину человеческой истории, основанную на Тайном Знании, открытом только Посвященным. Эта картина отвергала прежнюю,

“официальную”, рациональную историю и взамен ее утверждала новые представления о мире. Доисторической Землей правили цивилизации Гигантов; с помощью магических заклинаний Человечебоги повелевали движением планет; мистические связи объединяли человечество с космосом; оккультные церемонии позволяли проникнуть в тайны будущего. В таком мире возможно было то, что отрицала “официальная наука”: медиумическая связь с прошлым, овладение секретами черной магии, создание новой расы полубогов. Перспективы этих небывалых возможностей воодушевляли нацистских лидеров в их тайных планах, подлинные цели которых они никогда не открывали рядовым членам движения.

В 1923 году, после неудачного “мюнхенского путча”, Гитлер был посажен в тюрьму. Здесь его постоянным посетителем и собеседником вскоре стал высокий, статный, респектабельный господин ученого вида, который чуть не ежедневно посещал заключенного и вел с ним долгие, многочасовые разговоры. Этим новым наставником Гитлера был профессор Мюнхенского университета Карл Хаусхофер, уже упоминавшийся нами друг Дитриха Эккарта и одновременно — известный ученый, создатель новой науки “геополитики”, основатель одноименного журнала и автор многочисленных геополитических трудов, принесших ему мировую славу. Никто не знал, однако, что за профессорским обликом и внушительной внешностью Хаусхофера в действительности скрывался другой человек. Этот глашатай чисто материалистического, по существу, подхода к реальной политике был на “эзотерическом” уровне тайным поклонником Игнация Лойолы, последователем Шопенгауэра, учеником буддистских монахов и “великим Мастером” основанного Эккартом “Общества Туле”. Познакомил же Хаусхофера с Гитлером другой член общества — небезызвестный нацистский лидер Рудольф Гесс.

Хаусхофер родился в 1869 году. В молодости он совершил несколько долгих путешествий в Индию и на Дальний Восток, где познакомился с восточными языками и мистической философией. Он пришел к убеждению, что германская (арийская) раса возникла в Тибете и является звеном, соединяющим нынешнее человечество с великими древними цивилизациями, обладавшими “тайным знанием”. В Японии, где он три года был не-

мецким военным атташе, он вступил в секретное общество, обязавшись покончить самоубийством, если не справится со своей "миссией". Миссия эта, по его убеждению, состояла в том, чтобы открыть немецкому народу его предназначение. Одним из шагов к этому было введение Хаусхофером свастики в качестве мистической эмблемы нацистского движения.

В древней Азии и Европе свастика считалась магическим символом Солнца, жизни и плодovitости. В противоположность кресту, кругу или полумесяцу, свастика не была примитивным символом, который возникал в разные времена у разных народов, наделенный разным значением, — это было более позднее изобретение, появившееся в Индии, Японии и Китае в четвертом-шестом веке нашей эры. Знак свастики никогда не находили в регионах, населенных семитскими народами. Может быть, именно эта особенность подвигла некоего Гвидо Люста в 1908 году провозгласить, что свастика — это чисто индо-европейский символ расовой чистоты и одновременно — знак эзотерического, тайного знания, скрывающегося в нордических арийских мифах.

Хаусхофер провозгласил, что родина свастики, как и арийской расы, — Тибет. В этом он сходилcя с Посвященными из "Общества Анерэрбе". Подобно им, Хаусхофер и Посвященные из "Общества Туле" верили, что тридцать-сорок веков назад Тибет был средоточием цивилизации, обладавшей магическими возможностями. Неведомая, возможно — атомная, катастрофа превратила его в пустыню. Остатки уцелевших мигрировали в Скандинавию и на Кавказ, дав начало арийской расе. Но их Повелители, владевшие Тайным Знанием, не бежали. Они укрылись в двух гигантских подземных городах в Гималаях — Агартти и Шамбалла, — разделившись, соответственно, на две группы: "Путь правой руки", который посвятил себя медитации, отказавшись от вмешательства в историю, и "Путь левой руки", поставивший своей задачей постепенно привести человечество снова к "поворотной точке истории", когда арийская раса вернет себе господство над миром. Заметим, кстати, что названия "Агартти" и "Шамбалла" были впервые введены русским мистиком Оссендовским в книге "Люди, звери и боги", опубликованной в 1925 году, почти одновременно с "Майн кампф". Члены "Общества Туле", как и члены "Общества Анерэрбе" (а также члены "Сверкающей ло-

жи”, верившие в приход Грядущей Расы), считали, что они призваны установить связь с Повелителями Шамбаллы и их источниками древнего магического знания, чтобы с его помощью создать новую тысячелетнюю империю, наподобие погибшей в Тибете.

Судьба сыграла с Хаусхофером злую шутку. Он не дождался прихода “тысячелетнего рейха”. Он покончил с собой в марте 1946 года, когда узнал, что его сын казнен в концлагере за участие в покушении на Гитлера. К тому времени сам Гитлер, этот Мадриум-Посредник между Посвященными и Повелителями Шамбаллы, был уже мертв. Мертв был и другой Посвященный — создатель Черного Ордена СС Генрих Гиммлер.

Мы не предлагаем заняться сейчас детальным изучением всех этих групп, их учений и влияния на нацистскую верхушку. Мы хотим только подчеркнуть, что все они разделяли общие убеждения и были ведомы одинаковой верой. Они принадлежали к одному течению мысли и к одной “религии” — мистической и антихристианской. Отыскивать ее корни и устанавливать, кто на кого повлиял, — занятие, подобное поиску влияний в литературе: поиски кончаются, а литература остается. Потому что в литературе все решает, в конечном счете, вопрос, кто обладает талантом. А в политике — кто обладает властью. В нацистской Германии к власти пришли Гитлер, Гиммлер, Гесс, Розенберг и им подобные люди. Их фантастическое мышление формировалось в недрах этих тайных мистических групп. Поэтому присмотреться к тому, что объединяло эти группы, нам кажется необходимым. Ибо мы считаем, что все эти группы, большие или маленькие, связанные друг с другом или разобщенные, были проявлением чего-то единого и грозного. Можно, если угодно, назвать это проявлением Зла. Но истина в том, что мы так же мало знаем о мире Зла, как и о мире Добра. Мы живем между этими двумя мирами и полагаем, будто эта “ничейная полоса” и составляет все сущее. Взлет нацизма, по нашему убеждению, был одним из тех редких моментов в истории человечества, когда дверь в “Иное” внезапно распахнулась настежь. Странно, что большинство людей не заметило ничего, кроме звуков и картин, сопровождающих обычную политическую борьбу и обычную мировую войну.

Нацисты распахнули дверь в мир, где магия заменяет науку,

а мистика отменяет разум. Трудно понять, как за какие-нибудь считанные годы в современной, недавно еще цивилизованной стране внезапно утвердилось совершенно иная, чуждая нашей, культура, являвшаяся тотальным возвращением к "арийской" языческой и мифологической древности. Тем не менее это бесспорный факт. Руководители современного государства верили во Вселенскую Магию, управляющую как делами космоса, так и судьбами человечества. Они абсолютно серьезно считали, что человеческий мир находится в магической связи со всем его окружающим и может по своему произволу его изменять. Они полагали, что люди просто утратили знание этой связи и соответствующих магических ритуалов и обрядов. И они были убеждены, что следующий цикл истории, открываемый Тысячелетним Рейхом, призван восстановить это знание и перебросить мост между нынешней и древней арийской расой Повелителей Мира. Они хотели превратить нордический Авангард Человечества в реальных Человекобогов. Они утверждали, что им открыто некое Тайное знание, позволяющее установить контакт с отдаленным прошлым, когда Землей правили Иные Существа — древние Человекобоги-Гиганты...

Даже Раушнинг, которому Гитлер порой приоткрывал свои эзотерические верования, иногда страшился вещей, которые тот ему говорил: "Постоянной, возвращавшейся темой его высказываний было то, что он называл "решающим, поворотным пунктом в истории мира". Он утверждал, что это будет всепланетный катаклизм, природу которого мы, непосвященные, неспособны понять".

Гитлер говорил с Раушнингом как глашатай "нового человечества". Он восклицал: "Эволюция еще не завершена. Человек подошел к последней стадии своих превращений. Его конечная цель — приближение прихода Сынов Бога. Одна разновидность людей исчезнет, другая поднимется. Она будет бесконечно выше современного человека. Понимаете ли вы теперь все значение национал-социализма? Тот, кто думает, что это просто политическое течение, не понимает ничего..."

Таковы были эзотерические глубины нацистской философии. Таков был образ мышления, господствовавший в кругу "посвященных" нацистских лидеров. А мостиком между верой в древнее

Тайное Знание и вытекавшими из нее практическими действиями была нацистская нордическая наука, которую Гитлер противопоставлял науке "иудео-либеральной". Эта нордическая наука призвана была подвести теоретический фундамент под мистические концепции национал-социализма и под его притязания на будущее.

Две основные научные теории конкурировали между собой в нацистской Германии. Обе были признаны официально. Обе имели поддержку нацистской верхушки. И обе служили руководством к практическому действию. Одной из этих теорий была гипотеза "полой Земли", другой — доктрина "вечного льда". В конечном счете, вторая восторжествовала над первой. Но этому предшествовали обстоятельства, которые, в конечном счете, повлияли на судьбы миллионов людей.

Кажется, первым глашатаем теории "полой Земли" был американец Симнз, который еще в 1818 году обратился к ученым и конгрессменам с письмом, где заявлял: "Я провозглашаю, что Земля представляет собой полую сферу и обитаема изнутри". В 1870 году последователь Симнза, тоже американец, Тид, пошел еще дальше, заявив, что полая Земля не просто "обитаема изнутри", но что мы, все человечество, как раз и живем на внутренней поверхности этой полости. Свои взгляды Тид пропагандировал в основанном им журнале "Пылающий меч".

В конце первой мировой войны некий немецкий летчик по фамилии Бендер случайно наткнулся на подшивку журналов Тида, увлекся его идеями и, в конце концов, разработал их в виде законченной "научной теории". Согласно Бендеру, Земля представляет собой огромную полость в бесконечной скале; все живое обитает на ее внутренней поверхности; существа удерживаются на ней от падения к центру благодаря давлению солнечных лучей. Солнце находится в центре полости; там же находится Луна, а также "Призрачная Вселенная". Последняя представляет собой шар голубоватого газа, пронизываемый яркими лучами света, которые астрономы называют "звездами". Ночь наступает, когда этот шар заслоняет Солнце, затмения вызваны его прохождением перед Луной. Мы же считаем, что Вселенная находится вокруг нас, "вовне", только потому, что световые лучи распространяются по кривой, а не по прямой.

Эта фантастическая теория долгое время признавалась научной картиной мира в нацистской Германии. Причиной тому была, прежде всего, ее очевидная связь с общими мистическими представлениями о мире, на которых основывалась нацистская философия. Идея "полной Земли" связана с многовековой магической и оккультной традицией: во многих религиях упоминается подземный, или внутренний, мир, куда спускаются Герои-Маги — Гильгамеш, Орфей, Улисс; в подземных городах Агарты и Шамбалла укрылись остатки древних предъарийских магических цивилизаций Тибета; из внутренних тайников Земли должна была появиться Грядущая Раса Повелителей "Врила"... Теория Бендера подкрепляла и укрепляла веру в реальность этих представлений и вытекавших отсюда практических следствий и установок. Но была и другая причина ее официального признания. Чтобы утвердить свои представления о мире и упрочить самих себя в этих представлениях нацистам необходимо было "развенчать" обычную науку; в частности — сокрушить теорию относительности Эйнштейна, противопоставив ей что-то свое, "арийское" и нордическое\*.

Теория Эйнштейна базировалась на так называемом опыте Майкельсона, показавшем, что скорость света, идущего в направлении движения Земли, такая же, как света, идущего против этого движения. Но теория Бендера тоже позволяла объяснить этот загадочный результат, — тем, что Земля, будучи поллой, вообще не движется! Поэтому некоторое время она казалась достойной нордической соперницей теории относительности. В те времена у эйнштейновской теории еще не было такого грандиозного и наглядного подтверждения, как атомная бомба. Но оно не замедлило последовать — именно как результат "торжества" нордической науки над "иудео-либеральной", когда Эйнштейн, Теллер, Бор и другие великие ученые-евреи вынуждены

---

\* Много лет спустя нечто подобное повторилось в СССР, где незадолго перед смертью Сталина тоже была предложена антиэйнштейновская, доморощенная, "марксистская" теория относительности; согласно этой теории, — поскольку "материя определяет движение", — все формулы Эйнштейна должны быть исправлены с учетом того, какая именно "материя" движется — "свинцовая", "железная" или "деревянная"...

были бежать из Германии в США и там направить свои усилия на создание атомного оружия.

Несомненно, мир по Бендеру, с его “Призрачной Вселенной” и Солнцем в центре неподвижной земной полости, на внутренней поверхности которой мы живем, был безумен с точки зрения здравого смысла. Но разве менее безумен был мир теории относительности Эйнштейна? Зато мир Бендера был психологически более удобен: он давал людям ощущение надежной защищенности внутри каменного “лона” вместо тревожного чувства незащищенности перед лицом бесконечного Космоса. Эта психологическая комфортабельность подсознательно побуждала многих людей если не вполне соглашаться с “безумной теорией”, то, во всяком случае, соглашаться, что в ней “может быть, что-то и есть...”

Отношение нацистских лидеров к этой теории было куда более серьезным. В апреле 1942 года, в разгар второй русской кампании, когда все силы Германии, казалось бы, должны были быть брошены на войну, Гитлер, Геринг и Гиммлер утвердили “научную экспедицию” на остров Рюген, целью которой было “проверка теории полой Земли”. Дорогостоящая новинка — радарные приборы — несколько дней обыскивали ночное небо под углом в 45 градусов к горизонту, чтобы уловить лучи, отраженные от противоположной стороны земной “полости”! В случае удачной экспедиции поручалось проверить и практические применения “теории” — с помощью тех же отражений выяснить недоступное прямому наблюдению расположение английского флота в Северном море..

После провала эксперимента на острове Рюген престиж Бендера в глазах нацистских руководителей резко упал. Этому способствовала и откровенная враждебность к теории Бендера сторонников ее главного конкурента — доктрины “вечного льда”, которая признавала существование Космоса во вне Земли. В разгоревшемся споре стороны, в конце концов, апеллировали к авторитету фюрера. Ответ Гитлера был весьма примечателен. “Наши концепции, — сказал он, — вовсе не должны быть согласованы. Могут быть верны обе теории”.

Иными словами, самым важным в новой, иррациональной системе идей, утвердившейся в нацистской Германии, была не

логическая согласованность и разумность теорий, а напротив — разрушение всех систем, основанных на логике и разуме. Обе несовместимые теории верны, поскольку обе основаны на мистическом динамизме и взрывчатой силе откровения.

Влиятельный Ганс Хорбигер, автор доктрины “вечного льда”, все же добился того, что его конкурент был отправлен в концлагерь. Создатель теории “полой Земли” стал ее первым мучеником.

Хорбигер мог торжествовать. Его “доктрина вечного льда” стала главной научной теорией нацистской Германии. Она была признана в качестве официальной картины мира, потому что она подводила общий фундамент под разрозненные мистические откровения, связывая их в единое стройное целое. В итоге она повлияла на некоторые практические решения Гитлера и несомненно внесла свой вклад в окончательное поражение Германии в войне. Именно потому, что Гитлер стал рабом и орудием этой теории, он готов был обречь весь немецкий народ на исчезновение в волнах “последнего потопа”...

В чем же состояла эта теория?

Летним днем 1925 года почта доставила во все научные институты Германии и Австрии письмо, содержавшее следующий ультиматум: “Пришло время выбирать — с нами или против нас! Гитлер очистит немецкую политику, а Ганс Хорбигер сметет с пути ложную науку. Доктрина вечного льда ознаменует возрождение немецкого народа. Берегитесь! Переходите к нам, пока не поздно!”

Автором этого письма был 65-летний старик с огромной седой бородой, сверкающими глазами яростного пророка и почерком, который поставил бы в затруднение многих графологов. Ганс Хорбигер считал себя ученым, хотя его доктрина вечного льда противоречила всем положениям современной астрономии и космологии. Это не смущало Хорбигера: он считал, что науку следует изменить. “Вы должны верить мне, а не уравнениям! — восклицал он в бешенстве. — Когда вы наконец поймете, что вся математика — это ложь и бессмыслица?!”

Хорбигер не только говорил — он действовал. Он создал в немецких интеллектуальных кругах собственную организацию. Он располагал значительными средствами, происхождение кото-

рых так и осталось тайной, и пользуясь ими развернул настоящую кампанию. Его организация имела собственный информационный центр, отделения для вербовки, членские взносы и множество пропагандистов и агитаторов из числа гитлеровской молодежи. Они заклеивали стены своими плакатами, наводняли газеты своими объявлениями, организовывали митинги и собрания. Они срывали научные съезды криками: "Долой официальную науку!" Они избивали профессоров, они угрожали ученым, они заставляли промышленников требовать от принимаемых на работу людей подписываться под заявлением: "Я верю в доктрину вечного льда".

Поначалу ученые протестовали. Они доказывали несостоятельность идей Хорбигера. Их тревожило превращение организации Хорбигера в массовую. После прихода Гитлера к власти оппозиция Хорбигеру стала меньше, хотя в университетах по-прежнему еще преподавали ортодоксальную астрономию. Однако постепенно многие выдающиеся немецкие ученые и инженеры начали примыкать к доктрине вечного льда. В их числе были физик Ленард, который вместе с Рентгеном открыл невидимые лучи, знаменитый ракетостроитель Оберт и известный физико-химик Штарк, исследования которого по спектроскопии получили мировое признание.

Доктрина Хорбигера с ее великими потопами и последовательными переселениями народов, ее Гигантами и Рабами, ее Периодами Наказания и Периодами Спасения во многом перекликалась с мифологией Ницше и Вагнера. Что еще важнее — она перекликалась с учением об арийской расе. Не случайно среди внимательных слушателей Хорбигера были Альфред Розенберг и Генрих Гиммлер. Теория Хорбигера надежно утверждала чудесное происхождение арийцев, некогда спустившихся с вершин, населенных сверхлюдьми предшествующего периода, чтобы править над землей и миром.

Современная наука считает, что Вселенная возникла несколько миллиардов лет назад в ходе гигантского взрыва. Что это был за взрыв? Видимо, вся Вселенная до этого была сконцентрирована в одном атоме, который взорвался и начал расширяться в пустоте.

Эта теория не претендует на объяснение всех загадок рожде-

ния Вселенной. Она также не дает ответов на все без исключения вопросы, связанные с образованием нашей солнечной системы. По одной гипотезе это было вызвано прохождением вблизи Солнца другой звезды. Существует и другое объяснение, которое связывает рождение планет с взрывом вблизи Солнца его близнеца.

Хорбигер утверждал, что он знает точные ответы на все эти вопросы. Представьте себе, говорил он, что где-то во Вселенной находится огромное раскаленное тело, в миллионы раз большее, чем Солнце. Это тело сталкивается с гигантской планетой, состоящей из космического льда. Ледяная глыба проникает глубоко внутрь сверхсолнца. В течение сотен тысяч лет ничего не происходит. Затем поток пара, образовавшегося от плавления льда, вырывается, наконец, наружу и приводит к грандиозному взрыву. Некоторые осколки падают обратно на сверхзвезду, другие уносятся в бесконечность, а третьи образуют планеты. Первоначально таких планет было ровно тридцать. Все они были покрыты льдом. Каналы на Марсе доказывают это: они представляют собой трещины в ледяном покрове. Луна, Юпитер, Сатурн состоят из сплошного льда. Только Земля еще остается ареной борьбы льда с огнем. Где-то за орбитой последней планеты тянется огромный ледяной пояс; его-то ученые и называют Млечным путем. На самом деле, все фотографии так называемых "звезд" — это фальшивки.

Пятна на Солнце, которые ортодоксальная "наука" не может объяснить, возникают в результате падения на солнечную поверхность огромных глыб льда, оторвавшихся от Юпитера. Юпитер обращается вокруг Солнца за одиннадцать лет, и пятна появляются с такой же частотой.

В промежуточной зоне взрыва планеты подчиняются двум силам — выталкивающей силе первоначального выброса и притягивающей силе гравитации. Эти силы не равны. Сила выброса постепенно уменьшается. Поэтому каждая планета притягивается к своему ближайшему соседу, описывает вокруг него сужающуюся спираль и, в конце концов, падает на него. А вся система, в свою очередь, падает на Солнце. Ее окончательное падение ознаменуется гигантским взрывом, и тогда космический цикл начнется сначала.

Понятно, что Луна тоже рано или поздно упадет на Землю. По мере приближения сила лунного тяготения будет становиться больше. Вода в океанах начнет подниматься к Луне, она затопит тропики и даже невысокие горные вершины. Притяжение к Земле станет меньше на величину лунного тяготения, все существа станут легче и увеличатся в размерах. Космические лучи станут интенсивнее и будут вызывать больше мутаций. Возникнут новые виды животных, растений и людей гигантского размера. Кончится все это тем, что Луна взорвется над Землей, образовав огромное кольцо из камней, льда, воды и пара. Затем наступит черед Марса. Но он не упадет на Землю, а пронесясь поблизости от нее в своем падении на Солнце, увлечет за собой всю земную атмосферу. Океаны взорвутся в безвоздушное пространство, и вся земная лава вырвется наружу. История человечества кончится, и безлюдная планета будет сближаться с другими глыбами космического льда, чтобы снова образовать с ними ледяную сверхпланету, которая, в конце концов, упадет на Солнце...

Такова судьба нашей солнечной системы, по утверждению австрийского инженера Хорбигера, которого нацистские лидеры называли "Коперником XX века"...

Теперь нам предстоит описать приложения этой доктрины к истории человечества. По Хорбигеру, нынешняя земная Луна — не первый, а четвертый по счету спутник нашей планеты. В ходе своей истории Земля уже поглотила три из них. Каждый раз такая Луна по спирали приближалась к Земле, вызывая новую катастрофу, а затем падала на нее. Однако предстоящая катастрофа будет грандиозней, потому что последняя Луна намного больше других.

Вся история Земли может быть объяснена этой сменой Лун в небесах. Четыре Луны знаменуют четыре геологические эпохи. Мы живем в четвертую. Каждый раз, когда очередная Луна приближается к Земле, наступает период в сотни тысяч лет, когда она находится очень близко к земной поверхности. Это вызывает изменения в силе тяжести. С приближением очередной Луны на Земле начинается эпоха гигантизма. В конце первой эпохи властвуют гигантские насекомые. В конце второй — гигантские ящеры. Мутации приводят к превращению их в летающие существа. Вероятно в то же время, примерно пятнадцать

миллионов лет назад, возникают первые млекопитающие и человек. Это человек-гигант, создатель предшествующей цивилизации.

Наконец вторая Луна обрушивается на Землю и наступает безлунный период, пока из космических просторов к Земле по спирали приближается новый кусок льда, которому суждено стать ее третьей Луной. К этому времени на Земле появляются обычные люди — небольшого размера и низкого уровня интеллекта наши подлинные предшественники. Свою цивилизацию они получают от уцелевших гигантов, переживших падение на Землю второй Луны и внезапное повышение силы тяжести.

Затем наступает третья эпоха. Новая Луна по спирали приближается к Земле. Воды океана, притягиваемые ею, поднимаются, и люди, возглавляемые гигантами, ищут убежища на высоких вершинах. Здесь они создают великую цивилизацию с пятью центрами — в Андах, Мексике, Новой Гвинее, Абиссинии и Тибете — местах, еще не покрытых водой. С падением на Землю третьей Луны эти цивилизации погибают, но их следы остаются — частично в верованиях людей этих мест, частично в виде археологических реликтов, которые, по утверждению последователей Хорбигера, были обнаружены в высокогорной Боливии, на острове Пасха и в других местах. Остатки гигантов основывают последнюю цивилизацию в Северной Атлантике — так называемую Атлантиду, — но и она гибнет в ходе следующего катаклизма, когда Земля захватывает свою четвертую и последнюю Луну. Это и был знаменитый библейский Потоп.

По расчетам Хорбигера падение третьей Луны произошло 150 тысяч лет, а захват четвертой — 12 тысяч лет назад. С тех пор на Земле остались только обычные люди; гиганты не могли выжить в новых условиях повышенной силы тяжести.

Но сейчас мы вступаем в четвертый цикл. И в нем арийской расе и ее фюреру предназначена особая, всемирно-историческая миссия.

В чем же состоит это специфическое призвание Гитлера? Согласно учению Хорбигера, в борьбе огня со льдом каждые шесть тысяч лет наступают все новые “малые циклы” земных катастроф. Но в самих человеческих существах циклы “огня и льда” сменяются еще чаще — каждые семьсот лет. Наступает период подъема

витальных и магических сил человечества. В некоторых людях пробуждается сознание своей мистической ответственности за устройство Вселенной. Они становятся — в своеобразном смысле этого слова — посредниками между прошлым и будущим. Они устанавливают связь с отдаленными предками. Они готовятся к предстоящим мутациям. Они опять способны различать между человекобогом и человекокорабом, чтобы устранить последних из своей среды. Они становятся беспощадными в той роли, которую им назначили Грядущие Гиганты.

Последний такой цикл произошел семьсот лет назад, с появлением тевтонских рыцарей. Начало нынешнего ознаменовано появлением нацизма. Всемирная и даже космическая миссия нацизма — подготовить Землю к возвращению Гигантов.

Раушнинг, как и многие другие, никогда не связывал расовое учение нацистов с доктриной Хорбигера. Между тем, между ними была глубокая связь. Ибо кроме обычного, пропагандистского расизма, который был осужден учеными и судебными трибуналами, существовал и другой его вид, логика которого была недоступна ни антропологам, ни судьям. Вот в чем она состояла.

Эпоха, в которую мы живем в ожидании новой космической катастрофы, мутаций и возвращения гигантских полубогов, характеризуется одновременным существованием на Земле многих различных форм жизни, зародившихся в разные предшествовавшие эпохи, в разные периоды. Одни родились в период подъема, другие — в период дегенерации. Одни несут в себе семена вырождения, другие — семена грядущего. Люди не одинаковы. Одни призваны помочь пришествию грядущих Повелителей и их труду по поддержанию Универсального Равновесия в Космосе и на Земле, другие — наследники низших форм жизни, возникших на болотистых равнинах, после отступления последних наводнений, вместе с прочими ползающими и пресмыкающимися гадами. Негры, евреи и цыгане в подлинном смысле слова — не люди, они лишь завистливые имитации людей. "Они дальше от людей, чем животные, — сказал Гитлер Раушнингу. — Я не хочу этим сказать, что они животные, нет, они еще дальше от нас, чем животные, они не принадлежат к человечеству, поэтому их уничтожение не является преступлением против человечности. Это существа, находящиеся вне человеческого круга".

Если вдуматься в эти слова, станет понятно, что некоторые заседания Нюрнбергского трибунала были пустой тратой времени. У судей не было общего языка с подсудимыми. Здесь столкнулись два разных мира, и один из них был так же далек от нашего, как марсианский. Руководители этого "нового мира" не имели никакого интеллектуального, морального или духовного сродства с обычными людьми. Но судьи действовали так, словно не понимали этого. Может быть, они действительно должны были скрыть эту ужасную правду, чтобы сохранить в нас веру в непрерывность и универсальность нашей гуманистической и рационалистической цивилизации и каким-то хитрым образом "включить" обвиняемых в ее рамки. Это было действительно необходимо, если мы хотели сохранить духовное равновесие нашего западного мира, спасти миллионы людей от мистического соблазна.

Трудно примириться со столь непривычным предположением, будто в Германии, всего за несколько лет, возникла совершенно иная цивилизация. Но это связано с тем, что наше понимание различий между "цивилизованностью" и "нецивилизованностью" весьма поверхностно. Мы продолжаем мыслить в категориях машин и книг. На самом же деле, истина в том, что куда легче сделать цивилизованным человеком знахаря из племени банту, чем включить в нашу культуру Гитлера, Хорбигера или Хаусхофера. Но эту истину заслоняет нам немецкая технология, немецкая наука и немецкая организация, вполне сравнимые с нашей, если не превосходящие ее. Великим новшеством, которое ввели нацисты, было соединение технологии и науки — с магией и язычеством. Ленин когда-то сказал, что коммунизм — это советская власть плюс электрификация. Точно так же можно сказать, что нацизм — это магический эзотеризм плюс танки.

Гитлер выражал это нацистское единство в одном — своем — лице. Он был убежден, что в вечной борьбе огня со льдом он стоит на стороне "огня" и "лед" должен повсюду отступать перед ним. Он считал себя Повелителем Льда, и свято верил, что русские снега и морозы не нанесут ущерба его армиям.

Затем, в декабре 1941 года, ударили сорокаградусные холода. Немецкая армия под Москвой замерзала. Генерал Гудериан прилетел с фронта в Ставку, чтобы доложить о ситуации. "Хо-

лодом я займусь сам, — сказал ему Гитлер. — Ваша задача наступать...”

Гитлер бросил свою армию в ледяную могилу, чтобы доказать превосходство мистической веры над реальностью. И точно так же, на следующий год, он повернул ее с теплого Кавказа на север, к Сталинграду, где она потерпела окончательное поражение. “Понимаете ли вы, что произошло? — вопрошал Геббельс. — Это не просто трагедия. Рухнула целая школа мысли, целая концепция Вселенной, потерпели поражение силы духа, наступает последний час”.

Но даже в последний час Гитлер не отказался от своей мистической теории: в духе хорбигеровской доктрины он хотел увенчать свой уход с мировой сцены мировым катаклизмом, последним потопом, в котором погибнет весь немецкий народ. Он отдал приказ затопить берлинское метро, где нашли убежище 300 тысяч человек. Это был жест магического заклинания — по этому сигналу вселенские силы должны были вызвать на Земле Апокалипсис. И Геббельс, перед тем, как отравить себя, свою жену и пятерых своих детей, открыто признал это в своей последней статье: “Наш конец, — написал он, — будет концом всей Вселенной”.

Они хотели изменить весь облик жизни, по-новому сочетав ее со смертью. Они приуговлявали путь к приходу Неведомого Высшего Существа. Они исповедывали магическую концепцию мира и человека. Этой концепции они принесли в жертву миллионы жизней. Они ненавидели западную цивилизацию с ее “буржуазными” ценностями. Они верили в свою победу, потому что считали, что прикоснулись к источнику иррациональных, тайных сил. Они были убеждены, что призваны стать Повелителями Новой Тысячелетней Цивилизации, основанной на мистических учениях древности. Они считали себя пролагателями пути для Гигантов и Полубогов...

Чего они не понимали, так это того, что цивилизация, которую они хотели низвергнуть — и которая, в конечном счете, их сокрушила, — куда более духовна, чем все, что они могли предложить взамен. Ибо эта цивилизация ведет человечество — все человечество, а не только “избранную расу”, — к новым вершинам. Но она делает это, руководствуясь принципами Разума.

Они хотели низвергнуть Разум и утвердить на его месте Мистику и Магию. Но сон Разума рождает чудовищ. Нацизм и был таким иррациональным чудовищем, вторгшимся в наш мир из иного — из мира спящего Зла. В конечном счете, этот дракон был побежден простым "маленьким человеком" с его простым "здравым смыслом", призвавшим себе на помощь Разум...

*Сокращенный перевод с английского Р. Нудельмана*

#### НОВЫЕ КНИГИ В ИЗРАИЛЕ

Книготороварищество "Москва—Иерусалим" выпускает в свет:

**Нелли Гутина. Журнал**

Оригинальный по замыслу и исполнению "журнал одного автора" включает прозу, драматургию, поэзию и публицистику, в которых показана жизнь и проблемы современного общества.

250 стр.

12 долл.

**Нина Воронель. Кассир вечности**

В сборник вошли новые пьесы известного автора, воссоздающие быт и коллизии советской жизни, а также цикл статей "Листки из блокнота", рассказывающих о культуре и искусстве Израиля и Запада.

300 стр.

14 долл.

Заказы и чеки принимаются по адресу: п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

## ИСКУССТВО

*Нелли Гутина*

### “ПУТЧ” В “ГАБИМЕ”

— Внимание, внимание! В Государственном театре воцарился диктатор! Он играет свою индивидуальную игру, ни с кем не считаясь. Он не терпит никаких возражений. Он подавляет любое недовольство. Он работает методами КГБ!

...Я была в “Габиме” во время кратковременного периода “диктатуры” — я видела “Закат”. Ах, если бы захват власти — талантом! — происходил по-чаще! И главное — не только в театре...

Задним числом можно только догадываться о том, чего хотел добиться режиссер и что актеры отказывались ему дать; можно только догадываться о том, чего хотели актеры и что режиссер отказывался им позволить.

Может быть, режиссер рассчитывал воссоздать одесско-еврейский колорит с помощью израильских актеров? Но он, наверно, быстро понял, что воссоздать одесскую специфику легче в Москве, чем в Тель-Авиве.

Может быть, он надеялся, что в переводе на иврит Бабель останется Бабелем? Но в переводе “на Нели Мирски” Бабель вдруг зазвучал почти на шекспировский манер, а в тексте, освобожденном от красочных локальностей, послышались мощные античные ноты.

Наконец, можно предположить, что режиссер, пришедший из другого мира ассоциаций, хотел опереться на свой личный и исторический опыт: Бенья Крик с его “репрессиями”, Никифор с его вынужденной “покорностью” и Мендель, которому так хотелось придать знакомые черты...

Но у местных актеров были свои идеи на этот счет. И если русский режиссер преследовал тайное желание замесить семейный конфликт Криков на “методах КГБ”, то израильские актеры, видимо, были не прочь запаковать “Закат” в рулоны местных газет.

При таких исходных данных конфликт был, конечно, неизбежен. Но кто сказал, что театр должен держаться на идиллии, гармонии и согласии? Между режиссером и актерами? между залом и сценой? между одной культурой и другой? Театр — это драматизация конфликта, и любая конфронтация ему на пользу. Столкновение культур — тем более. На сцене и за кулисами.

Режиссер, который все-таки усвоил урок о свободе как осознанной необходимости, принял единственно правильное в этих условиях решение:

он отправился сам и повел за собой актеров на "общую площадку" мировой культуры.

Но тут актеры неожиданно уперлись. То есть сами по себе они, может, были бы и не прочь, но, привыкшие подчиняться диктату непритязательной публики, отказывались. С сегодняшней газетой в одной руке, с плакатом в другой по "ничейной" территории не разгуляешься. И когда их все-таки загнали туда, где им до сих пор гулять не разрешалось, они, естественно, пожаловались своему истинному "боссу" — медиа. Больше всего паниковал Поллак-Мендель. Его можно понять: он знал свою публику. И не хотел провала.

Но Любимов думал, что знает "свою" — имея в виду тех, кто знал его, Таганку и Бабеля. "Его" публика должна была стать публикой премьеры. И поддерживать.

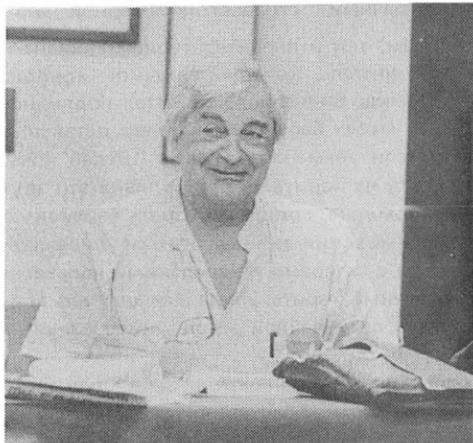
Но с "русской" публикой другая проблема. Если ивритский зритель развращен "актуалией", то "русскоязычный" страдает чрезмерной верностью источникам — как литературным, так и внелитературным (жизненным). На премьеру явился "русский" зритель, который слишком хорошо знал, что такое Бабель и что такое Одесса. Во-первых, он хотел подлинности — прежде всего, языковой среды. Чтобы бабелевский юмор остался и специфика речи была сохранена. Но если знаменитая фраза: "Делай ночь, Нехам!" — у Бабеля звучит забавно, то на иврите из уст Поллака это звучало, скорее, угрожающе. Зритель, к тому же, пришел смотреть еврейскую драму, а не греческую трагедию, и любимовский эквивалент разгуливающего по сцене "флейтиста" в виде певицы с гитарами и хасидскими напевами был, казалось, ни при чем. "Русскоязычный" зритель еще меньше, чем зритель ивритский, был расположен гулять по ничейной земле универсальных драм.

Таким образом, лишенный ассоциативных подпорок в зале, спектакль повис в воздухе. По всем правилам театральной механики он должен был упасть и с треском провалиться.

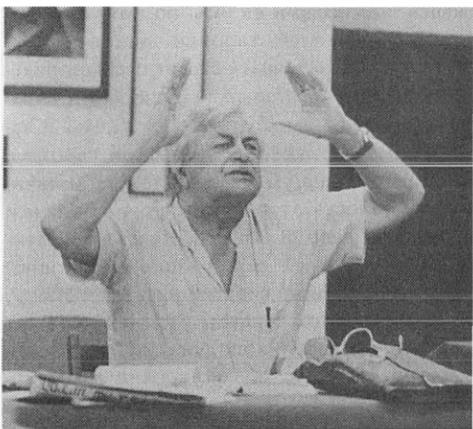
Но он каким-то образом удержался. Режиссер и актеры по причине полного отсутствия взаимопонимания волей-неволей творили чистое искусство. На сцене вовсю разворачивался вечный античный сюжет о символической кастрации стареющего отца подростками сыновьями, которые в соответствии с законами природы и рока обязаны сместить его со сцены и занять его место. Еврейская мать, перенимая эстафету у греческой героини, принимает, разумеется, сторону старшего сына, Бени, — "такого Бенчика!" Старик пора обнаружить в себе усталость от жизни и прочие болячки и, покряхтев, удалиться на покой, передав дело сыновьям. Но старый Мендель, черт побери, сопротивляется этому со всей силой молодого полнокровного Поллака. "Ху бари!" — ревет актриса, схватившись за голову, растягивая это "бари-и-и" (и кто еще при этом жалеет, что она не рычит это по-русски?). Да, он здоров, как бык, он завел молодую любовницу, он собирается с ней бежать, продав семейный бизнес. Нужно срочно восстановить порядок. Чтобы старик удалился на покой. Чтобы все шло согласно графику и судьбе. Чтобы суббота была субботой.



9 августа. В "Габиме" премьера. У входа толпа. В фойе слышится русская речь. Празднично. И не только потому, что "дают" бабелевский "Закат", но, скорее, потому что постановка — Любимова.



На что рассчитывали советские власти, лишив гражданства режиссера, которому 67 лет? На его гибель в чужой земле, без языка, без элементарного понимания "правил игры" в свободном мире, довольно жестоком и безжалостном? Но Любимов не погиб! Напротив, он полон сил, энергии и творческих планов (фото 1). Его календарь постановок по всему свету заполнен уже до 1995 года.



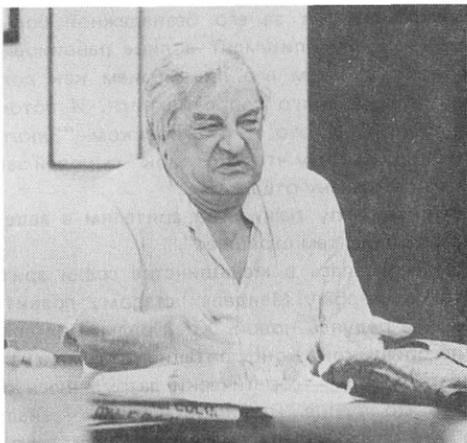
Все предыдущие постановки "Заката" особого успеха не имели. Поэтому особенно интересно было, что сделает Любимов.

На репетициях я увидел обаятельного, общительного и

жизнерадостного человека (фото 2). Я увидел также прекрасного актера, который великолепно перевоплощается, когда показывает интонацию, мимику, пластическое решение образа (фото 3—6). На премьере я увидел блестящий и глубокий спектакль. Любимов поднял драму до уровня трагедии. Вместо экзотической Одессы показал все русское еврейство начала века, трагедию народа, теряющего традиции.

Поразительно, что русский человек так глубоко понял корни проблемы и создал очень еврейский спектакль. На такое способен лишь большой талант. Думается, не случайно "Закат" в постановке Юрия Любимова стал одним из трех спектаклей, которые "Габима" в 1987 году повезет на престижнейший фестиваль искусств в Берлине.

Фотографии и текст  
Григория Виноцкого



И тогда в родительскую спальню входит Беня, нависая над ложем родителей, как орудие судьбы. О, этот Беня — это вам не Бенчик “Одесских рассказов”! Его жестокость не смягчена никаким юмором — Мирски не позволила и правильно сделала. Любимов — в союзе с переводчицей — тоже не позволил Бене разгуливать по сцене с “человеческим лицом”, и злодей вынужден был оставаться злодеем. В чистом виде. “Ты вошел? Вошел? Вошел?” — орет Поллак, и в его голосе звучат раскаты библейского эхо. Это уже не Мендель — это библейский Ной, в шатер которого ворвались сыновья, поднявшие его на смех. (И кто-то при этом еще тоскует о русском оригинале?)

Итак, мощный дуб раскачивают с двух сторон, — собственная семья, с одной, семейка любовницы, с другой. У него есть шансы устоять?

Но если на сцене все против Менделя, то в зале все на стороне Поллака. Когда он шатается на сцене: большой, грузный и раненый — зал, затаив дыхание, следит за его безнадежной борьбой. Потому что общественное мнение и истеблишмент в лице раввинов и цадииков уже приняли новый порядок со всем его лицемерием как должное. И верный человек Никифор тоже недолго сопротивлялся. И потому что “блюститель порядка” — уголовник. И это в габимовском “Закате” не смешно, не пикантно, а страшно. Потому что “порядок” сыновей заставил зал ностальгически вздохнуть по балагану отца...

По замыслу режиссера зрителям в зале положено было заключить, что “чем дальше, тем страшнее”.

Я оставалась в меньшинстве среди зрителей, отказываясь ностальгировать по старому Менделю, старому правителю и старой эпохе, ничуть при этом не радуясь новой. Хрен редьки не слаще, но наоборот тоже, и в этой аллегорической конфронтации в семействе Криков я соблюдала нейтралитет. И даже теоретически затрудняюсь сделать выбор. Я, право же, не знаю, что лучше. Любимов — пока — знает. Но если цена нового “порядка” — кровь, лицемерие и репрессии, то ведь и менделевско-габимовский балаган тоже можно продолжить до такой степени, когда зрители останутся в зале лишь при условии, что Мендель перебьет весь реквизит, Марусяка разденется до конца, а Беня выйдет на сцену не иначе, как в маске очередного “героя дня” местной медиа под радостно “узнающие” смешки зала...

Нужна, конечно же, смелость, чтобы при тоталитарном режиме позволить себе козачьи намеки против власти. Но чтобы при демократическом режиме пойти против вкусов публики, — еще большая. Чтобы поставить “прозрачно намекающий” спектакль в СССР, нужно, конечно, гражданское мужество. Чтобы поставить заведомо некассовый спектакль на Западе — еще большее. Поэтому истинный неконформизм художника проверяется на Западе, а не в России.

Выигрывают ли актеры — искусство в целом — если некто вторгается в чужой монастырь со своим уставом? В конечном счете, да. “Все хорошо, что хорошо кончается”, — сказал исполнитель главной роли Иоси Поллак, для которого все кончилось хорошо — то есть аплодисментами.

Потому что если любимовский "Закат" был на несколько порядков выше бабелевского, то Мендель Поллака был на несколько порядков выше Менделя источника. Войдя в шкуру своего героя, Поллак — благодаря собственному темпераменту и не без помощи режиссера — "расширил" ее, выполнив тем самым сверхзадачу любого актера: не столько войти в образ, сколько выйти из него. Поллаку не нужно было играть с публикой в поддавки — он был вполне вооружен для окончательной победы над ней.

Таким образом, конфликт был преодолен — театральными и сверхтеатральными способами. Мы получили "лучшее из двух миров" — спектакль, поставленный в демократическом театре "методами КГБ". Такое возможно только в театре? Жаль...



*Главный редактор* – Рафаил НУДЕЛЬМАН

*Редакционная коллегия:*

В. БОГУСЛАВСКИЙ, А. ВОРОНЕЛЬ, Н. ВОРОНЕЛЬ,  
Э. КУЗНЕЦОВ, Ю. МЕКЛЕР, Н. РУБИНШТЕЙН,  
М. ХЕЙФЕЦ, Я. ЦИГЕЛЬМАН, И. ЧАПЛИНА

*заведующая редакцией* – Мириам БАР-ОР  
*технический редактор* – Наталья РУБИНА

*Всю корреспонденцию направлять  
по адресу: "22", Р. О. Б. 7045, Рамат-Ган.  
Телефон редакции – 1031-394525*

**Представители журнала за рубежом:**

США: L. Khotin, 1518 Scenic Ave, Richmond, Ca. 94805.

ФРГ: L. Roitman, 67 Oettingest. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22.

L. Gerstein, 12 Muehlbauerst., 8 Muenchen 80 BDR

Великобритания: R. Weisman, 1 Lodqe Rd., Hendon, London NW4 4DD.

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва–Иерусалим" и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле – 50 шек., за рубежом – 40 долл. (авиапочтой в Европу – 50, в США – 56 долл.), для организаций – 50 долл.



Отпечатано в типографии "ЯКОВ-ПРЕСС" , ул. Рош-Пина 22, Тель-Авив

## **СОДЕРЖАНИЕ**

**ЖУРНАЛА "ДВАДЦАТЬ ДВА" №№ 1–50**

Фактически, журнал "22" отмечает этим номером свое десятилетие. Формально он существует несколько меньше. Такое противоречие в хронологии связано с обстоятельствами возникновения журнала.

Четырнадцать лет назад, в Москве, группа активистов еврейского движения во главе с Александром Воронелем задумала издавать периодические сборники "Евреи в СССР". Судьба этой идеи замечательно прослежена Юлием Гофманом (Борисом Хазановым), одним из последующих редакторов этого издания, в статье "Памяти Ильи Рубина" (см. "22", № 6, стр. 3) и здесь нет надобности на ней останавливаться. Достаточно сказать, что именно тогда, в Москве, была выношена и другая идея: оказавшись в Израиле, создать собственное свободное издательство и собственный свободный еврейский журнал. Покойный Илья Рубин, человек, с которым столь многое связано в нашей жизни и нашей памяти, тогда же предложил для этого издательства название: Москва—Иерусалим.

Судьба определила так, что в конце 1974 года в Израиль были выпущены первые редакторы журнала "Евреи в СССР", Александр и Нина Воронели; в конце 1975-начале 1976 годов — его следующие редакторы, Илья Рубин и Рафаил Нудельман, а несколько позже — и редакторы "третьего призыва", Марк Азбель и Эмилия Сотникова. (Из состава четвертой редакции только Борису Хазанову удалось вырваться из России, да и то спустя много лет.) Оказавшись в Израиле, большинство этих людей вошли поначалу в редколлегию уже существовавшего здесь журнала "Сион", который до четырнадцатого номера возглавлял Давид Маркиш и в котором участвовали еврейские активисты предыдущего поколения. (Заметим, что рубежи поколений в еврейском движении в СССР порой отделяло друг от друга всего несколько лет.) В этой редколлегии мы обнаружили нескольких людей нашего направления мысли, и начиная с пятнадцатого номера "Сиона", когда его редактором стал Р. Нудельман, журнал фактически превратился в то издание, о котором мы мечтали в России. Вот почему мы можем с полным правом отсчитывать нашу журнальную биографию с этого момента. По этой же причине в данную библиографию включены материалы, опубликованные в журнале "Сион" именно с № 15.

Однако формальное рождение "22" произошло несколько позже (и увы — после безвременной кончины Ильи Рубина). После выпуска 21-го номера "Сиона" его редколлегия окончательно раскололась: группа издателей сборников "Евреи в СССР" вместе с некоторыми активистами прежнего поколения (то есть большинство редколлегии) вышла из ее состава, вынужденная к этому идеологическими ограничениями свободы публикаций, которые накладывали на журнал представители другого направления.

Эта группа и образовала первую редколлегию нового журнала (в которую впоследствии вошли также Э. Кузнецов, Ю. Меклер, Н. Рубинштейн и Л. Чаплина). Желая сохранить подписчиков, привлеченных к "Сиону" его последними номерами, эта группа решила намекнуть на преемственность нового издания его обложкой, на которой были поставлены только цифры "22" — как продолжение 21-го номера "Сиона". Эти цифры и остались названием нового журнала, порождая с тех времен множество догадок и толков о их "скрытом значении", порой весьма остроумных.

В первых же номерах "22" были опубликованы такие значительные произведения, как повести И. Гиндиса "Хроника местечка Чернополь" и Ю. Милославского "Укрепленные города", а также переводы книг Ф. Дюрренматта "Взаимосвязи" ("Эссе об Израиле") и С. Беллоу "В Иерусалим и обратно". С самого начала журнал взял курс на активное привлечение к себе всех творческих сил русскоязычной литературы в Израиле, и сегодня можно смело сказать, что нет такого значительного автора-репатрианта, писателя или поэта, который бы не выступал на этих страницах. То же можно сказать и об израильских авторах. Полный список этих публикаций интересующийся читатель может найти в прилагаемой "Библиографии"; здесь хотелось бы только упомянуть о рассказах Ю. Милославского, С. Шенбрунн, К. Тынтарева, повестях Ю. Винер, Ф. Розинера, Б. Полякова, пьесах Н. Воронель, об антологии израильской поэзии, созданной совместными усилиями С. Гринберга, В. Лазариса и В. Кукуя, о переводах повестей А. Оза, рассказов и пьес Х. Левина, если называть только то, что вспоминается первым. Журнал впервые познакомил русскоязычного читателя с такими западными авторами, как Х.-Л. Борхесс, Дж. Штайнер, М. Хласко, Т. Конвицкий, и опубликовал многие значительные произведения авторов-эмигрантов — пьесы И. Бродского и Ф. Горенштейна, романы М. Гиршина, В. Войновича и В. Соловьева, главы из новых романов и повестей В. Аксенова, С. Соколова, С. Довлатова. Серьезность и значительность всегда были и остаются главными критериями литературного отбора в "22".

Точно так же с первых же номеров журнал заявил о своем глубоком интересе к публицистике, которая, по общему признанию, стала сегодня его отличительной чертой. Уникальный в зарубежной русскоязычной журналистике раздел полемики и дискуссий, начавшийся с обсуждения таких тем, как "Где наш дом!" и "Свободны ли мы для свободы", постепенно расширился, охватив израильские и общемировые темы. Столь же характерным для "22" стал раздел эссеистики, в котором были опубликованы замечательные циклы эссе М. Каганской, а также А. Воронель и Н. Гутинной. Самым большим по охвату стал раздел "Иерусалимские размышления", посвященный проблемам Израиля и русского еврейства и вместивший не только статьи авторов из России, таких, как В. Богуславский, М. Хейфец, Е. Фиштейн, но и выступления чуть ли не всех самых значительных политических и общественных деятелей Израиля и многих всемирно известных западных мыслителей; здесь невозможно перечислить даже и главные публикации, и я ограничусь только именами — А. Оза, А.-Б. Иошуа, Г. Галкина, Ю. Неемана, И. Эльдада, Р. Алтера, А. Кестлера, Н. Подгорца.

Естественным продолжением этого раздела была серия "Наших интервью", а также публикации, посвященные истории и перспективам еврейства СССР; в самые последние годы журнал начал последовательное восстановление истории еврейского движения в СССР, уже опубликовав около десяти интервью с его ведущими участниками и намереваясь продолжить эту работу. Глубокие исследования Д. Штурман, А. Янова, М. Хейфеца создали имя рубрике "Русский вопрос", посвященной проблемам России.

Нет надобности перечислять все публицистические разделы журнала; они полно отражены в "Библиографии"; но два из них все же следует выделить. Это, прежде всего, большая группа материалов, посвященных "себе, еврейству, выбору пути", то есть, по существу, проблеме национального самосознания; и это, во-вторых, впечатляющая именами и глубиной проблем и мысли рубрика "Философия, история, религия". В сущности, все упомянутое и характеризует пресловутое "лицо журнала", которое так трудно определить в отвлеченных понятиях и которое так зримо и осязаемо предстает в непосредственном знакомстве. Читатель, который даст себе труд перелистать прилагаемую "Библиографию", сразу увидит это "лицо" и уже не спутает его с другими.

Не менее, чем интерес к свободному размышлению, еврейским, израильским, русским и общемировым проблемам, "22" характеризует постоянное и глубокое внимание к проблемам культуры, которые образуют третью и последнюю группу его интересов. Здесь, конечно, следует отметить, прежде всего, цикл работ М. Каганской и З. Бар-Селлы, публикации М. Вайскопфа, А. Воронеля, Н. Гутиной, А. Суконика, Л. Лосева, С. Шаргородского. Рядом с ними нельзя не назвать еще три имени — Ильи Рубина, статьи которого, опубликованные еще в "Сионе", и сегодня остаются непревзойденными; Нины Воронель, которая создала на страницах журнала нетривиальный по размаху и темпераменту цикл очерков о западной и эмигрантской культуре "Листки из блокнота"; и наконец Александра Донде, который под собственным именем и под псевдонимом опубликовал на страницах "22" серию замечательных статей об интеллигенции и интеллектуалах.

С этим итогом журнал "22" приходит к своему десятилетнему юбилею.

.....

В прилагаемой "Библиографии" некоторые материалы для удобства объединены в новые рубрики, иногда отличающиеся от принятых в журнале; публикации расположены в алфавитном порядке авторских имен; первая цифра означает номер журнала "22" (или журнала "Сион", если перед цифрой стоит буква "С"), вторая — номер страницы, с которой начинается публикация; в случае дискуссий указан также номер последней страницы, а сами дискуссии приведены в хронологическом порядке; мелкие рецензии, за недостатком места, перечислены подряд и тоже в хронологическом порядке (фамилии или названия в скобках относятся к автору или названию рецензируемого произведения).

Р. Н.

# І. ЛИТЕРАТУРА

## А. АВТОРЫ ИЗ СССР В ИЗРАИЛЕ

### ПРОЗА

Амрам. Виды Израиля	9—62
Раздумины	26—111
Геннадий Вальдберг. Эй, Мота-а! (фантастический рассказ)	32—93
Юлия Винер. Соломон Исакович (повесть)	31—3
Анри Волохонский. Индийский святой (притча)	1—188
О значении одного слова (глава из романа)	10—85
Нина Воронель. Содом тех лет (главы из романа)	4—5
Исаак Гиндис. Хроника местечка Чернополь (повесть)	2—3
Леонид Гиршович. О теле и духе (повесть)	8—50
Владимир Глозман. Фрагменты	4—76
Александр Гольдман. А может, крокодил (рассказ)	17—54
Проклятый город Кишинев (повесть)	21—4
Монологи	25—97
Анна Гроссман. Рассказы	27—17
Нелли Гутина. Сон в летнюю ночь (пьеса)	44—56
Пересказы	44—90
Двое на остановке и читатель (рассказ)	44—99
Марк Зайчик. "Именем революции" (рассказ)	32—65
Илья Зунделевич. Расхождение (рассказ)	29—51
Феликс Кандель. Рассказы	15—130
Слово за слово (повесть)	44—3, 50—40
Эдуард Кузнецов. Лагерный дневник	5—5
Левитация это всего лишь парение, а не то, чтобы лети куда хочешь (рассказ)	10—48
Русский роман (главы из книги)	24—63
Михаил Лихт. Exit (рассказ)	9—75
Эли Люксембург. Брахия Калан-Дар (глава из романа)	7—22
Израиль Малер. Полет шмеля (рассказ)	27—28
Давид Маркиш. Вершина Утиной полянки (роман)	12—5, 13—47, 14—72
Кадам, убивший сороку (повесть)	22—3
Ицхак Мерас. Высокий седьмой этаж (рассказ, пер. с литовского)	
Ф. Дектора	19—112
Юрий Милославский. Собирайтесь и идите! (повесть)	3—13
Розин (рассказ)	5—72
Два рассказа	10—67
Скажите, девушки, подружке вашей (рассказ)	17—83
Заводские хроники	21—82
Стебанутые (рассказ)	26—38
Кукловод — это звучит гордо!	28—58
Сима Островский. О Боливаре И. Пavidлове (элегия)	11—5

Борис Поляков. Жизнь и смерть Соры-Рохл (повесть-быль)	28–3
Автопортрет с Юлей (повесть)	33–39, 34–69
Феликс Розинер. В обнимку с Хроносом (повесть)	10–3
Три капли адамова ногтя (повесть)	17–4
Шали Рожанская. Привяжись к мачте (рассказ)	17–62
Давид Таксер. Среди мертвых не ищите (микроповесть)	31–92
Иск (главы из повести)	43–63
Кирилл Тынтарев. Дейр Эль-Шамс (рассказ)	29–53
Эрез Фархи и его сестра Лиор (рассказы)	34–3
Рассказы	46–5
Михаил Федотов. Соотечественники (роман, ч. 1)	37–7, 38–75
Владимир Ханелис. Рассказы	40–60
Яков Цигельман. Похороны Мойше Дорфера (повесть)	17–65
К вопросу о способе существования (глава из романа)	10–91
Убийство на бульваре Бен-Маймон (повесть)	14–72
Приключения желтого петуха (главы из романа)	46–44
Исразль Шамир. Возвращение чувств (рассказы)	12–78
Ицхак Шапиро. А ты говоришь (рассказ)	26–23
Там (рассказы)	35–3
Светлана Шенбруни. Рассказы	31–3
Михаил Шепелев. Рассказы	33–9, 36–87
Давид Юст. Красота (рассказ)	47–53

## ДРАМАТУРГИЯ

Нина Воронель. Дуся и драматург (трагедия в трех действиях)	21–151
Последние минуты (пьеса)	6–95
Ночь на Волге (пьеса)	28–98
Нелли Гутина. Шоу	49–71
Феликс Розинер. Сиамские близнецы (пьеса)	34–37

## ПОЭЗИЯ

Наоми Альт. Стихи	28–96
Марина Бергельсон. Стихи	2–100
Илья Бокштейн. Стихи	14–110
Новые стихи	31–88
Наум Вайман. Стихи	41–47
Наум Век. Из книги "Стрела верлибра"	33–36
Александр Верник. Стихотворения	10–62
Читая Сашу Соколова	27–35
Три стихотворения с посвящениями	32–92
Из книги "Биография"	46–43
Юлия Винер. Песнь о деньгах (ироническая поэма)	46–83

Лия Владимирова	17–131, 6–40, 10–45, 20–96, 28–54, 37–3
Анри Волохонский. Поэма о Фоме	7–3
Ручной лев (поэма)	16–99
Мемуаристкам (стихи)	20–96
Стихи	27–15
Молчанье века (стих. трагедия)	33–88
Михаил Генделев. Из книги “Въезд в Иерусалим”	20–127
Стихи	3–75
Триптих	26–55
Стихи	27–89
Второй дом (цикл стихов)	36–77
Война в саду	38–63
Биллиард в Яффо	49–3
Владимир Глозман. Стихи	2–97
Савелий Гринберг. Стихи из московского цикла	19–122
Михаил Гробман. Стихи	50–82
Марк Драчинский. Стихи	47–50
Зеев Дубнов. Стихи	15–170
Борис Камянов. Стихи	15–93, 18–148
Лирический дневник	8–45
Юрий Колкер. Из книги стихов	44–51
Рина Левинзон. Стихи	19–108, 47–53
Израэль Малер. Из “Исторических песен”	26–61
Дмитрий Малкин. Стихи	13–82
Юрий Милославский. Стихи разных лет	21–120
Стихотворения 1964 года	8–17
Стихотворения 1978–1981 гг.	26–46
Борис Поляков. Маятник	23–124
Илья Рубин. Стихи	17–127
Эмилия Слезингер. Стихотворения	20–98
Из цикла “Разлуки”	29–102
Владимир Тарасов. Стихи	35–9
Марк Тверской-Ямской. Пародии	8–81
Мирьям Яникова. Стихи	45–52

## Б. У НАС В ГОСТЯХ

### ПРОЗА

Василий Аксенов. Чингиз (глава из романа “Скажи изюм”)	36–3
Иосиф Бродский. Мрамор (пьеса в трех действиях)	32–3
Владимир Войнович. Москва 2042 года (роман)	48–3, 49–9
Марк Гиршин. Секретарюк против Главинжа (роман)	15–4, 16–4
Леонид Гиршович. Прайс (главы из романа)	43–35
Фридрих Горенштейн. Споры о Достоевском (пьеса)	13–150
Притча о потерянном времени (глава из романа “Псалом”)	42–3

Притча о болезни духа (глава из романа "Псалом")	43–3
Сергей Довлатов. Наши (главы из книги)	30–3
Леонид Ицелев. Обзор печати (рассказ)	32–95
Анатолий Кузнецов. Рассказы	11–45
Олег Кустарев. Кристина (рассказ)	26–7
Я читаю лекцию населению (рассказ)	28–76
Одна идея и два-три философа (рассказ)	33–3
Три сновидения (рассказ)	45–40
Разногласия и борьба (повесть)	47–3, 48–32
Аркадий Львов. Последний раввин (из "Одесских рассказов")	4–63
Павел и Павел (рассказ)	9–31
Владимир Матлин. Два рассказа	19–67
Взрыв в Орли (рассказ)	46–37
Владимир Соловьев. Не плачь обо мне (роман-эпизод)	25–3
Саша Соколов. Палисандр Александрович, а, Палисандр Александрович! (глава из романа "Палисандрия")	30–29
Илья Суслов. Рассказы	24–97
Александр и Лев Шаргородские. Про боцмана Кацмана... (рассказ)	31–58
Дмитрий Шляпентох. Записки кремлевода	45–9
Генрих Элинсон. Член (ленинградская повесть)	37–120
Сергей Юрьенен. Сын империи (инфантильный роман)	41–3

## ПОЭЗИЯ

Дмитрий Бобышев. Стихи разных лет	4–52
Поминки по живым (стихи)	32–83
Наталья Горбаневская. Из книги "Долгое прощанье" (стихи)	1–185
Из книги "Переменная облачность" (стихи)	30–58
Сергей Залин. Стихи	30–65
Юрий Кублановский. Из цикла "Песни Венского карнавала" (стихи)	29–94
Лев Лосев. Стихи	45–3
Игорь Померанцев. От автора (стихи)	36–84
Наум Сагаловский. Чужой в раю (поэма)	40–52
Стихи	44–42
Марина Темкина. Стихи	31–83
Алексей Цветков. Девять стихотворений	24–105
Стихи	38–68

## В. ИЗ РОССИИ

### ПРОЗА

Иосиф Богораз. Двурушник (главы из романа)	23–74
Константин Вилковский. Рассказы по памяти	1–154

Юрий Дружников. Конец командировки (рассказ)	20—83
Игорь Секретарев. На той войне незначимой (рассказ)	20—69
Израиль Теплик. Где же ты был? (рассказ)	26—32
Ангел смерти (рассказ)	29—46
Мальчик с оккупированной территории (рассказ)	32—60
Борис Хазанов. Бешт, или четвертое лицо глагола	22—78
Леонид Цыпкин. Мост через Нерочь (повесть)	39—3, 40—3
Лето в Бадене (роман)	50—3

## ПОЭЗИЯ

А. В. Стихи из России	17—93
Сергей Гандлевский. Стихи	25—104
Игорь Губерман. “Обгусевшие лебеди” (стихи)	15—95
Дацзыбао на тюремных стенах	12—88
Наум Коржавин. Абрам Пружинер (отрывки из поэмы)	15—99
Александр Лайко. Из “Анапских строф”	29—98
Стихи	37—115
Алексей Магарик. Стихи	46—3
Н. Н. (Ленинград). Стихи	39—41
Ольга Фаллер. Стихи	47—48
Борис Чичибабин. Стихи (публикация Ю. Милославского)	9—32
Елена Шварц. Стихи. — После сборника	5—62

## Г. ПЕРЕВОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежи Анджеевский. Страстная неделя (роман, пер. с польского Л. Шевелева)	C15—141, C16—138
Ицхак Башевис-Зингер. Три сказки (пер. с идиш М. Ледера)	1—161
Шойхет (рассказ, пер. с идиш А. Кляйнера и Ц. Якова)	20—154
Юрек Беккер. Яков-лжец (главы из романа, пер. с немецкого Е. Фрадкиной)	15—141, 15—41
Сэмюэл Беккет. Проза за так (рассказ, пер. с английского И. Шамира)	29—91
Сол Беллоу. Кому продать дом (рассказ, пер. с английского Ю. Винер)	37—89
Тадеуш Боровский. Рассказы (пер. с польского Р. Нудельмана)	19—84
Хорхе Луис Борхес. Таинственное чудо. Смерть и компас (рассказы, пер. с английского Р. Нудельмана)	19—125
Вавилонская библиотека. Три версии Иуды (рассказы, пер. с английского Р. Нудельмана)	25—110
Кольцевые руины (рассказ, пер. с английского Р. Нудельмана)	27—58
Курт Воннегут-мл. Царица — Ночь (роман, пер. с английского Р. Нудельмана)	16—90, 17—145, 18—86
Джеймс Джойс. Сирены (глава из романа “Улисс”, пер. с английского И. Шамира)	22—69

Фридрих Дюрренматт. Заседание продолжается (повесть, пер. с немецкого Е. Фрадкиной)	5—81
Эфраим Кагановский. В богадельне (рассказ, пер. с идиш М. Ледера)	1—167
Джон Ле-Карре. Маленькая барабанщица (роман, пер. с английского Н. Воронель и Р. Нудельмана)	38—3, 39—47, 40—66, 41—51, 42—46
Тадеуш Конвицкий. Малый Апокалипсис (роман, пер. с польского Н. Горбаневской)	35—24, 36—19
Станислав Лем. Футурологический конгресс (фантастическая повесть, пер. с польского Р. Нудельмана)	20—4
Станислав Ежи Лец. Непричесанные мысли (пер. с польского Р. Нудельмана)	22—188
Бернард Маламуд. А идише птице (рассказ, пер. с английского М. Нагорной)	20—142
Габриэль Гарсиа Маркес. Путь к себе (рассказы, пер. с английского Р. Нудельмана)	27—3
Эрбер Ле Поррье. Врач из Кордовы (главы из романа, пер. с французского Р. Ляндю)	45—55
Райнер Мариа Рильке. Из "Новых стихотворений" (пер. с немецкого Е. Иоффе)	26—3
Марек Хласко. Хамсин над Хайфой (повесть, пер. с польского Р. Нудельмана)	13—4
Страсти (рассказ, пер. с польского Р. Нудельмана)	
Цзяо Шу-Джек. С товарами в село (комическая опера, пер. с английского Л. Ицелева)	40—189
Мелвилл Шавельсон. Одиннадцатая заповедь (сатирический роман, пер. с английского Р. Нудельмана)	7—57, 8—22, 9—43
Ричард Шервин. Стихи (пер. с английского З. Дубнова)	5—115
Джордж Штайнер. Транспортировка г-на Адольфа Г. в город Сан-Кристобаль (роман, пер. с английского Р. Нудельмана и С. Шаргородского)	18—5, 19—4

## Д. ИЗРАИЛЬ

### ПРОЗА

Аарон Апельфельд. Хожение в Качинск. Птицы (рассказы, пер. В. Глозмана)	4—83
Рассказы (пер. И. Верник)	27—36
Шмуэль-Иосеф Агнон. Сретенье невесты (глава из романа, пер. И. Шамира)	16—111
Две притчи (пер. и комментарии И. Шамира)	12—199
Ицхак Бен-Нер. Николь (рассказ, пер. В. Кукуя)	36—105
Амос Кейнан. Иерихон (рассказ, пер. Э. Слезингер)	35—19
Ханох Левин. Яакоби и Лайденталь (пьеса, пер. В. Кукуя)	26—74

Четыре романтических происшествия на садовой скамейке (рассказы, пер. В. Кукуя)	34–21
Аарон Мегед. Живущий на мертвом (главы из романа, пер. В. Глозмана)	21–124
Амос Оз. Поздняя любовь (повесть, пер. С. Шенбрунн)	20–68
Коснись воды, коснись ветра (роман, пер. В. Кукуя)	23–3, 24–3
На этой злосчастной земле (повесть, пер. В. Фланчика)	29–3
Моше Шамир. 29 ноября (глава из романа, пер. А. Фельдмана)	19–93

## ПОЭЗИЯ

Иегуда Амихай. Стихи (пер. С. Гринберга)	15–121, 18–84, 19–90, 21–104
Меир Визельтир. Стихи (пер. С. Гринберга)	17–141
Амир Гильбоа. Стихи (пер. М. В.)	21–106
Натсен Зах. Стихи (пер. С. Гринберга)	1–161
Зельда. Стихи (перевод С. Гринберга)	16–109
Владимир Лазарис. Переводы из средневековой еврейской поэзии	6–80
Далия Равикович. Стихи (пер. С. Гринберга)	19–91
Давид Рокеах. Стихи (пер. С. Гринберга)	20–153
Мириам Орен. Стихи (пер. Н. Воронель и Р. Левин)	46–42
Современная израильская поэзия (маленькая антология, пер. В. Кукуя)	32–85
Авраам Шлонский. Пастух (пер. Д. Рубинштейна)	34–162

## Е. НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Владимир Жаботинский. Жиденок (рассказ)	15–125
Лев Лунц. Родина (рассказ)	8–3
Алик Ривлин. Стихи	21–189
Евгений Шварц. Стихи	18–164
Борис Ямпольский. Табор (повесть)	1–126
Стефан Цвейг. Вчерашний мир (главы из книги, пер. Н. Поперека)	22–215
Кари Унксова. Стихи	45–49

## II. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Иерухам Абрамов. Проклятой воровской дорогой (воспоминания)	27–196, 28–207
Михаил Агурский. Ливанские впечатления	26–113
Гекатомба (воспоминания о смерти Сталина)	35–150

Аарон Амир. Меч и скрипка (документальная повесть, пер. С. Шенбрунн)	2—103, 3—82
Джордж Бейли. Германия 45-го года (пер. Р. Нудельмана)	40—139
Наталья Белинкова-Яблокова. Славное море, священный "Байкал" (воспоминания)	33—168
Рафаил Блехман (Р. Нудельман). Мосад, Аман и все такое (документальная повесть об израильской разведке)	45—94, 46—92, 47—75, 48—95
Илья Войтовецкий. Встречи с Калашниковым (очерк)	17—134
Зеев Гринфельд. Латинский полумесяц (путевые очерки)	22—95, 24—198
Владимир Зарецкий. Ветер Галилеи (очерк)	5—131
Захария Керен. Оскоми на зубах	8—85
Валерий Кукуй. Не ударю (лагерные воспоминания)	39—139
Слава Курилов. Побег в океане (автобиографическая повесть)	30—169
Владимир Лазарис. Резервисты (документальная повесть об израильской армии)	18—38
Лето в Ливане (документальная повесть)	27—93
Моя первая война (ливанские репортажи)	28—123
Смерть еврея (эпизод из американской истории)	36—155
Эстер Маркиш. Как их убивали (к 30-летию казни советских еврейских писателей)	25—200
Владимир Маркман (документальная повесть об уголовном лагере)	3—104, 4—101
Оскар Минц. Израильские очерки	50—90
Алексей Мурженко. Образ счастливого человека (письма и документы)	13—90
Ионатан Натаньягу. Письма (пер. М. Улановской)	29—145
Ирина Немировская. В бандеровском селе (воспоминания)	16—75
Клара Пруслина. Счастливое детство (воспоминания)	6—86
В поисках новых имен (записки искусствоведа)	32—173
Валерий Смолкин. Друзья-товарищи (очерки о диссидентах)	43—135
Давид Таксер. "Русский" в Ливане (очерк)	34—121
Люди Особлага (воспоминания)	37—166
Григорий Фрейман. Оказывается, я еврей! (документальная повесть)	9—80, 10—97, 11—87
Зеев Хефец. Бейрут, или великое молчание прессы (очерк, пер. Р. Нудельмана)	41—140
Яков Цигельман. Заметки о толпе (израильский очерк)	5—118
Исраэль Шамир. Похождения акачана Ионички Зайса в Японии (путевые очерки)	10—145, 11—179
Похождения Ионички Зайса в Океании (путевые очерки)	14—167
Путешествие из Иерусалима в Элефантину (из "Путеводителя по Египту")	18—154, 19—171
Дора Штурман. Ни мне меда твоего, ни укуса твоего (воспоминания о лагерном ансамбле)	42—136
Анатолий Щаранский. Письма из тюрьмы	35—154

### III. ПУБЛИЦИСТИКА

#### А. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДБОРКИ (ПОЛЕМИКА, ДИСКУССИЯ, "КРУГЛЫЙ СТОЛ")

- Сионизм и государство** (poleмические статьи Я. Тальмона, Р. Шац, Я. Хаздаи, И. Бен-Ари, И. Рубина) C15:6—62
- Проблемы ассимиляции** (poleмические статьи А. Занда, Р. Медведева, А. Волина, А. Воронеля) C15:63—93
- Еврейская культура в СССР** (poleмические статьи Г. и И. Гольдштейнов и Е. Быковой, Э. Финкельштейна, Р. Нудельмана) C15:104—121
- Гуш-Эмуним и идеологические проблемы Израиля** (интервью Р. Нудельмана с И. Фридом, А.-Б. Иошуа, М. Лapid, И. Лейбовичем, М. Аренсом, Ш. Волков, А. Штайнзальцем) C16:3—45
- Израиль перед выбором — 1947** (интервью Р. Нудельмана с З. Кацем, Х. Бар-Левом и М. Харишем, Я. Хазаном, Э. Вейцманом, М. Шамиром, А. Рубинштейном, И. Бен-Меиром, Г. Хаузнером, Я. Цабаном) C18:3—70
- Где наша Земля Обетованная?** (poleмические статьи М. Каганской, Н. Воронель, А. Воронеля) 2:138—166
- Советский антисемитизм — причины и прогнозы** (доклады на симпозиуме в Еврейском университете Р. Нудельмана, Ильина, Амрама, А. Воронеля, Л. Цигельман-Дымерской, Д. Штурман, В. Меникера) 3:143—182
- Кемп-Дэвид: за и против** (выступления на заочном "круглом столе" Э. Улановского, И. Хорол, Б. Голубева, Э. Явора, Г. Елиной, В. Богуславского, О. Элиягу, Н. Прата) 5:163—183
- Свободны ли мы для свободы?** (дискуссия вокруг книги Ю. Милославского с участием М. Улановской, В. Богуславского, И. Гольденберга, Д. Штурман, Амрама, А. Воронеля) 5:192—212
- Свободны ли мы для свободы?** (продолжение дискуссии вокруг книги Ю. Милославского с участием А. Гладилина, Д. Дара, Д. Штурман, М. Генделева, Н. Рубинштейн) 6:122—144
- Свободны ли мы для свободы?** (дискуссия вокруг "Лагерных дневников" Э. Кузнецова с участием К. Любарского, В. Богуславского, Н. Рубинштейн, А. Воронеля, Р. Нудельмана) 7:93—125
- Свободны ли мы для свободы?** (продолжение дискуссии вокруг книги Э. Кузнецова с участием Д. Штурман и Д. Шумука) 8:160—174
- Вокруг Лимонова** (дискуссия вокруг книги "Это я, Эдичка" с участием Н. Бокова, Ю. Милославского, Н. Воронель, А. Биндер, Я. Ашкенази) 8:175—205

- Москва—Рим** (дискуссия о “пряниках” с участием Э. Кузнецова, А. Дранова, Л. Шварца, А. Вейнберга, М. Агурского, Н. Ваймана, А. Воронеля, В. Польского, Б. Шилькрота, Г. Брановера) 9:106—136
- Забастовка репатриантов — что дальше?** (заочный “круглый стол” с участием Б. Любина, М. Хейфеца, Р. Барон, Л. Словиной, В. Богуславского, И. Текоа, Г. Морделя, В. Гехтман, Ю. Меклера, А. Воронеля, М. Дымерской, Я. Рои) 15:94—131
- Нужна ли нам своя партия в Израиле?** (полемика В. Польского с Д. Блюдзом) 18:135—144
- Трудно ли быть израильтянином?** (симпозиум в институте Ван-Лир с докладами Г. Шакеда, И. Переса, А. Левонтина и комментарием Н. Гутиной и Р. Нудельмана) 23:131—158
- Оглядываясь в раздумье** (“круглый стол”, посвященный итогам еврейского движения в СССР с участием В. Богуславского, А. Воронеля, Н. Воронель, Л. Герштейн, А. Диаманта, З. Левина, Э. Кузнецова, Р. Нудельмана, М. Нудлера, И. Шломовича) 24:111—141
- Континент культуры** (материалы симпозиума в Милане с участием эмигрантских авторов И. Ефимова, Н. Коржавина, Б. Парамонова, Ю. Кублановского, а также М. Михайлова и Ж. Нива) 30:191—218
- Этнические проблемы Израиля** (полемические статьи Ш. Айзенштадта, С. Смуха, И. Шамира, В. Богуславского, Р. Блехмана) 35:96—140
- Кого считать антисемитом?** (полемика в связи с публикацией в № 36 “Письма Куприна” с участием М. Хейфеца, Е. Фиштейна, О. Кустарева, Н. Коржавина, В. Левитиной) 36—174, 36—186, 39—132, 44:214—223
- Ситуация советского еврейства — 1984** (интервью Р. Нудельмана с активистами еврейского движения Ю. Штерном, Б. Гуревичем, Э. Финкельштейном, В. Богуславским, Ю. Колкером; комментарий А. Воронеля) 38:126—167
- Из галута с любовью** (полемические статьи Е. Фиштейна, В. Богуславского, Н. Гутиной, А. Воронеля) 40:109—138
- Из галута с любовью** (продолжение полемики с участием М. Хейфеца, Е. Фукса, И. Заславского; комментарий Е. Фиштейна) 43:215—223
- Русскоязычная культура в Израиле** (речи при вручении журналу “22” и М. Каганской премий им. Р. Н. Эттингер, произнесенные Э. Любошицем, Н. Рубинштейн, М. Хейфецом, Ю. Колкером, А. Воронелем, Н. Гутиной, Р. Нудельманом и М. Каганской) 41:117—139
- Перспективы международного терроризма — 1985** (материалы конференции в Тель-Авивском университете с участием И. Александера, Г. Голан, Ш. Элада, И. Швей-

цера, Л. Джурейдина, Б. Дженкинса, М. Амита, Р. Варди, А. Мерари)	43:79—113
<b>Еврейское подполье:</b> религиозный терроризм? — виджиглантизм? — самооборона? (материалы конференции в Тель-Авивском университете с участием М. Амона, Э. Шпринцака, А. Унгара)	44:96—118
<b>Двадцать лет спустя</b> (дискуссия о процессе Синявского—Даниэля с участием А. Воронепя, М. Азбеля, Н. Воронель)	46:132—177
<b>Семидесятые — и восьмидесятые</b> (интервью Р. Нудельмана с активистами еврейского движения в СССР В. Богуславским, А. Этерманом, Л. Прайсманом, посвященные сравнению ситуации в 1970-х и 1980-х годах)	47:101—152
<b>В прошлом году в Будапеште</b> (материалы неофициальной международной конференции по культуре с участием Г. Тамаша, С. Зоннтаг, Д. Конрада, П. Вастберга, А. Оза, А. Финкельрота, Т. Г. Аша)	48:188—200
<b>Интеллектуалы — миф и реальность</b> (полемические статьи В. Шляпентоха и О. Кустарева)	49:164—193

## Б. О ЕВРЕЙСТВЕ, О СЕБЕ И ВЫБОРЕ ПУТИ

Виктор Богуславский. Нация, язык, культура	C20—30
Отцы и дети русской алии	2—175
Они ничего не поняли	38—155
Галуту с надеждой (ответ Е. Фиштейну)	40—132
У истоков (интервью)	47—101
А. Волин (псевдоним). Ассимиляция и свободный выбор	C15—76
Формирование нации	C16—46
Александр Воронель. О вредной функции слов и проблеме ассимиляции евреев	C15—84
О национальном характере	C16—58
В мире нет “центра”	2—157
Будущее русской алии	2—182
Вокруг Ю. Милославского	5—205
Иаков остался один (ответ Е. Фиштейну)	40—116
Нина Воронель. У каждого свой дом	2—148
Нелли Гутина. Группа, партия, движение	18—145
В поисках утраченной самоидентификации	29—209
Кого считать антисемитом?	38—218
Реплика в споре (ответ Е. Фиштейну)	40—127
Майя Каганская. Еврейские сны (Подол)	C21—98
Возвращение к себе	2—138
Рафаил Нудельман. Колонка редактора	7—93
Парадигма Моисея	28—134

Илья Рубин. Евреи: первородство или чечевичная похлебка	C15–6
Заметки о карнавальности еврейской истории	C16–160
К вопросу о нашествии марсиан	C19–154
Ефим Фиштейн. Из галута с любовью	40–109
Поговорили...	43–220

## **В. В ЗЕРКАЛЕ ЭССЕИСТИКИ**

Александр Воронель. Библейский реализм и наше ханжество	10–122
Довольно и этого	11–120
Уникальность Израиля	20–115
Люди на войне, или еще раз об уникальности Израиля	34–139
Нелли Гутина. Двусмысленная связь	19–117
Ближний Восток на историческом перекрестке	22–108
Налево с любовью, направо с надеждой	27–158
Год спустя (о ливанской войне)	30–134
Майя Каганская. Страсти по музею	10–105
Заговор равных	12–160
Остановка в пустыне	17–177
Апология жанра, или рецензия на жизнь	20–192

## **Г. СОВЕТСКОЕ ЕВРЕЙСТВО И РУССКАЯ АЛИЯ В ИЗРАИЛЕ**

### **Г1 (Статьи)**

Михаил Агурский. Неосионизм в Советском Союзе	C19–76
Марк Азбель, Эмилия Сотникова. Христианин или антисемит (ответ Шиманову, см. С21)	1–67
Иермиягу Брановер. Еврейская культура и русская алия	C20–25
Александр Воронель. Русская алия и израильская культура	C20–16
Александр Воронель, Григорий Фрейман. Диалог об алие и эмиграции	31–118
Александр Воронель. Вместо послесловия	31–135
Рой Медведев. Ближневосточный конфликт и еврейский вопрос в СССР	C15-68
Ювал Нееман. Об алие без разочарований	7–126
Рафаил Нудельман. Ответ Э. Финкельштейну	C15–114
Ицхак Орен (Надель). Исповедь	7–140
М. Скуратов. Русский национализм и сионизм	1–77
Лидия Финкельштейн. Беглые мысли о третьей волне эми- грации	C16–73
Эйтан Финкельштейн. Алия или культура?	C15–109
Мост, который рухнул	38–146

Геннадий Шиманов. Я — антисемит (интервью)	C31—55
Адин Штайнзальц. Надежды и разочарования	7—134

## **Г2 (Заметки, письма и другие материалы)**

Лия Абрамсон. Письмо Г. Шиманову	1—73
Биньямин Александер. Русь еврейская: опыт классификации	19—138
Рани Арэн. В русском галуте	19—133
Гилель Бутман. Ответ Виктору Богуславскому (см. № 47)	48—211
Григорий и Исай Гольдштейны, Елизавета Быкова. О двух путях евреев в СССР	C15—104
Михаил Занд. Тезисы об ассимиляции	C15—65
Фабиан Колкер. Новый план помощи советскому еврейству	31—144
Эмануэль Литвинов. Алия-76: цифры и факты	C19—76
Изидор Ляст. Алия из СССР — демографические прогнозы	21—110
Валерий Майский. Я играю на гармошке	8—128
Шимон Маркиш. О еврейской "ненависти" к России	38—209
Симпозиум по еврейской культуре в Москве	C17—44
Эмилия Сотникова. Выставка еврейских художников в Ленинграде	C17—56
Э. Сольман. Антисионистская конференция в СССР	C21—65
Лина и Станислав Чаплины. А вдруг случится чудо?	8—136

## **Г3**

(см. также C15:63—93; C15:104—121; 2:138—166; 3:143—182; 5:192—212; 9:106—136; 15:94—131; 18:135—144; 24:111—141; 38:126—167; 40:109—138; 43:215—223; 41:117—139; 47:101—152)

## **Д. ИЗРАИЛЬСКИЕ ПРОБЛЕМЫ**

**(Иерусалимские размышления)**

### **Д1. ИЗРАИЛЬСКИЕ АВТОРЫ**

Давид Авидан. О себе и еврействе	C18—204
Моше Атер. Израиль-1976	C15—52
Шмуэль Айзенштадт. Два миллиона президентов	22—124
Иегуда Бен-Ари. Нация, мечта, государство	C15—30
Давид Витал. Израиль и диаспора: перестройка рядов	C19—56
Гилель Галкин. Письма американскому другу-еврею (главы из книги)	2—126, 4—151

Письмо из Синая	13–137
Иегуда Готгельф. Пирамида снова переворачивается	C15–46
Иосиф Дан. Сионизм и мессианство	C19–3
Авраам Б. Иошуа. Размышления об израильской левой	
в дождливый день	2–166
Израиль сегодня и завтра: голос писателя	27–151
Сэм Леман-Вильциг. Конец идеологии?	42–105
Ювал Неeman. Можем ли мы возродить Израиль?	16–125
Путь Израиля – научно-промышленная революция	36–141
Сионизм, куда?	45–109
Амос Оз. Понятие отечества	1–29
О мягком и нежном (из книги “Израиль-1984”)	28–138
Спящая красавица: грезы и пробуждение	42–117
Ицхак Орен (Надель). Праотец Авраам любит меня	4–141
Начала и концы	41–163
Рафаэль Патай. Израильские зелоты	9–147
Бени Пелед. А хотели ли мы?	16–125
Соглашение не с тем партнером	30–118
Давид Ричардсон. Карта Мирона Бенвенисту	26–137
Натан Роттенштрайх. Израильское общество и его ценности	C17–3
Дан Сэгрэ. Сионизм до и после национального возрождения	3–135
Яаков Тальмон. Размышления историка в Иерусалиме	C15–6
Яаков Хэздаи. Государство – это еще не все	C15–26
Что нам делать с Израилем?	7–154
Йоаш Цидон. Письмо сыну-пацифисту	28–156
Моше Шамир. Зачем мы здесь?	C18–195
Израиль сегодня и завтра: сто лет войны	27–163
Ривка Шац. Дух мести, витающий над кафедрой	C15–17
Зеев Шиф. Призрак бродит по Израилю	45–122
Гершон Шолем. Сионизм – диалектика преемственности	
и отрицания (интервью)	C19–16
Гершон Шокен. Сионизм: успех или провал?	17–96
Адин Штайнзальц. Израильская культура – вчера, сегодня,	
завтра	C19–190
Поль Эйдельберг. Стратегия Садата (главы из книги)	12–92
Давид Элазар. К обновлению сионистского идеала	C19–29
Исраэль Эльдад. Арабо-еврейский конфликт	1–42
Элиша Эфрат. Израиль в 2000-м году	8–113

## Д2. АВТОРЫ ИЗ СССР В ИЗРАИЛЕ

Михаил Агурский. Совместимы ли сионизм и социализм?	36–129
Марк Азбель. Письма из Израиля: наука по-еврейски и наука по-американски	39–113

Амрам. О социалистической экономике Израиля	6—113
Виктор Богуславский. Вместо комментария	8—125
Голубка в клетке сионизма	11—113
Над статьей М. Юрьева (см. № 17)	17—132
Наум Вайман. Кризис цели	7—149
Александр Воронель (см. "В зеркале эссеистики")	
Арье Вудка. Лестница Иакова	28—142
Александр Гордон. Герои нашего времени	42—122
Эдуард Кузнецов. Открытое письмо президенту Р. Рейгану	21—107
Александр Лев—Ран. Кто еврей?	С17—14
Моше Бен-Нафтали. Политическая карта религиозного Израиля	9—137
Михаил Хейфец. Лучше итти прямо (ответ Н. Гутиной, см. № 22)	25—140
Ложь и идеология	27—148
Барух Шилькрот. Ответ Меиру Кахане (см. № 11)	14—221
Александр Шерман (С. Шаргородский) . А не сыграть ли нам в политику?	22—135
Дора Штурман. И мы, и они (ответ Ю. Неemannу и Ш. Шамиру, см. № 13)	16—136
М. Юрьев (Ю. Милославский) . Заметки по всеобщей теории политики	5—184
Демократия как форма диктатуры	17—132

### Д3. ЗАРУБЕЖНЫЕ АВТОРЫ

Айзек Азимов. Я — за ассимиляцию	С21—72
Эдуард Александер. Журналисты против Израиля	28—153
Роберт Алтер. Сионизм, еврейский народ и культура	С20—3
Андрей Амальрик. Как я воевал с американскими евреями (см. также: А. Либин. Ответ Амальрику 11—136)	11—126
Исаак Башевис-Зингер. Мы не растворимся	С21—76
Сол Беллоу. В Иерусалим и обратно (книга путевых очерков, пер. Ю. Винер)	С18—171; С19—169; С20—196
Фридрих Дюрренматт. Взаимосвязи (эссе об Израиле, пер. Е. Фрадкиной)	С21—3, 1—3
Артур Кестлер. Семь смертных грехов	3—210
Наум Коржавин. На путях к элитности (эюд об освобо- дившихся)	11—211
Дан Левин. На краю соблазна	1—52
Даниэль П. Мойнихэн. Иерусалимская речь	С21—92
Норман Подгорец. Если Израиль погибнет, американское еврейство не надолго его переживет	С19—49
Леонард Файн. Израиль, политика и народ, 60-е годы	18—104
Ноам Хомский. Еврейское самосознание — это важно, но и па- лестинское самосознание — тоже важно	С19—43

## **Е. НАШИ ИНТЕРВЬЮ**

### **Е1. ИЗРАИЛЬСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ**

Беньямин Акцин. Тенденции израильской демократии	18–125
Ашер Ариан. В сторону двухпартийной системы	18–115
Меир Кахане. Только сильные нуждаются в большинстве	11–97
Менахем Мильсон. Палестинский вопрос: не торопиться с выбором	27–139
Ювал Нееман. Либо мы, либо они — третьего не дано	13–108
Иоси Ольмерт. Ливан, Сирия, Израиль (см. также С16:3–45, С18:3–70)	30–109
Бени Пелед. Мы не можем ждать еще 2000 лет	17–108
Рафик Халаби. Палестинский вопрос: выбор между плохим и худшим	27–130
Шимон Шамир. Решающее испытание	13–120

### **Е2. АКТИВИСТЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО И ЕВРЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ**

Виктор Богуславский. У истоков	47–101
Александр и Нина Воронели, Марк Азбель. 20 лет спустя	46–132
Эдуард Кузнецов. Положено быть солдатом	20–125
Давид Мааян (Черноглаз). Пути и судьбы ленинградских сионистов	50–101
Леонид Прайсман. Мост не рухнул	47–143
Александр Этерман. Третье поколение	47–123
Анатолий Щаранский. Интервью для журнала "22" (см. также 9:106–136; 15:94–131; 18:135–144; 24:111–141; 38:126–167; 46:132–177; 47:101–152)	49–110

## **Ж. РУССКИЙ ВОПРОС**

### **(русская история и советское настоящее)**

А. Ангениц (псевдоним). Спуск в бездну	15–166
Вадим Белоцерковский. Реакция, религия и социализм	9–161
Почему русские рабочие пассивнее польских	17–163
Виктор Богуславский. Голоса из прошлого	6–216
В защиту Куняева (см. № 14)	16–166
Михаил Болховской (Молоствов). Судьба революционно- демократической интеллигенции в России	22–169, 25–158
Петр Вайль, Александр Генис. Потерянный рай (главы из книги)	29–196, 32–146

Михаил Вайскопф. Собственный Платон	22–154
Михаил Вартбург (Р. Нудельман) . Советский человек на социалистическом randevу	24–149
Милован Джилас. Россия демократическая, но и русская	6–201
Илья Земцов. Юрий Андропов — путь к власти	30–138
Александр Зиновьев. О Сталине и сталинщине	10–128
Майя Каганская. Диссиденты: революционеры или охранители?	8–140, 9–170
Лешек Колаковский. Эпилог	1–101
Эдуард Кузнецов, Рафаил Нудельман. Новая ставка американской политики в СССР	23–174
Станислав Куняев. Легенда и время	14–136
Владимир Лазарис. Ироническая песенка	2–198
Л-ский. Письма из России	21–143
Федор Лыков. Письмо из Москвы	31–150, 32–133
Шимон Маркиш. Еще раз о ненависти к самому себе (см. № 14)	16–177
Юрий М. Меклер. Новогодний подарок	6–105
Наша живучесть	10–137
Жил человек в Гомеле...	24–142
Михаил Молоствов. Рифмованные мысли и житейские комментарии	16–203
Леонид Плющ. Украинцы-русские-евреи	3–183
Нафтали Прат. Еще раз о “русской идее” (ответ А. Янову см. № 1)	3–197
Владимир Соловьев. Советская империя в контексте русской истории	19–148
Валентин Турчин. Религиозный характер русского диссидентства	2–194
Михаил Хейфец. Наши общие уроки (о статье Куняева, см. № 14)	14–156
Апология марксизма, или номенклатура по М. Восленскому	46–178
Идеология и патология, или история по А. Безансону	49–194
Марко Царинник. Только и есть у нас враг — наше сердце	37–156
Леонард Шапиро. Наследники Брежнева (интервью)	25–147
Дора Штурман. Альтернативы или варианты	6–209
Размышления над рукописью (ответ А. Янову, см. № 1)	12–132
Еще раз о социализме	30–159
Кагебыло кагебудет	33–123
Э. Чьоран. Россия и вирус свободы	50–183
Джэй Эпштейн. Русские ведут в счете	28–165
Вадим Янков. Экзистенциальный тип голо советикус	30–176
Александр Янов. Судьба русской идеи	1–85
Три утопии (Бакунин, Леонтьев, Достоевский)	4–191
Реквием екатерининской России	6–145

### 3. У КАРТЫ МИРА

А. В. С. Польша 1956–1970–1980	17–153
Р. Б. Саудовская Аравия	21–204
Михаил Вартбург (Р. Нудельман) . Египет до и после 26 апреля	23–159
Кто, с кем и почему в Ливане?	25–123
На холмах Шомрона	26–144
Галия Голан. Советский Союз и ООП	20–145
Гирш Гудман. Третий лишний (круг Арафата)	20–159
Габриэль Бен-Дор. Ливанская война и ООП	27–123
Израиль на Ближнем Востоке	30–126
Ричард Пайпс. Советская глобальная стратегия	16–153
Оливер Рой. Афганистан, как он есть	19–157

### И. ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. РЕЛИГИЯ

Владимир Байтальский. К портрету Змея	47–157
Евгений Барабанов. Христианство и иудаизм (интервью)	C20–51
Бен Барух. Вав, обращающий время	47–153
День начинается с ночи	48–124
Шмуэль-Хьюго Бергман. О еврейской этике	C19–143
Израильский синтез религии и гуманизма	1–59
Мартин Бубер. Еврейство и евреи	C17–36
Место хасидизма в истории религии	8–105
Симона Вайль. “Илиада”, поэма о Силе	49–134
Гилель Галкин. Колесо истории	29–125
Михаил Гершензон. Судьбы еврейского народа	19–97
Авраам-Иошуа Гешель. Архитектура времени	C21–87
Роберт Гордис. Вера Авраама (Кьеркегор)	5–156
Юрий Гофман. Кратко о Бубере	8–96
Михаил Евзлин. Борение о невозможном (философия	
Л. Шестова)	1–107
Герман Козн. Суббота	C21–80
Серен Кьеркегор. Страх и трепет	4–128, 5–134
Л. Ладов (псевдоним) . Отношение к смерти в разных	
культурах	34–163
Клод Леви-Стросс. В поисках смысла мифа	40–197
Иешаягу Лейбович. “В деяниях великих и войнах...”	49–154
Евгений Наклеушев. Вперед, к матриархату	27–175
Андре Незр. О книге Кохелет (“Экклезиаст”)	34–152
Григорий Померанц. Сны Земли	12–121
Цена отречения	21–154
Пинхас Самородницкий. Станный народец	15–132
Шуберт Сперо. Религиозный смысл государства Израиль	C16–152

Александр Сыркин. К толкованию одной хасидской притчи	4—167
Эрих Фромм. Субботний ритуал	C21—84
Лев Шестов. Кьеркегор и экзистенциальная философия	5—150
Адин Штайнзальц. Дом Яакова	C17—29
Суть Талмуда	10—202

## К. КАТАСТРОФА

(исторические, философские и религиозные интерпретации)

Натаниэль Вейль. Гитлер и Маркс: загадка Катастрофы	36—162
Александр Воронель. Мечта о справедливом возмездии	45—134
Ирвинг Гринберг. Перепутье судеб	C21—42
Альфред Казин. Универсализм и еврейская сущность	C21—37
Фред Кац. Катастрофа как бюрократическая рутинa	40—161
Станислав Лем. Провокация	43—114, 44—119
Манэ Спербер. Катастрофа как акт тоталитаризма	C21—34
Эмиль Факенхейм. От Берген-Бельзена до Иерусалима	C21—22
Шломо Шохам. Валгалла, Голгофа и Освенцим	42—164

## Л. СУДЬБЫ ИДЕЙ

(Запад—Восток)

Раймон Арон. В защиту нашей декадентской Европы	33—117
Исайя Берлин. Затруднения современного либерала	9—187
Алан Буллок. Стоит ли оглядываться на прошлое?	41—154
Александр Донде. Цивилизация здравого смысла с точки зрения здравого смысла (взгляды Э.-Ф. Шумахера)	38—183
Джозель Кармайкл. Потерянный континент	28—176
Уильям Керр. Загадка Гитлера	32—161
Роберт Конквест. Политические заблуждения интеллектуалов	14—114
Милан Кундера. Похищенный Запад, или трагедия Центральной Европы	42—181
О. Кустарев. Престиж интеллигенции в советском обществе	36—202
Социально-философский фольклор советской интеллигенции. Очерк первый (М. Восленский)	44—165
Социально-политический фольклор советской интеллигенции. Очерк второй (В. Зубов)	45—206
Социально-политический фольклор советской интеллигенции. Очерк третий (В. Шляпентох)	49—175
Станислав Лем. Одна минута	50—168
Фредерик Маунт. Революционеры: их образ мысли, души и тела	4—173
Борис Орлов. Геся Гельфман — рядовой русской революции	C17—159, C18—153

Норман Подгорец. Либерализм в рейгановскую эпоху	21—135
Эйн Рэнд. Права человека	17—143
Владимир Шляпентох. Интеллектуалы как носители специфических моральных ценностей: там и здесь	49—164
Ганс Штауб. Тирания меньшинств	22—142

## М. ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

Михаил Агурский. Самоубийство Луиса Мерсьера Веги	2—209
Жак Бержье, Луи Повель. Утро магов	50—195
Рафаил Блехман. Ясер Арафат и другие	44—132
Михаил Вартбург. Луи Фараккан: демагог и толпа	45—141
Хаим Вейцман. Конец Женевских дней	7—159
Джозель Кармайкл. На подмостках истории	7—141
Норман Подгорец. Нарушая строй (главы из книги)	23—193
Семен Резник. Дело Емельянова	33—187
Курт Ройтман. Об убийствах и тайном наслаждении (признания террориста)	5—225
Наталья Рубинштейн. Урок Марголина	3—215
Сергей Хмельницкий. Из чрева китова, или моя дружба с Андреем Синявским (пред. А. Воронеля)	48—145
Летер Швиферт. Письма к матери	C16—171, C17—168
Поль Эйдельберг. Маркс и Джефферсон	15—178

## Н. ПУБЛИКАЦИИ

К процессу членов организации "Цеирей-Цион" (А. Фельдман)	C15—176
Владимир Жаботинский. О железной стене. Этика железной стены	C16—190
Письмо русских сионистов (А. Фельдман)	C16—200
Юлий Марголин. На кладбище в Цфате	C17—191
Письмо рижской организации "Цеирей-Цион" (А. Фельдман)	C17—203
Из истории сионистского движения: Жаботинский и Петлюра (А. Фельдман)	C20—60
Вячеслав Иванов—Михаил Гершензон. Переписка из двух углов (комментарии О. Раппопорта)	1—117
Илья Рубин. "Здравствуйте, мои дорогие..." (письма)	4—211
Михаил Байтальский. Чистота помыслов	5—213
Академик А. Сахаров. Автобиография (к 60-летию)	21—200
Махно и евреи (В. Литвинов)	27—191
Из Кумранских текстов: "Устав Войны" (перевод и комментарии А. Волохонского)	29—106
Перец Маркиш. Михозлсу — неугасимый светильник (пред. Э. Маркиш)	32—211

Владимир Набоков. Литературное творчество и здравый смысл (пер. М. Улановской)	35–159
Александр Куприн. Письмо Ф. Батюшкову (публ. и комм. В. Левитиной)	36–167

## IV. КУЛЬТУРА

### А. РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

(литературоведение)

Зеев Бар-Селла. Тринадцатое колено ("Перья" Х. Бэра)	19–184
Женщина в белом (поэзия Б. Пастернака)	21–172
Толкования на... (поэзия И. Бродского)	23–214
Диалектика уroda, или "Светлое будущее" Александра Зиновьева	24–183
Гуси-лебеди ("Аэлига" А. Толстого)	31–165
Все цветы родства (поэзия И. Бродского)	37–192
Страх и трепет (поэзия И. Бродского)	41–202
Моление о чашке (Г. Адамов и советская фантастика) (см. также З. Бар-Селла и М. Каганская. Мастер и Маргарита, 27–64)	43–156
Валерий Валюс. Читая Зиновьева	43–156
Петр Вайль, Александр Генис. Эффект популярности	24–165
Томас Венцлова. Поэзия как искупление (творчество Ч. Милоша)	41–194
Александр Воронель. Читая Солженицына (см. также "Вокруг Ю. Милославского", 5–203)	50–134
Нина Воронель. В тени синтетического вибратора (Э. Лимонов)	8–182
О чем не говорят вслух (драматургия Х. Левина)	26–64
Илана Гомель. Лолита в стране чудес (западная фантастика и секс)	43–175
Александр Донде. Литературная жизнь в СССР (об "Антологии новейшей русской поэзии")	37–209
Орвелл и революция менеджеров	41–169
Александр Жолковский. "Победа" Василия Аксенова (опыт домашнего анализа)	36–194
Майя Каганская. Осип Мандельштам — поэт иудейский	C20–174
Ваш Чехов	26–178
Нерусский роман (Э. Люксембург и А. Волохонский)	31–165
Семья повесть Белкина, или защита Травникова	35–187
Роковые яйца (фантастика бр. Стругацких)	43–193, 44–187
(с З. Бар-Селлой) Мастер Гамбс и Маргарита (проза о прозе)	27–64

Саймон Карлинский. Дорогой Володя, дорогой Банни (Набоков и Вильсон)	45—173
Милан Кундера. Где-то там, в глубине	45—150
А если роман действительно исчезнет?	45—157
Олег Кустарев. Эдуард, Эдик и Эдичка (Э. Лимонов)	31—191
Активная культура И. Рубина	34—183
Что же ты хочешь? (западная интеллигенция в романе С. Беллоу)	37—180
(см. также "Престиж интеллигенции в советском обществе и его отражение в литературе", 36—202)	
Лев Лосев. Великолепное будущее России (заметки при чтении "Августа 14-го" А. Солженицына)	39—173
Виктория Левитина. Стоило ли сжигать свой храм? (драматургия С. Юшкевича)	34—193
Юрий Милославский. О бывшем юрьевецком протопопе Аввакуме Петровиче	27—171
Амос Oz. В яростном свете лазури (об израильской литературе)	33—140
Александр Суконик. На рассвете (Бабель и Горенштейн)	16—192
Мастер и его Маргаретта (Чехов)	26—192
Джон Фридман. Искривление реальности и времени в поиске истины (С. Соколов, А. Битов)	48—201
Исраэль Шамир. Агнон, или копия несуществующего оригинала	12—182
Сергей Шаргородский. Игры в саду (поэзия И. Бродского)	40—205
Израильские антиутопии 1984 года	43—168
Дмитрий Шляпентох. Иов советский и Иов китайский (литература "культурной революции")	40—173
Дора Штурман. Солженицын о Ленине в Цюрихе	38—168, 39—158

## Б. ПИСАТЕЛЬ О СЕБЕ И ЛИТЕРАТУРЕ

Исаак Башевис-Зингер. Нобелевская речь	8—206
Юлий Гофман (Борис Хазанов). Памяти Ильи Рубина	6—3
Нелли Гутина. Вместо декларации	36—217
Давид Дар. Стук наших копыт	1—192
Милан Кундера. Человек думает, Бог смеется (Иерусалимская речь)	47—166
Юрий Милославский. Евангелие от Иова	8—177
Заметки об Александре Блоке	20—176
Чеслав Милош. Иерусалимское интервью	41—191
Норман Подгорец. Открытое письмо Милану Кундере	47—172
"Поэзия в изгнании" — симпозиум в Иерусалиме	41—183
Саша Соколов. На сокровенных скрижалях	24—177

Борис Хазанов. Мысли о знатном происхождении	21–167
Яков Цигельман. Здравствуйте, Давид Кнут	2–219
(см. также “В прошлом году в Будапеште”, 48:188–200; “Свободны ли мы для свободы”, 6:122–144; “Вокруг Лимонова”, 8:175–205 и “Континент культуры”, 30:191–218)	

## В. ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

### В1 (Статьи)

Георгий Бен. Новость, которая всегда нова	17–203, 18–166
Алексей Быстрицкий (псевдоним). Архитектура нового типа	42–200
Михаил Вайскопф. Жаботинский без регалий	18–202
Анри Волохонский. Случай из истории рассеяния	22–182
Нина Воронель. Листки из блокнота (Вне Бродвея...)	6–182
Листки из блокнота (Далеко от Бродвея. В защиту “чистого искусства”)	9–194
Листки из блокнота (В преддверии бабьего царства)	10–165
Листки из блокнота (“Левая, правая где, сторона?”)	11–162
Листки из блокнота (Оптимизм Фелерико Феллини.	
Удивительная Мюриел Спарк)	15–190
Листки из блокнота (Когда умирает эпоха)	16–212
Листки из блокнота (И все начать сначала)	17–172
Листки из блокнота (Поражение Лизистраты, черно-белое решение. Узор на стене)	19–199
Листки из блокнота (“За красных или за белых?”)	23–205
Листки из блокнота (В будущем году в Москве)	24–196
Листки из блокнота (“Битва при Каннах”, или Золушка в стране чудес)	25–169
Листки из блокнота (“Да здравствует ностальгия!”)	33–153
Игорь Голомшток. Совратители или соучастники?	6–160
Очень русская история	13–196
Нелли Гутина. Кто боится Отто Вейнингера	31–206
“Путч” в Габиме”	50–218
Одод Котляр. Театр и политика	41–163
Ефим Ладыженский. В России я был больше евреем	10–190
Александр Либин. Ирония чванства	4–241
Иосиф Лищинский. Художник Йосл Бергнер	С21–201
Мемуары Ефима Ладыженского	10–185
Юрий Милославский. Рассказы обо мне	7–209
Заметки об Александре Блоке	20–176
Рафаил Нудельман. Случай Ладыженского, или размышле- ния о жизни и смерти	18–192
“Стервятник”	20–166

Феликс Розинер. Моя кошка на израильском фестивале искусств	11–145
Симфония ля-мажор “Юбилей” (композитор А. Шнитке)	39–192
Абрам Ромм. Воспоминания о Шагале	C20–164
Наталья Рубинштейн. Еще одно открытие Америки (к эмиграции журнала “Время и мы”)	10–208
Народный артист (эссе о Высоцком)	14–193
Кирилл Тынтарев. Две беседы об израильской культуре (музыка и театр)	37–137
Сергей Шаргородский. Всякому времени свое пространство	18–187
Интервью с израильским художником	19–193
Здравствуй, солдат	20–171
Иосиф Якерсон. Художник об искусстве	7–187, 8–209

## B2 (Заметки)

Аарон Амир. Когда “Радуга” угасает	C18–198
Эдуард Барк. Автобиография в картинах и стихах	46–209
Соломон Бар-Ор. Ури-Цви Гринберг	C17–206
Георгий Бен. Грозное оружие – истина	27–211
Анри Волохонский. “Левиафан” в белом свете	15–200
Стопам твоих кукол (творчество И. Райхваргер)	25–198
Лариса Герштейн. Разговор с Булатом Окуджавой	25–191
Фотомир Ильи Зунделевича	26–222
Зиновий Зиник. По обе стороны от настоящего	C16–204
Галина Келлерман. Ярмарка искусств	2–238
Мендель Коханский. Умирающий идишистский театр	C16–209
Эдуард Кузнецов. Графика Бориса Пенсона	8–209
Художник Александр Окунь (автобиография)	47–206
Памяти Моше Ледера (некролог)	4–245
Наталья Рубинштейн. “Клоп” на иврите	C16–207
“Художник нам изобразил...” (о графике Марка Байера)	4–221
Эмилия Сотникова. “Из Иудеи в Иудею...”	5–238
Игнаций Шенфельд. Еврейская тема в соцреалистической трактовке	7–204, 8–209

## Г. ГОРИЗОНТЫ НАУКИ

Вадим Барашенков. Мир без конца и края	45–196
Георгий Дризлих. Диета и здравый смысл	47–211
Юдит Райzman, Джозеф Шефер. Порнография: попытка социобиологического объяснения	46–201
(см. также М. Азбель “Письма из Израиля: наука по-еврейски и наука по-американски”, 39–113)	

## Д. ЛЮДИ И КНИГИ

### Д1. ОЧЕРКИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ, РЕЦЕНЗИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

З. Бар-Селла. К вопросу о древнейшей истории евреев Кавказа	39—213
М. Болховской (М. Молоствов) . Катаев и революция	23—234
Г. Вайнер. Встречи со Штайнзальцем	10—198
М. Вайскопф. Переписка Генделева с лемурами	26—206
Символ или сознание	33—217
Искусство умирать	49—204
Вокруг Амоса Оза ("круглый стол" читателей)	1—214
Вокруг Майи Каганской ("круглый стол" читателей)	1—218
Вокруг Сола Беллоу ("круглый стол" читателей)	C20—211
Н. Воронель. Познакомьтесь: Сол Беллоу	12—220
И. Век. Путешествие на Луну, или как создавалась "Стрела верлибра"	43—209
М. Вышгород. Еврейский аристократизм	C19—203
Н. Ильский (псевдоним) . История и самосознание	1—198
В. Каган. Наука ломать (армия и революция)	42—213
В. Каган, И. Ефимов. Два мнения об одной книге (Д. Штурман)	33—201
Ю. Колкер. Ленинградский клуб-81	39—219
В. Крейд. Заитильщина (творчество С. Соколова)	19—213
К. Кузьминский. Три гласа вопиющих ("новая проза" В. Еро- феева, Э. Лимонова, Ю. Милославского)	12—217
Ц. Курцвейль. Яростный иконоборец (портрет И. Лейбовича)	49—208
Ю. Милославский. Об антологии Константина К. Кузьмин- ского	18—212
О стихотворениях Алексея Цветкова	23—240
Б. Орлов. Наследие Хаганы перед судом истории	C19—208
М. Померанц. Кто открыл Иону Волох? (нравы израильской журналистики)	41—218
В. Тарасов. О новых голосах и старых песнях (Андрей Белый и современная поэзия)	38—199
М. Юрьев (Ю. Милославский) . Материалы к нашей биографии ("Память")	9—212
М. Хейфец. Письмо из ссылки (ответ А. Воронелю)	9—219
Эттингеровские речи — 1986 (Л. Иоффе, Ф. Гурфинкель)	49—215

### Д2 (Коротко о книгах)

- Х. Шейнин (Еврейская энциклопедия на русском языке) : С15—202;  
А. Фельдман (то же) : С15—205; Н. Рубинштейн (рассказы Юлии Шмуклер) :

C15–206; Ш. Лангнесс (“Куда, доктор Гольдман?”): C15–211; Э. Любов (воспоминания советских сионистов): C15–214; Е. Фрадкина (новая книга Ф. Дюрренматта): C16–211; А. Геликон (о Цепелиовиче): C16–213; Ц. Яков (о А.-Б. Иошуа): C17–215; И. Войтовецкий (о И. Газит): C18–210; Н. Зархи (о Я. Цуре): C18–214; Р. Зернова (о Х. Бартове): C21–214; Ц. Яков (о И. Земцове): C21–216; Е. Фрадкина (о “Библиотеке Алия”): 1–204; И. Серман (о Е. Эткинде): 1–205; Я. Ашкенази (о М. Шамире): 2–246; М. Блинкова (о А. Мегеде): 2–248; Н. Рубинштейн (о Э. Севелле): 2–249; Я. Ашкенази (о В. Глозмане): 4–233; Н. Дан (то же): 4–234; Б. Сидоров (о Д. Маркише): 4–238; М. Коэн (о Я. Хаздаи): 5–244; Б. Гулина (о И. Гарики): 5–248; Ю. Гофман (о Д. Хедкове): 9–214; Р. Зернова (В. Глозман, М. Ландбург, Л. Гиршович, А. Воловик, И. Бабель, И. Башевис-Зингер): 11–204; И. Шамир (альманах “Скопус”): 13–206; Ю. Загоскин (о С. Парнок): 13–216; Ф. Розинер (о М. Поповском): 14–203; Э. Кузнецов (о А. Зиновьеве): 14–217; Р. Блехман (“Память”, Ф. Форсайт, В. Аксенов, Д. Дар, Н. Роскина, Э. Барджесс): 14–217; И. Малер (В. Кормер, Ф. Искандер, Ю. Алешковский): 15–212; И. Малер (о Ф. Канделе и С. Соколове): 16–218; М. Вайскопф (о Ю. Милославском): 17–215; Ф. Розинер (о Б. Окуджаве): 17–217; И. Малер (о В. Катаеве): 17–218; Д. Маркиш (о Ф. Светове): 18–209; М. Юрьев (о Ш.-И. Агноне): 19–218; Р. Блехман (“Эти забавные русские евреи”): 20–210; И. Малер (о Н. Ильиной и В. Аксенове): 20–215; М. Хейфец (по страницам журнала “Посев”): 20–218; Р. Блехман (по страницам журнала “Континент”): 21–219; Д. Гулин (по страницам журнала “Синтаксис”): 21–220; И. Малер (о В. Довлатове и И. Суслове): 21–197; Г. Лапин (“Еще раз о еврейской тематике”): 22–210; М. Вартбург (о “Черной книге”): 22–212; М. Каганская (о Л. Герштейн): 23–244; Д. Данлоп (о Л. Копелеве): 23–248; И. Малер (о Е. Попове): 23–249; Л. Гримм (о Г. Бутмане): 24–211; Р. Блехман (по страницам журнала “Континент”): 24–213; Р. Пименов (о Л. Гумилеве): 24–215; А. Бухбиндер (о Ф. Розинере, Я. Цигельмане, Ф. Вейцмане, Н. Руде): 24–221; А. Бухбиндер (о М. Гиршине): 25–214; М. Вартбург (о А. Амальрике): 25–215; Р. Блехман (по страницам журнала “Время и мы”): 25–217; И. Серман (о М. Агурском): 26–210; М. Хейфец (о сб. “Память”): 26–213; Э. Кузнецов (о А. Воронеле): 26–215; Н. Дан (о Л. Владимировой): 29–219; Р. Блехман (по страницам журнала “Континент”): 29–220; В. Аксенов (о А. Вайле и П. Генесе): 29–221; М. Агурский (о Э. Когане): 33–216; М. Хейфец (о Н. Полетике): 34–216; И. Малер (о Д. Фурманове): 34–218; М. Дацковская (о К. Пруслиной, Ф. Розинере): 34–220; Рафаил Блехман (о И. Лиснянской, Р. Орловой): 34–223; Д. Маркиш (о М. Ландбурге): 35–219; М. Хейфец (о Н. и М. Улановских): 35–220; Рафаил Блехман (о Х. Друскине и В. Некрасове): 35–223; К. Тынтарев (о Е. Цветкове): 36–222; Н. Рубинштейн (по страницам журнала “Народ и земля”): 38–206; Я. Ашкенази (о М. Булгакове): 39–222; Ю. Шварман (о Г. Големе): 40–214; А. Маюлина (о В. Красине, Р. Орловой, А. Некриче, С. Поликанове, Л. Дру-

скине): 41–214; В. Богуславский (о Н. Кривошеиной): 42–220; Г. Вальдберг (о М. Фельдман): 43–210; В. Лазарис (о А. Валентине): 43–211; И. Городецкий (о Э. Люксембурге): 44–210; Ч. Хоффман (о Ч. Зилбермане): 45–218; Г. Вальдберг (о М. Бар-Зоаре): 45–220; М. Доман (о Д. Петерс): 45–221; М. Кузнецов (о М. Хейфеце): 46–219; Г. Вальдберг (о Г. Козн): 46–221; М. Вартбург (о Г. Вальдберге): 46–222; М. Вартбург (о Г. Меир): 47–219; А. Эвен (о К. О'Брайене): 47–221; А. Пташкин (о В. Сорокине и М. Гиршине): 49–211.

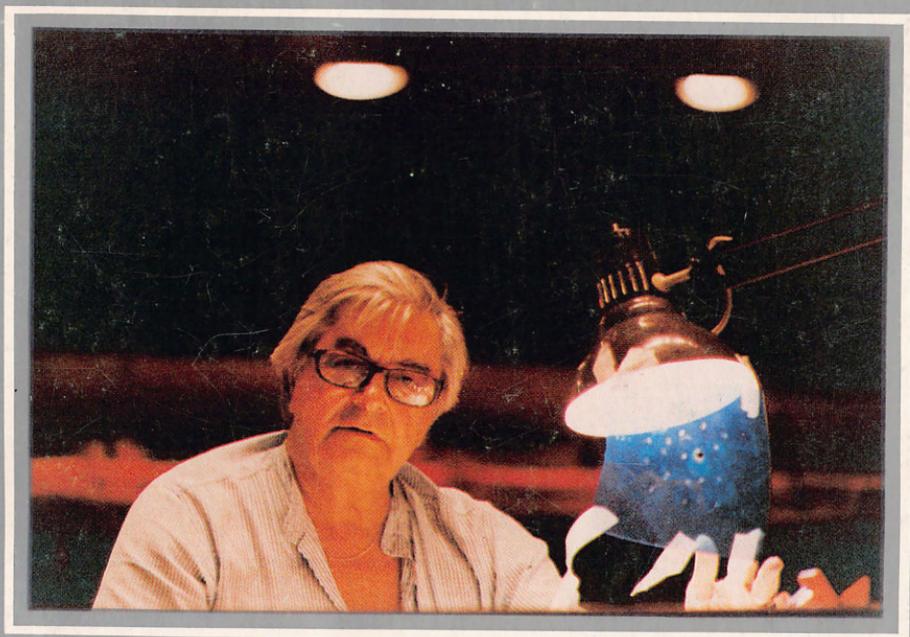
#### КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА–ИЕРУСАЛИМ"

предлагает следующие книги:

Давид Таксер. Иск (повесть)	10 долл.
Эдуард Кузнецов. Русский роман	12 долл.
Александр Воронель. Трепет иудейских забот "Книга Маккавеев"	8 долл.
Илья Рубин. Оглянись в слезах (сборник)	6 долл.
Нина Воронель. Прах и пепел (сборник пьес)	7 долл.
Адин Штайнзальц. Контуры Талмуда	4 долл.
Нина Воронель. Папоротник (стихи)	9 долл.
Кирилл Хенкин. Русские пришли	10 долл.
Эдуард Кузнецов. Мордовский марафон	10 долл.
Нисан Руда. Возвращение на Родину (воспоминания)	6 долл.
Гилель Галкин. Письма американскому другу	10 долл.
Джозль Кармайкл. Троцкий (биография)	14 долл.
Джон Ле-Карре. Маленькая барабанщица (детективный роман)	14 долл.
Александр Вайль, Петр Генис. Потерянный рай (книга очерков)	10 долл.
А. Воронель. По ту сторону успеха	16 долл.
Н. Воронель. Кассир Вечности (пьесы и эссе)	14 долл.
Н. Гутина. Журнал	12 долл.

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва–Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.





**ЮРИЙ ЛЮБИМОВ** на репетиции в Габиме. Фото **ГРИГОРИЯ ВИНИЦКОГО**